ГАЗЫРИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Предполагалось, оно должно быть в этой книге, написать его я попросил старого друга, и он оказался настолько щедр, что довольно объемный свой текст украсил словами чрезмерной похвалы... Меня сперва это несколько смутило, а после вдруг насторожило.

Может быть, он, талантливый поэт и писатель, обладающий, конечно же, пылким воображением, увидел в рукописи не конечный результат, как говорится,— острым глазом профессионала разглядел авторский замысел и больше увлекся им, нежели его воплощением?

Мне ли не знать, как часто такое с нами случается!

Но что самому думать о новой книжке?

И ее записать в печальный баланс блестящих, но так и не использованных возможностей?.. Молить Бога, чтобы все остальные мои читатели были столь же благожелательны и великодушны, как работавший над предисловием он — первый читатель?

Долгие годы перед этим мне довелось заниматься переводом адыгейских романов, и только один я знаю, сколько собственного, нажитого тяжким трудом литературного опыта пришлось в них вложить. И только один я знаю другое: какое богатство я получил взамен, постигая тысячелетнюю мудрость адыгской традиции и глубину причудливого фольклора, испытывая непреодолимое обаяние чистого и цельного характера добровольных аульских помощников, близкое общение с которыми и нынче, спустя много лет, считаю подарком судьбы.

«Газыри», эти маленькие рассказы,— плод взаимного влияния соседствующих народов и взаимопроникновения их истории и культуры.

Оттого-то задним умом, которым русский человек особенно крепок, я и задумался: все ли сделал, что, мог, и что должен был сделать?.. Или это всего лишь первый, несмотря на зрелые годы, подступ к художественному исследованию общего меж нами — да сплотит оно разобщенный нынче Кавказ! — и отличного в нас, которое при уважительном и добросердечном знании друг друга сплачивает, может быть, еще крепче.

Автор

Поклон Казаку Луганскому

Несколько лет назад, в очередной раз переставляя книги таким образом, чтобы самые необходимые всегда были под рукой, четыре тома Даля я определил на самый низ ближней от рабочего стола этажерки, тут же, выравнивая золоченые корешки словаря, раз и другой над ним нагнулся и, выпрямившись, качнул головой: ну, конечно! Этим поиск целесообразности и завершился? Всякий раз теперь, когда потянешься за словарем, придется земной поклон отвешивать!

И вдруг во мне озорная радость зажглась: а почему бы — нет?

И ты, голубчик, и все из пишущей вашей братии не то что по нескольку раз на дню должны Владимиру-то Ивановичу до земли кланяться — вы к его драгоценным для русского сердца книжкам на коленях должны ползти!

Вот ты и станешь помаленьку должок ему отдавать. Если не за всех, то хотя бы за некоторых.

Хоть за себя.

В день, когда начал эти записки, отдавать дань благодарности великому знатоку и почитателю родного языка пришлось мне особенно усердно. Слово «газырь» у него не значилось, хотя еще в молодости «Казак Луганский», как сам он себя назвал, не только слышал о газырях — не раз, наверное, видел на груди у хлебосольных грузинских князей, давно сменивших неторопливый тифлисский быт на суету столичных салонов, на черкесках джигитов из Кабарды, дальние набеги которых, еще недавно вольные и молниеносно-стремительные, к тому времени уже нередко оканчивались строгими парадами в рядах конницы «урысов» либо даже унылым сидением рядом с ними за соседним столом в канцелярии какого-нибудь государственного ведомства. А служившие на Кавказе русские офицеры, до конца жизни сделавшиеся поклонниками горской экзотики?..

Сперва я решил было, что в ту пору слово «газыри» могли писать да и произносить несколько иначе, скорее всего — «хозыри», и принялся листать четвертый том, однако и тут я сперва разачаровался. Вот Даль: «Хозырь, м. квк., колоша, штанинка, штиблет, камаша, поножи.»

Оставалось искать на «к», и тут я вот что нашел: «Козырь, м., игральная карта той масти, которая по правилам игры считается старшею и бьет остальные масти. Заряды, патроны, трубки, цевки, нашитые на черкеске.»

— Конечно! — подумал я.— Так было — так есть: в мире, в котором нынче живем, «заряды и патроны» наверняка долго еще будут оставаться козырями.

Четвертый том, с «хозырями», все еще лежал на столе, я снова скользнул, по нему взглядом и на черкесский манер хмыкнул: ым!.. Что ж, мол? И то верно. У кого-то ведь он и в «колоше», в «штанинке», значит, припрятан: надежный козырь, данный самой природою.

Может, и правда все в мире держится на двух козы-рях — в «штанинке» да на груди? На двух этих «патронах»?

Неожиданно мне пришло в голову, что несколько лет назад — теперь уж, считай, десяток! — готовясь к разговору со мной... ох, первым атаманом Московского землячества казаков, Дима Быков, мало кому известный в то время журналист, тоже наверняка листал словарь Даля. Может, именно «з а р я д ы» на столь непримиримый по отношению ко всему казачеству тон его тогда и настроили?

А было вот что. По телефону он первым делом мягко, уважительным и сердечным тоном сказал, что давно знает меня по книжкам и как бы между прочим, вскользь две-три строчки из одного довольно известного тогда, бывшего на слуху рассказа моего процитировал — ну, как тут даже суровому сердцу не растаять? Потом попросил о встрече, и я в полушутливой своей манере ответил: куда, мол, денешься? Само название еженедельника, в котором Дима работает — «Собеседник» — как бы лишает права на отказ. Ведь какое прилагательное перед ним в строку просится? Умный, мол, «Собеседник». Добрый. Заинтересованный... жду!

Смугловатый, с быстрыми глазами Дима сменил в своем «панасонике» две или три кассеты — так мы тогда у меня дома разговорились. Прощаясь, я попросил его: непременно, мол, покажите мне, что получится. А то какую статью о казаках нынче не возьми — всюду путаница. Так не хочется, чтобы и нас с вами в очередном вранье либо в некомпетентности обвинили!

Дима заверил, что непременно мне позвонит, но вот пролетели и две недели, и три... Чутье подсказывало, что после прошедшего недавно первого Большого круга, на котором создан был Союз казаков России, «Собеседник» наверняка поспешит с публикацией. И я решил позвонить в редакцию сам.

Материал готов, да, сказал Дима, должен выйти в завтрашнем номере.

Пришлось мне срочно идти в редакцию, благо до нее от моего дома на Бутырской улице — всего ничего, одна остановка на троллейбусе, пять-семь минут пешочком. Взял у Димы гранки, присел на диван. Беседа называлась: «Желание быть казаком или КРАСНОЕ, БЕЛОЕ, ЧЕРНОЕ». Последние, набранные крупно слова выделены были не только шрифтом, но и тремя соответствующими им яркими красками... Чего только под этим, с точки зрения Димы, конечно же, символическим, названием не было!

Тут же мне стало ясно, что коротенькие отрывки из нашей пространной и очень дружелюбной беседы служили всего лишь иллюстрацией к его домашним заготовкам: жестким и очень точно нацеленным. До зеленой тоски стало ясно, что я опять пропустил удар... а ведь какой симпатичный паренек, какой милый да вежливый: хоть за пазуху, казалось, сажай!

Послесловие Димы к нашей «беседе» мне придется привести целиком:

«Спасибо вам, Г. Л., за разговор, который я публикую без изменений и без своих комментариев. Но одну вещь я прокомментировать должен — на благо самой идее казачьего круга. В ДК завода «Серп и молот» я пробирался бочком, и все ж и меня, и корреспондента «Родины» пару раз окликнули бритоголовые мрачные люди: откуда, мол, братки?

«Памятка русскому человеку» — это что, Г. Л. Это — лобовая книжонка, для русского человека весьма оскорбительная — авторы его за кретина держат. Интересно другое: воинская атрибутика большинства участников. Боевые газыри, казачья форма, а главное — и наша, теперешняя. Преобладание военных. Само по себе, в свете воинских традиций казачества, оно только радует. А рядом — продажа листка с цитатой из Военной энциклопедии 1912 года издания: статья «ЕВРЕИ». Суть в том, что Е. уклоняются от военной службы, сдаются в плен к неприятелю, физически мало годны к защите Отечества... Короче, с точки зрения военной Е. никуда не годятся.

Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука!.. Не стоило бы полемизировать со врем этим кипящим квасом, с лист-ками «Информации к размышлению», с обличениями Е., да только, не глядя на солидные цены продукции, ее охотно покупали участники круга.

И еще. Так уж совпало, что директиву о расказачивании подписал Свердлов, о казачестве дурно говорил Троцкий, Кубань разорял Каганович, и все они были Е. Другое дело, что директивы их выполняли те самые русские люди, которым предназначена памятка. И еще как выполняли! — не могли же все они быть Е. И местные власти, много усердствуя, предавали, по сути дела, своих. Это не снимает вины ни с одного из людей, причастных к расказачиванию, к величайшей трагедии и казаков, и России в целом. А вторая попытка расказачивания предпринимается теперь. Ибо желание гулять на чужой свадьбе, исподволь превращая ее в тризну, некоторым присуще не меньше, чем желание казаком быть.»

Все это — о вездесущих пролазах, о шустрых ребятишках из «Памяти», которые, тогда во всяком случае, имели манеру появляться со своим товаром — брошюрками да плакатами — где и когда угодно. Я их тогда в «Серпе и молоте» не заметил, не до того было. Но о любителях «на чужой свадьбе погулять» сказал Диме: стилистика, само собою, моя. И вот теперь «моим же салом», как говорится — меня же и «по мусалам»? Поставил Дима «памятников» казакам в пристяжку, поставил. Как бы сказали в моей Отрадной: п р и п л е л. Но тут уж ничего не поделаешь: в авторском послесловии хозяин — барин!

Пришлось мне держать марку — заговорил лишь о явных несуразностях: «Тут есть фраза о «боевых газырях». Звучит примерно как «пусковая установка» на дежурстве. Одно неловкое движение или какая ошибка, сбой, и тут же — роковой выстрел. А между тем... хотите на этот счет — сказочку?»

Я ведь по натуре по своей — добровольный массовик-затейник. Просветитель-бессеребреник. Столько лет уже при этой мало кому понятной

по нашим временам и совсем не престижной должности состою. Как говорит мой дружок и соратник Сережа Гавриляченко, не только хороший, с крепкой рукой и метким глазом художник, но и склонный к «любомудрию», как говорили встарь, к философии да к истории знаток народного творчества, во мне «сильно анонимное начало»... куда теперь от него?

Стоя посреди кабинета, взялся рассказывать им, нескольким паренькам да девицам — надежде, может быть, нынешней журналистики — старую адыгейскую сказку: о том, как джигит при полном, значит, параде заметил на тропинке у себя под ногами крошечного муравья, тащившего рисовое — «сарацинское», как раньше называли,— зернышко, подставил ему палец, пересадил на свою ладонь и спрашивает: куда, мол, ты это тащишь? Домой, отвечает муравей. На пропитание! Ну, и на сколько тебе его хватит? — джигит спрашивает. Если только одному мне, отвечает муравьишка,— на год ровно я едой обеспечен. На целый год?! — джигит переспрашивает.— А что, если я проверю?

Вынул из рядка на груди газырь, снял колпачок и определил внутрь муравьишку с его ношей.

Два года прошло, и однажды вдруг джигит спохватился: как там его маленький пленник? Поди, давно помер!

Снова снял колпачок, чтобы вытряхнуть муравьишкин прах, значит, а муравей на ладони вот он — не только живехонек, но еще и половинку зернышка в лапках держит. Джигит строго так и говорит:

— Ты обманул меня, муравей!

— Да почему же? — удивился муравей.— Вовсе нет.

— Но ведь половина зернышка цела еще! — корит его джигит.

А муравей ему:

— Сказать правду? Когда ты взял меня к себе на ладонь, я глянул на тебя и подумал: этот разодетый бездельник редко в свои газыри заглядывает! Забудет обо мне, и останусь я там сидеть неизвестно сколько. И на всякий случай я разделил зерно на четыре части — две из них ты сейчас видишь!

— Понимаете, братцы мои? — я им пытался втолковать.— Даже в те далекие времена, когда они не были украшением, а применялись еще по прямому назначению, даже тогда нельзя было с полным основанием на это сказать: б о е в ы е. А нынче? Это ведь, Дима, звучит в статье как «газыри Калашникова», предположим, разве не так?»

Но боевые газыри конструкции Дмитрия Быкова так-таки появились на страницах проницательного, чрезвычайно тонкого и умного «Собеседника»... Видать, нужны были. Позарез!

Это с легкой руки Димы Быкова, не только известного нынче публициста, но и довольно мастеровитого поэта, стихи которого нет-нет, да и появляются в

«Новом мире», сподобился Ваш покорный слуга, я, грешный, попасть теперь в пространный интернетовский файл с суровым, как приговор прокурора, названием: «Национализм. Экстремизм. Ксенофобия.»

Под первым номером!

Возглавил список...

Ну, да ведь для нашего брата, для литератора, все — в дом, все — в дом.

Разве мало я потом размышлял, почему это Дима сперва был ласков и обаятелен, а после — ну, как будто бы его подменили!.. Частенько вспоминал я и о «боевых газырях», и о муравьишке с крошечным зернышком «сарацинского пшена» так долго продержавшимся в темном газыре на груди у забывчивого джигита... Откуда же еще эти мои нижеследующие записки, совсем коротенькие и чуть подлинней, которые я решил скатывать в трубочку и определять на хранение не куда-нибудь, а именно в газыри, благо этого добра теперь пруд пруди: жестяные, костяные, деревянные, пластмассовые... А бездельников-то, которые с неприступным видом их носят, бездельников!

Напрасно Дима Быков так переживал и так суетился: в эти-то газыри весь казачий пар и вышел — ну, как в свисток. Разве только мне вот они для настоящего-то дела и пригодятся... Так что, если кто вдруг случайно найдет в газырях, взятых у доверчивых сыновей моих напрокат, «на выход», да так и оставленных у себя, бесстыдно зажиленных, эти записочки,— вы уж первого-то своего атамана, который так и несет крест записного антисемита, не обессудьте!

Ну, а если среди записочек станут иной раз попадаться такие, что газырь с ними и впрямь можно будет именовать боевым,— что ж!

По нашим-то временам, когда в результате глубоких демократических перемен и неукоснительного соблюдения свобод и прав человека чуть ли не у каждого сознательного, исповедующего общечеловеческие ценности гражданина хранится дома хотя бы гранатомет «муха», а при себе подмышкой старенький «тэтэ» либо завалящая лимонка в кармане, без газырей-то, сами понимаете, боевых — и в самом деле, никак!

«Хочется кольнуть...»

На Северном Кавказе нету, пожалуй, городка, станицы, хутора, где в разных вариантах не повторяли бы одну и ту же историю: «Один русский был в гостях у своего кунака в горах (у ингуша, чечена, карачаевца и т. д.). Хорошенько выпили, закусили, русскому домой пора. Поехал кунак его провожать. Едут по ущелью, тропинка узкая, двум лошадям никак рядом. Вот русский едет впереди, а черкес (кабардинец, адыгеец и т. д.) сзади. Ну,

едут себе, все нормально, вдруг балкарец (даргинец, кумык и т. д.) и говорит: «Дай-ка лучше я первым поеду!» «Да пожалуйста! — русский отвечает.— А в чем дело?» «Да не могу тебе в спину спокойно смотреть! — с чувством восклицает кунак.— Как гляну — рука сама за ружьем тянется!»

Ну, и делается, конечно, многозначительный вывод: разве можно, мол, горцам верить?! Тут ухо надо востро держать!

А я тут как-то размышлял о наших местах, о том, что связано с ними — обо всем помаленьку, как говорится, и вдруг вспомнил об этом обычае, который у адыгов называется в переводе на русский примерно так: «хочется кольнуть.» А заключается он вот в чем. Если мальчишки играют в ножичек, и у кого-то из них кончик лезвия вдруг оказывается направленным на товарища, то он должен тут же бросить его тычком в землю, себе под ноги и сказать это самое:

«Хочется кольнуть.»

Это не то чтобы извинение, но как бы подтверждение того, что паренек знает правило — нельзя направлять нож на человека,— и правилу этому неукоснительно следует...

То же самое за адыгским столом: нож не должен лежать кверху лезвием либо к гостю острием.

И вот, как знать: не является ли эта байка насчет эмоционального кунака в каком-то смысле и подтверждением крепости традиции на Кавказе, и доказательством искренности... а что, что?

Кодекс чести очень высоко держит духовную планку, она, верхняя — как бы идеал, к которому должен настоящий джигит, настоящий рыцарь стремиться, и другое дело, как кому это удается.

Как удается нам всем.

«Взвейтесь, соколы, орлами!..»

В Кобякове, дома у Жоры поворчал я в очередной раз на сынов: гоняются, мол, за всеми этими «казачьими» книжками, за газетами, за кассетами для магнитофона и «видика», тратят деньги, а толку-то, толку, если они не делают главного — к самим себе не прислушиваются, к голосам предков, которые внимательному и чуткому сердцу становятся различимы, к зову крови... ну, и все в том же духе.

Прошло какое-то совсем малое время, и я, подбадривая внука, обронил:

— Взвейтесь, соколы, орлами!.. Знаешь, Глебка, такую песню?

Сережа, старший, как будто вспомнил: — Да!.. Прочитал недавно. Знаешь, батя, историю этой песни?

Я не знал.

— Ну, наши ведь солдатики всегда были соколами, на равнине, в степи какая птица считалась самой стремительной — сокол! — взялся Сергей рассказывать.— А когда пришли на Кавказ, там другое дело, там хозяин — орел! И нашим предстояло не только сравняться с орлами — подняться выше... ну, нельзя было горцам уступать! И вот эта песня и призывала собраться, расправить крылья...

Ну, не молодец ли, и правда? Утер, значит, нос отцу.

Но он не то что не подал вида — у него даже мысли об этом, уверен, не появилось, он даже не сложил все это — недавнее мое ворчание и то знание, которым он с нами со всеми поделился, настолько Сергей, несмотря на свои, сорок два, бесхитростен...

А я все вспоминал потом эту «строевую»: когда работали с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым над его книжкой «От чужого порога до Спасских ворот», одну главу так и назвали: «Взвейтесь, соколы, орлами!»... Сперва он вообще-то сопротивлялся обилию рассказов о конструкторах-оружейниках в его рукописи, предшественниках либо современниках. Не знаю, проявлялась ли тут ревность или какая-то неясная мне до сих пор забота о главенстве собственного образа, который мог оказаться как бы в тени... С кем уж он там советовался, куда уносил для консультации написанные мною странички... сейчас вот я впервые подумал: а вдруг — к «сосватавшей» меня коллеге Зое Алексеевне Богомоловой, писательнице и литературоведу, оренбургской казачке, которая живет этажом выше Калашникова... вот был бы номер, как говорится! Но нет, нет, Зоя Алексеевна — человек тонкий и все понимающий, а от замечаний главного советника Конструктора «по литературе и искусству» веяло такой канцелярской скукой! Однажды я сказал ему: «Михаил Тимофеич! А, может, тот, кто все эти замечания делает, взял бы да сам и написал?» «Нет-нет, вы продолжайте, продолжайте!» — «разрешил» Конструктор.

Что касается этой песни.

— Что это в нашей книжке так много имен? — упрекнул он меня однажды.— Мы ведь с вами не телефонный справочник составляем!

Видимо, этот «главный советник» так и сказал ему: мол, телефонный справочник получается!

Но почему — не «Справочник оружейника»? Заодно? Почему — не «История русского оружия»? Как всякий родившийся на Кавказе, я старался — я-я!..

И старался, само собой, возвысить тем самым Конструктора: разве доброе слово о других не возвышает? Тем более, что многие из них, ой, многие, так или иначе Калашникову поспешествовали.

К царскому генералу Владимиру Григорьевичу Федорову это не относилось, во времени они с Михаилом Тимофеевичем разошлись, но ведь Федоров был — сама история! Из его книжки «Поиски оружия» — о том, как в начале «германской», как мы стали называть потом эту войну на простонародный манер и которую тогда еще русское офицерство называло Великой, ему выпало закупать винтовки и патроны за рубежом, в странах не очень дружественных, а после в прифронтовой полосе пришлось обустраивать мастерские-«лазареты» для ремонта оружия.

Позволю себе процитировать то, что вошло потом в книжку Калашникова: «из Федорова»:

— Помню, однажды я вышел из мастерской и направился к этапному коменданту, чтобы попросить у него лошадь для поездки на передовые позиции. Навстречу мне попалась маршевая рота, которая шла к нашей мастер-ской за винтовками. Раздалась обычная команда прапорщика:

— Смирно, равнение направо!

Я внимательно рассматривал проходивших мимо солдат, их лица, выправку, одежду, и остался не удовлетворен их видом. Лица солдат — понурые, недовольные: шинели сидели на них мешком, фигуры сутулились, равнение по рядам отсутствовало, многие шли не в ногу. Маршевая рота не была похожа на воинскую часть и напоминала толпу людей, наскоро одетых в военную форму.

Через час я выехал верхом от этапного коменданта на позиции. Впереди меня двигалась какая-то часть. Залихватская, бодрая песня неслась по рядам. Замыкающий унтер-офицер, услышав топот лошади и увидев полковника, хотел было скомандовать «смирно». Но я отмахнул ему и поехал шагом рядом.

Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать.
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять! —

заливались солдатские голоса.

Лица стрелков были бодрые, веселые, шаг широкий, часть шла в ногу, слышался ровный хруст снега, начинающего уже подтаивать на февральском солнце.

Я поравнялся с офицером и изумился: это был тот же прапорщик, который вел маршевую роту к нам в мастер-скую. И солдаты были те же. И тот же длинный правофланговый, отбивающий теперь мерный шаг в первом ряду роты. Но что случилось с командой? Как произошло такое быстрое превращение понурой толпы в молодецкую роту?

Причина ясна! Теперь на плече у каждого солдата была винтовка, теперь из безоружного он превратился в бойца. И войсковую часть не узнать! Я с удовольствием смотрел на бодро шагающие ряды...

Эта картина, однако, заставила меня подумать и о другом. Я видел теперь, какое значение имеет снабжение оружием, как оружие преображает человека.»

Ну, разбивка, само собою, уже моя. Так горячо любимая мной разбивочка.

А дальше идет уже «калашниковский» текст, словно объясняющий то, ради чего я и взялся за работу, от которой сперва открещивался:

«Не для того ли и мы создавали наше прочное и надежное оружие, чтобы над Родиной звучали победные марши и песни уверенного в себе солдата?!

Взвейтесь, соколы, орлами!

Полно, и правда, горе горевать. Будем работать!»

«Полно... горе горевать» — слова из любимой нами, всеми Немченками песни «Полно вам, снежочки, на талой земле лежать...»

Полно, братцы, и действительно,— полно!

С чемоданом над Родиной

Если вы не летаете во сне, то говорить нам не о чем, все — пока! Если понимаете в этом хоть что-нибудь, пошли дальше. Или вернее, может быть,— полетели?

Ну, первые, еще в детстве, полеты, кто их помнит! Я, во всяком случае,— нет.

В памяти устойчиво живет самый яркий, приснившийся, когда мне было около двадцати пяти. Дело было в Новокузнецке, на нашей скрежещущей металлом, пропахшей бензином да соляркой большой стройке, а приснилось, будто кувыркаюсь посреди голубиной стаи высоко над нашей тихой станицей. Небо голубое и ясное, какое бывает либо совсем ранним утром, либо глубокой, теплой и солнечной осенью... И вот переворачиваешься и плаваешь посреди мелькания белых крыл — все они были почему-то молочно-белые. А станицы внизу вроде и не видать, и между тем она как бы чувствуется, именно она, Отрадная, со своими садами, зелеными латками огородов, черепичными и шиферными, крашеными в разные цвета железными да синеватыми цинковыми крышами.

Тихое и долгое это парение среди голубей так меня тогда умилило, что я написал крошечный, строчек на тридцать-сорок этюд, иначе это не назовешь — он потом пригодился как лирическая вставка между главами толстенного, и правда что, как кирпич, романа «Тихая музыка победы», в нем я поместил такие набранные курсивом словно бы отдельно, сами по себе живущие вставки.

Потом было много всяких других полетов во сне — после прыжка со скалы, с обрыва, с высокого-превысокого дерева, с многоэтажного дома... Планируешь, опускаешься и немножко пробегаешь потом по земле, гасишь скорость. Было наоборот: разбегаешься и — вверх. Было, что — в дождь, было — в шторм: летишь, и правда, как всепогодный истребитель.

Один полет очень запомнился, потому что он был беспомощный такой... Летать пришлось в очень глубоком подвале здания, которое было снесено, разрушено — тут уж не знаю, что с ним произошло, но сверху подвал был раскрыт. Не исключено, что это был подземный этаж, потому что на стенах, уходящих глубоко вниз, кое-где выступали пилястры, и вот на головках их, на капителях я подолгу отдыхал — либо наваливался грудью, либо держался руками, как держатся за край бассейна, предположим... Что это за полет? Такая в нем усталость была, такая тоска и горечь. Но вот подняться выше и вылететь из этого странного помещения я не мог — почему-то даже и не пытался.

Истребитель — уже в другом смысле — приходится припоминать и вот в каком случае: однажды приснилось, будто я летаю в низком, но очень длинном подвальном помещении, затопленном водой. Вода не то что темносиняя — почти черная, но все-таки с явной просинью, и вся кишит длинными, чуть не в руку толщиной серыми гадами, а у меня в руке факел с ярким огнем, лететь мне с ним удобно и радостно, чувствую я себя комфортно и весело... Куда не поверну, гады внизу шарахаются, вспенивают воду, оставляют после себя борозды и, почти не поднимая плоских своих голов, шарахаются от меня, разбегаются вплавь по углам, забиваются там то ли в норы, а то ли уходят на глубину, ложатся на дно.

Снилось в Москве, но происходило на Запсибе, явно там — это в нашем поселке я видел затопленные, с мерцающей под светом факелов черной водой подвалы — в ледяную воду ныряли тогда, чтобы зачеканить порвавшиеся трубы, герои моих первых очерков, слесари «главного сдергивателя», как его Геннаша Емельянов, мой шеф — редактор нашей многотиражки «Металлургстрой» и строгий, слишком строгий иногда мой литературный наставник называл главного, на самом деле, механика жилищно-коммунальной конторы Юры Лейбензона. Чаще всего — жилистый, малого росточка и, конечно же, покладистый и терпеливый Казанцев Алексей, его так и звали тогда: Леха-Безотказный...

Но гадов я тогда хорошо погонял, ух — хорошо!

Теперь вот думаю: надо было поразмышлять. Когда это мне приснилось? После каких событий в моей жизни? Или — перед какими событиями?..

Потом случился перерыв на несколко лет, я даже беспокоиться стал: что случилось? Постарел?.. Моторесурс вылетал? Душа устала?

Даже как бы пожаловался Анатолию Попову, серьезному, со связями — в Индии, имею в виду,— Учителю, йогу. А он говорит: может, это и хорошо? Летает ведь на самом деле ваша душа... и заблудиться может, а может и не вернуться. Что плохого-то, если перестали? Лучше вообще не летать.

Но тут я опять взялся за старое... Что произошло? Что переменилось? Не знаю! Но кроме обычных полетов случился вот какой: летел очень низко над землей, лицом вверх — примерно так ползут по земле, работая лопатками, ягодицами, всеми частями тела, спецназовцы: видел, как это делается, в Краснодаре на занятиях у знаменитого «рукопашника» Алексея Алексеевича Кадочникова. Потом пошли другие полеты, всех и не упомнишь, запомнил только число, когда взлетел после долгого перерыва — 29 мар-та. И после пошло-поехало. Вернее, опять же, полетело...

Вот, в ночь с 10 на 11 мая 1998.

Накануне я сказал Ларисе, когда она позвонила от соседей из Кобякова, что холодильник, мол, дома пуст. Ну, намекал как бы: ты там внука обихаживаешь, день рождения у него, видите ли,— шашлыки куриные жарят... А дед тут, выходит... ну, и, так далее.

Подъел колбишки, черемши — ха-рошую как раз передали из Новокузнецка, и лег спать. И вот снится: с большим своим старым коричневым чемоданом иду в Отрадной с автовокзала домой — по Революционной, по обычной, по левой стороне, уже прошел мимо школы, скоро и наша улица... Чемодан тяжеленный и я его взялся переставлять рывками — он мне при этом придавал как бы какое-то, вслед за собой движение по инерции. Дело хорошо пошло, дальше — лучше, а потом я подумал вдруг: а почему бы мне и не полететь?

Сильным рывком подаю чемодан вперед, он меня тащит за собой и перед самой Пионерской я взмываю, к дому поворачиваю уже на лету. Все набираю и набираю высоты, вот уже я и над нашим подворьем, внизу стоит Лариса — приложила ко лбу ладошку козырьком, смотрит. Неподалеку от нее, посреди двора, задрал мордаху вверх старший из внуков, Гаврила, для которого шашлыки-то куриные поджаривали — даже во сне я подумал: а, может, это — покойный Митя?.. Скорее то был на мгновение совмещенный из двух образов — погибшего сына и здравствующего внука — образ мальчика вообще?

Или, пожалуй, это был все-таки Гаврила? Потому что я — с явным расчетом на то, что это слышит Лариса — кричу ему: а если бы дед — без чемодана, а? Ты представляешь?!

Мол, как высоко мог бы взлететь?

Вообще-то символический сон: бесконечная дорога, все с рюкзаком, все с сумками, и непременное возвращение на родину, и постоянное желание высоты... И так уже к дороге привык, что даже душа с чемоданом не расстается…

Полный дамский набор

Нынче Оксана учится на третьем либо уже на четвертом курсе Сельскохозяйственного университета — так теперь бывший институт, в просторечии «сельхоз» — называется. Случайно встретил ее в Краснодаре неподлеку от редакции «Кубанских новостей» — по каким-то делам шла к главному редактору Петру Придиусу, нашему, отраденскому всеобщему радетелю и благодетелю,— так вот встретил ее: прямо-таки красавица! Давно невеста.

И все вспоминаю, как о ней когда-то, уже давно теперь, рассказывала ее бабушка Мария Михайловна, у которой в станице Малотегинской — в Малотегинке — мы были вместе с родителями Оксаны: Станиславом и Натальей Филипповыми.

«Лет пять было ей,— посмеивалась Мария Михайловна,— чего-то она у меня раскапризничалась. Бойкая росла, а тут я ей решила укорот дать — ну, и заспорили. Я ей: не станешь бабушку слушаться, и ничего из тебя путного не выйдет, только отрошница из тебя и получится. Жить будешь не как все люди, а как босячка: ни дома своего с садом, ни коровки с таким вкусным молочком как у нашей — тогда ничего этого не жди! А Оксана кричит: и нет, и нет — все у меня, бабушка, будет, все как у людей, вот увидишь — все: и дом с садом, и огород сорок соток, и две коровы с телком, и барашки, и свинья с поросятами, и стадо гусей, и муж-пьяница!»

Скопидом

На улице мелкий осенний дождик, и, перед тем, как выйти из корпуса санатория «Предгорье Кавказа» в Горячем Ключе, определяю складной зонт на конторку, за которой сидят двое дежурных: «Можно, девчата, арендовать у вас краешек?»

Обе они — совсем молодая и куда, куда старше — скользят по мне отсутствующим взглядом: маются над кроссвордом. Как людям не помочь — при моей-то общительности?

— Ну, что там,— спрашиваю с пониманием,— что?

Молодая оживляется: — Да вот: скряга.

— Жадюга! — начинаю я весело.— Жадина — говядина... нет? Жадоба!

Собрался было произнести еще одно весьма распространенное на юге словечко, но молодая спасла меня от греха антисемитизма: «Тоже — на «эс»!»

— Скупец! — сказал я с явным облегчением.

— Н-нет, здесь больше букв...

— Торжественно обещаю,— произнес я проникновенным тоном.— Буду думать. И на обратном пути скажу.

Мог бы не обещать: все равно это — как зараза.

«Эс... угу, эс,— бормотал неслышно по дороге на почту.— Эс...»

В московском метро однажды, глядя на всех этих уткнувшихся в газетный лист «кроссвордистов», я вдруг подумал: умный человек это нынче всем им подсунул! Злой, добрый ли — это другое дело. Но — умный. Разве нет?

Есть вопросы, над которыми бьемся годами, раздумываем тяжело и мучительно, но толку чуть, как говорится — продолжают висеть над нами, словно дамоклов меч. А тут — на тебе: пять минут, ну, пусть десять... сколько там? И вдруг, вдруг: о радость, вот это слово, вот же!

Человек и переживает вспышку озарения, и ощущает радость победы... Все это на пустом месте, как говорится, но настроение ему может улучшить и даже вернуть чувство собственного достоинтсва... а что, что? Главное — чтобы он не поднимал головы и не отрывал глаза от всей этой белиберды. Что, если все мы, все-все вместе, отложив дела, враз вдруг задумаемся над главными вопросами нынешнего нашего скотского бытия: что может статься?

Недаром ведь есть пословица: мир охнет-камень треснет.

А вот этого как раз и не надо!

И всеми, какие только есть, кросс-, чайн-, сканвордами наша психическая энергия капля по капле растаскивается... нет-нет, хитрый человек все это придумал, конечно,— большой хитрец!

И вот понимаешь все это, а сам: «Скряга... скупец... эс, эс?»

Сходил на почту, сыну Сергею в Климовск позвонил, вернулся обратно к санаторию, вдоль корпуса пошел по аллее, вчера еще такой ослепительно-нарядной: денек простоял до вечера солнечный. С наслаждением дышал

похолодавшим воздушком, смотрел на мокрые деревья впереди, а сам опять: эс, эс...

Понимающе сам себе улыбался: отлыниваешь?

В номере на столе лежит начало статьи о межнациональных отношениях на Кубани, так скажем... и ты вместо того, чтобы.... Тот самый вариант: подсознание выбирает работенку полегче, пока с тяжким трудом готовится к почти неподъемной — разве это не так? Я ведь с того статью и начал: мол крута, гора, да миновать нельзя... Родина!

Невольно вспомнил другую историю с кроссвордом: и грустную, и смешную.

Как-то в московской мэрии мне пришлось довольно долго дожидаться помощника Лужкова по печати Цоя, корейца, который на телевизионном экране все мелькает у него за спиной. Дожидались его и несколько знаменитых в ту пору телевизионных ведущих с московского канала, которые и взялись-то кроссворд решать: убить время.

Они сидели в приемной, а я ходил взад-вперед по коридору, все помалкивал, не встревал, хоть иногда очень хотелось: случалось, бились они над вещами ну, просто очевидными... И вот я все же не выдержал: встрял.

«Не подходит!» — небрежным тоном сказал мне один из телеведущих, переквалифицировавшийся на время в кроссворд-ведущего, в кросс — жокея.

Стали там раздумывать дальше, но по отрывкам разговоров мне было ясно, что угадал я верно: как это может «не подходить»? Остановился возле парня с газетным листом в руках: Вы позволите? Да, пожалуйста! — сказал он снова небрежно.— Вот тут оно должно быть.

Я глянул и оторопел, как говорится: угаданные ими слова были вписаны с ошибками... с вопиющими ошибками, с потрясающими!

Что там родная моя жена, которая «корову через ять пишет», как я всегда над нею пошучиваю... Но тут-то ведь: мастера слова! Политические обозреватели. Чуть ли не властители дум!

И так мне сделалось скучно.

— Да, да,— я только и сказал.— Вы правы: извините.

— Говорил вам! — донеслось мне в спину.

И лужковские грамотеи снова напрягли свой коллективный разум...

Расскажу-ка, думаю, об этом девчатам за конторкой: и о лужковских грамотеях, и о родной жене — чтобы им не обидно было, если что... эс, эс?.. Что же это может быть...

...скопидом! СКОПИДОМ, ну, конечно же!

Стыдно сказать; какая неудержимая волна самой искренней радости подхватила меня и понесла обратно к корпусу!

«Скажу сейчас девчатам», думал на ходу... «а вдруг они уже угадали? Надо мне с порога выпалить: скопидом!... Ну, конечно, конечно,— что же еще на «эс»?»

Скопи — дом — дом — дом!

Как все-таки мало человеку надо. Как мало!

Вот тоже: русский писатель... мыслитель!.. А угадал слово и счастья — полные штаны, как любил говорить незабываемый друг молодости Гена Бицон... ну, когда я о нем все-таки напишу?!

Скопидом!

Пожалуй, я прежде в стекло им постучу: как бы заявку сделаю — мол, отгадал, а вы думали? А потом — с порога!

На месте их не видать.

Помаячив перед стеклом, открываю дверь: та, что куда моложе идет к своей конторке с чашкой в руке.

— Скопидом! — говорю я с видом победителя.— Скопидом!

— Это что? — не понимает она.— Кому это?

— Кроссворд! — напоминаю я.— Скряга, ну?.. Скопидом!

Она удивляется совершенно искренне:

— Есть такое слово?

— А как же, как же!

— Никогда не слышала.

— Да как же это так?

— Теть Женя! — позвала она.— Мужчина вот говорит: скопидом. Есть такое слово?

Эта тоже появилась теперь с чашкой чая в руке:

— Да вроде не слышала...

— Вот, видите,— обрадовалась младшая.— Нету такого слова!

— А сникерс — есть?! — оседлал я любимого конька.— А круиз?.. Шоп-тур какой-нибудь... слалом-жилет... дезодорант, а?!

— Так это — нам уши прожужжали...

— А — скопидом?!

Никак они не хотели его признавать — скопидома моего... собирателя, эконома... во всем себе отказывал — ради них как раз, может, а они: нету такого слова!

Вот и соображай: злой человек придумал все это — с кроссвордами? Или — добрый? Радетель-скопидом, который не хочет, чтобы люди забыли родной

свой язык... Но то, что они идут нынче за обезболивающее средство, кроссворды... что отвлекают от главного — это точно.

Недаром и я ведь вот: вместо того, чтобы продолжить с таким трудом начатую статью, сел за стол и написал эту безделушку.

Косвенное доказательство того, что это кому-то очень нужно: чтобы мы были духом разобщены. И чтобы наша внутренняя энергия не собиралась бы в единый, в мощный пучок, а так вот и бродила рассеянно: как «зайчик» от зеркальца у дошколенка в руке...

Последний солдат империи

В день прославления преподобного Серафима Саровского, первого августа, ехали с Георгием, с младшим — которому давно уже идет четвертый десяток — в храм Успения Божией Матери, что на Городке, в Звенигороде. Петлявший асфальт пошел дальше в гору, а мы свернули на еле видный среди зарослей проселок, тоже начавший выписывать зигзаг за зигзагом.

Все это, наверное, и есть подножие той самой возвышенности, еще и нынче сохранившей остатки дремучих лесов горы Сторожи, на которой стоит Саввино-Сторожевский монастырь. С Успенской церкви, построенной звенигородским князем Юрием Дмитриевичем еще в 1398 году — теперь она считается в Подмосковьи самою древнею — он начинался, с нее же началось потом и совсем недавнее возрождение обители, недаром на вчерашней литургии отец Иероним, настоятель, не без некоторой печали сказал: еще, мол, в прошлом году, когда в монастырь переносили мощи преподобного Саввы, крестный ход к «пешерке» его, на месте которой стал потом скит, совершался от нас, но нынче, мол, они — и «сами большие». В таком смысле.

— Сколько отец Иероним тут служит? — спросил у Георгия.

— Семнадцать лет уже,— сказал Жора. И словно припомнил.— А до него тут, знаешь, кто был?.. Я тебе все хотел рассказать: отец Николай. Ее закрывали тоже, церковь, но совсем ненадолго: на год что-то или на полтора. А потом он как раз и пришел: очень хороший, говорят, батюшка был, но — строгий. Умер-то он совсем недавно, в очень преклонном возрасте, но я его, к сожалению, не застал. А с отцом Иеронимом отношения у них вроде бы не так просто складывались, во всяком случае — он не особенно любит, когда его об отце Николае: это уже так, от старых прихожан больше... Говорят, что отец Николай был царский офицер, каким-то чудом сберег свою форму и уже перед смертью, несколько раз видели, надевал ее, поднимался на ближайшую

горку рано утречком и все стоял в ней, глядел на восход... Полковник, говорят. Царский.

— Ну, что ты? — начал я возражать, хотя история эта меня, конечно, растрогала.— Как он мог быть полковником? Посчитай! Сколько лет надо, чтобы даже при самом счастливом стечении обстоятельств до чина до этого дослужиться. И сколько потом годков пролетело...

Жоре явно не хотелось расставаться с легендой:

— Могли, конечно, в звании ошибиться. Но то, что старая русская форма и золотые погоны — это все в один голос.

— И подолгу стоял, говоришь?

— Прихожане говорят: очень долго!

О чем, любопытно, размышлял тогда отец Николай? Что вспоминал?.. На что надеялся? Чего — кроме близкой своей кончины, разумеется,— ожидал?

Прошел день прославления преподобного Серафима Саровского с крестным ходом из храма Рождества Богородицы в монастыре до «Саввина скита» на «пещерке»: узкая дорога тянулась все вниз и вниз, все в сплошной тени, в едва пробиваемой солнцем зелени, а когда выходили из нее на просвет, обочь на холмах видны были и пышные кроны вековых сосен, и корявые стволы давно засохших древесных великанов... Перед самым скитом начались хозяйственные постройки, и неподалеку от одной из них увидел привязанную на полянке рыжую, с белыми пятнами корову, которую Георгий довольно долгонько передерживал на своей «ферме»: на днях ее, наконец, монахи забрали — привыкает...

Прошел потом праздник «преславного Пророка Илии», как написано полустертою вязью на нашей старой «Новокузнецкой» иконе: Борис Ракицкий, царство ему Небесное, время, когда она была писана, определял шестнадцатым веком. В сибирских наших краях пророк Илья особо почитаем: он — давний покровитель Кузнецка, есть свидетельства его помощи оборонявшим еще первую город-скую крепость — это самое начало века семнадцатого.

На литургии были в монастыре, в том же Рожденственском храме, где теперь очень хороший мужской хор, долго потом, дожидаясь сына, сидели на удобной скамейке во дворике, приобретшем вид прямо-таки благолепный.

«Вот тут как раз на масленицу чучело жгли,— вспоминала Лариса те совсем недавние времена, когда в монастыре был музей, нет-нет, да устраивавший «народные гулянья».— А вот на том углу Жора коня своего привязывал...»

Сколько усилий предпринимали тогда звенигородские казаки (да и не только они, и сам я, и другие москвичи кружили тут постоянно), чтобы монастырь отдали Церкви!

И вот теперь жизнь тут, и действительно, бьет ключом, все строится-перестраивается, рабочие, сознавая это, ходят важные, тоже с косичками на затылке, в остальном же вид у них самый бандитский — несмотря на вальяжность. Зато молодые послушники в своих длинных черных одеждах носятся как угорелые, тот на ходу набирает на «мобильнике» номер, у другого телефон звонит в кармане под рясою, третий что-то кричит в микрофон под коротким отростком антенны своего «уоки-токи»...

А каково было, и действительно, отцу Николаю, бывшему — пусть и в самых малых чинах — царскому офицеру, свято хранившему не только свою армейскую форму?..

О, наша родина со своими загадками!

Был ли он еще по рождении наречен Николаем или взял потом себе это имя, принимая священнический сан?

Без сомнения он лучше нас знал историю монастыря в Смутное время и всегда помнил, что святой Савва Сторожевский — давний защитник и покровитель «государей законных». И твердо — тоже в отличие от нас — считал, что нынешняя смута началась у нас не в восемьдесят шестом, предположим, а почти веком раньше.

Представьте, и правда, этого глубокого старца надевающим полевую форму своей офицерской юности и поднимающимся по тропинке не на самую ближнюю горку: оглядеть заповедные, сокровенные для России места сперва в минуты предутреннего мрака, а потом — в часы всепобеждающего светоносного торжества...

Конечно же, он был великим воином.

Несколько лет назад, когда мы с Толей Галиевым прямо-таки загорелись желанием снять фильм о конструкторе Калашникове, уже готовый сценарий решили назвать: «Последний солдат империи».

Разумеется, красной.

И вот теперь который день думаю о потрясающей разнице между тем и другим...

Чеченский муравей

В сборнике «Сказки и легенды ингушей и чеченцев» увидал в оглавлении: «Муравей.» Подумал было, что это вариант черкесской истории мудрого мураша и надутого джигита, ан нет. Сказка крошечная, вот она целиком:

«Давным-давно один человек сказал муравью:

— Ва, муравей, какая у тебя большая голова, хоть сам ты и маленький!

— Голова бывает большая, если много ума.

— А почему у тебя такая тонкая талия?

— Талия бывает тонкой у благородного человека!

— А отчего твой зад такой толстый?

— Благородный человек не станет говорить о том, что ниже пояса,— ответил муравей.»

Ну, не слишком ли?!

Трудился бы такой парламентским обозревателем, и никогда бы мы не увидали любимых кадров нынешних телеоператоров: как с чрезвычайно серьезною миной на лице какой-нибудь депутат скользит по ширинке пальцами — все ли в порядке?

А если бы он был актером, кинорежиссером либо писателем, вообще — деятелем искусства?

Страшно подумать, сколько могли бы мы навсегда потерять, сколько художественных и философских высот так и остались бы не взятыми... более, более того: нет ли здесь попытки покушения на общечеловеческие, с которыми нынче носимся, как дурень с писаной торбой, ценности?

Ну, муравей, ну, «чечик»!

Шахтерский газырь

Сперва подумалось: только газырей ему, шахтерику, и правда что, не хватало!

Все остальное у него уже есть: и лампочка на каске — аккумулятор на поясе, и, «газоспасатель», и термосок с чайком, и — «тормозок», пусть у кого-то — самый бедненький... Куда ему еще и газыри — на телогрейку?

Как зайцу — стоп-сигнал, как волку жилетка — по кустам трепать... и тем не менее.

Припомнился вдруг недавно рассказ Сергея Леонтьева о том, как буквально в начале этого самого «рабочего движения»... якобы рабочего, да...на участке у них выбирали представителя, который должен был в Москву ехать. Ну, все — в один голос: «Придется тебе, Павлович!»

Павлович — один из самых пожилых, старый правдоискатель, прямой, как отвес, откровенный и неподкупный, да вот беда: ни слова без мата.

Вот он на одном мате и говорит теперь: да что вы, мол, мужики? Что о нас в Москве-то подумают? Там у них одни матерщинники и только «на козлах» и умеют... нет, мужики! Таким макаром все наше дело можем испортить. Кого-то другого надо!

— Кого, кого?!

Впали все в глубокую, значит, задумчивость, а один и говорит: а, может, меня бы послали, а, братцы?

Жалостно так просит.

Все: ха-ха-ха!

— Ну, куда-то тебя, куда — разве на хрен?

Из тех, о ком обычно: трепач, брехло, трекало, тростило...

Но говорун — и правда, заслушаешься.

Тут все: а, может, их вдвоем? Тростило с Палычем... Палыч будет мысли свои заветные, значит, потихоньку, чтобы другие не слыхали мата, высказывать, а Тростило станет культурно их излагать. Как переводчик.

Председатель теркома — территориального профсоюзного комитета — остановил это дело: ничего не получится, мужики,— кто-то один должен ехать.

Этот, Тростило-то, опять: — А вы мне тут наказ дайте. Да не один Павлович, а все. А как вернусь — отчитаюсь. Если что не так, больше не пошлете... да что там, мужики! С живого с меня, как говорится, не слезете: если я там, в Москве что-нибудь, да не так!

И тут он — и что жить по-старому надоело, и о рабочем братстве, о солидарности да о своей ответственности перед ними, пред всеми — так это все горячо, так убедительно да так складно!

Может, в ударе был, а, может, в самом деле почувствовал, что вот он — его звездный час...

Короче, решили-таки послать его.

В Москву, да — в Москву!

А вернулся — как давай заливать: все рты пораскрывали.

Не успели дослушать, как его — уже на городской митинг, там своих ребят оттеснили и оттуда его уже — чуть ли не на руках... герой!

В Верховный Совет избрали еще в Новокузнецке, а дальше пошло-поехало. Даже в октябре девяносто третьего не кем-либо был — переговорщиком. Спроси кого-нибудь, с кем он и о чем договаривался, никто тебе толком не

ответит, но чем чаще об этом пытаются рассуждать, тем Тростило все дальше ото всех, все недоступнее.

В Новокузнецке его теперь не видать, хотя в Думе сидит созыв за созывом. Говорят, кто-то из ребят летал отца хоронить — на билет не то что бригадой скидывались, а всей шахтой — и случайно на него наткнулся во Внукове.

— Ты когда домой-то,— спросил,— в Новокузнецк?

А он:

— В Кузню, блин? А хрена ли мне там...

И как загнет, как загнет!

Некогда, говорит, мне, братан: пока спикером не стану — из Думы не вылезу!

Но это, если на нормальный язык перевести, а так, бригадник вспоминал потом,— сплошной мат.

Даже от Павловича, говорит, никогда такого не слышал: что такое с ним, любопыто, в Думе стряслось?

С Павловичем тоже, между прочим, твориться стало что-то мало понятное. Материться почти что перестал, и, хоть явно тяжело ему это дается, все чаще пытается говорить по-книжному, а однажды тихонько произнес даже словечко «эксклюзив».

Даже самый верный его корефан, Ваня-Метла, чуть травму не получил — упал на задницу.

Но поезд уже ушел.

Дочь полка,
или «Нижегородец не знает заката»

Таков был девиз 44-го драгунского Его Император-ского Величества Нижегородского полка.

Сколько раз листал я посвященное его ратным подвигам двенадцатитомное издание, вышедшее в самом начале века, и к своему стыду лишь недавно, буквально три-четыре года назад, разглядел на тисненой коже обложки полковой знак: голубой круг с краем солнца и с лучами внизу, по бокам под ним ветки лавра, а поверху дугою эти слова...

Ну, не знали они, и правда, заката: ни в бою, ни в устройстве мирных дел, а, значит,— не знали заката славы.

Опять приходит на память рассказ девяностолетнего профессора истории Ульянова, эмигранта из Соединенных Штатов, донского казака, с которым довелось увидаться на первом Конгрессе соотечественников в 91-ом году: вспоминал, как он, совсем тогда малец, возвращается с дедом поздним вечером в бричке со свежим сеном в станицу, правит лошадьми, а дед, лежа на сене с трубкой-носогрейкою в руке и поглядывая на звезды в ночном небе спрашивает — мол, как ты думаешь, внучек: что для казака в жизни главное? Не знаешь? И вразумляет: главное для казака это — слава!

Но я не о том, насколько мы опустились, нет.

О другом.

Среди многих подвигов нижегородцев есть один неор-динарный, о котором давно хотел рассказать именно теми словами, в которых сам прочитал это теперь уже лет тридцать назад, еще в Майкопе, откуда уже потихоньку собирался бежать — как Жилин с Костылиным.

Вот отрывок из главки «В Царских Колодцах», Цар-ские Колодцы — давняя стоянка полка:

«Во время жаркого боя с шапсугами 7 августа 1860 года, в ущелье речки Афипса, один из офицеров Нижегородскаго полка поручик Махатадзе был послан с приказанием к 3-му эскадрону начать отступление. В лощине, покрытой густым кустарником, на него напали двое шапсугов; он изрубил обоих и, поскакав далее, заметил, что невдалеке стояла какая-то женщина с ребенком в руках, а возле нея вертелась маленькая девочка. Возвращаясь назад, Махатадзе увидел труп убитаго им горца и возле него сидевшую девочку; ни женщины, ни другого ребенка уже не было. Девочка, очевидно, была брошена на произвол судьбы. Махатадзе взял ее на седло и привез к своему эскадрону. Все офицеры собрались посмотреть на столь необыкновенную добычу. Девочке на вид было 4 или 5 лет; цветные лохмотья покрывали ее маленькое исхудалое тельце; она была не красива собою; или, по крайней мере, казалась такой под толстым слоем грязи и пыли, свидетельствовавших о долгом скитании по лесам после разгрома родного аула. Она не хотела, или боялась заговорить, не отвечала на вопросы и глядела дикой, испуганной козочкой. С большим трудом добились только, что ее зовут Афизе.

Впоследствии лазутчики разузнали, что отец ея, убитый Махатадзе, был уздень 1-й степени, по имени Дегужи, что семейство его вместе с ним переселялось в день битвы и, вероятно, успело бы спастись, если бы Дегужи не соблазнился, повидимому, легкой возможностью убить русскаго офицера. Искушение это стоило ему головы, а дочери его плена; жена его успела бежать, и что сталось с нею и с мальчиком, которого Махатадзе видел мельком при отце во время катастрофы,— осталось неизвестно.

В среде нижегородцев возник вопрос, что делать с девочкой.По старому обычаю, существовавшему у них давно, решено было признать ее дочерью

Нижегородского полка, заботиться о ея воспитании и, по возможности, вывести ее на светлую дорогу. Князь Амилахвари, как старший из наличных офицеров, взял ее на свое попечение. Тотчас же поскакал унтер-офицер в Григорьевское укрепление, где квартировал 2-й дивизион, чтобы приготовить для приемыша чистое белье, одежду и обувь. Когда вернулись драгуны, девочку обмыли, приодели и приютили в палатке князя Амилахвари. Ближайший надзор за нею поручен был старому солдату Анаскевичу и фельдшеру Плуталову, которые заменяли ей няньку и были первыми ея воспитателями. Простая добрая ласка русского солдата победила упрямство маленькой горянки, она привязалась к ним, полюбила этих страшных чужих людей, которые носили ее на руках, кормили ее лакомствами, делали ей такия красивыя игрушки и рассказывали такия чудесные сказки. Мало-по-малу маленькая Маша, как называли ее в полку, освоилась со своим положением; офицеры баловали ее наперерыв; она стала звать их братьями и только дичилась одного Махатадзе, несмотря на все его добродушие и ласку. Быть может, при виде его в маленькой головке смутно возникала страшная картина смерти отца. Она, однако, никогда не высказывала этого, видимо даже старалась побороть в себе это чувство, но впечталение было уж чересчур сильно.

— Маша,— сказал ей однажды Амилахвари: — твоя мать жива, если хочешь, ты можешь возвратиться к ней.

— Я не пойду к матери,— грустно ответила девочка.

— Почему?

— Когда русские догоняли нас, мой отец вернулся и хотел спасти меня, но его убили; мать же моя бежала и меня покинула. Зачем же я пойду к ней?

Прошло около года. 20 мая 1861 года в станице Николаевской семилетняя Афизе (так был определен ея возраст по ея складу и по умственным понятиям) была окрещена. Обряд был совершен в Михайло-Архангельской церкви священником Бальбуциевым, благочинным 5-й бригады Кубанского казачьего войска. Воспреемниками были: командир Нижегородского полка Николай Павлович Граббе и жена казачьяго есаула Шот. Маленькая Афизе наречена была во святом крещении Марией, а по имени воспреемника получила отчество Николаевна. Фамилию ей присвоили двойную Дегужи-Нижегородская.

В тот же день все офицеры, собравшись на крестинный пирог к полковому командиру, постановили по возможности обеспечить будущность Маши материальными средствами, а для этого установить постоянные взносы из получаемого жалованья. В результате этого и явился нижеследующй документ, подписанный командиром полка и всеми наличными офицерами:

«Дано сие обязательство штаб и обер-офицерами Нижегородского драгунского его королевского высочества наследного принца Виртембергскаго полка девице дворянке (дочери узденя 1-й степени) Марии

Николаевне Дегужи-Нижегородской в том, что каждый из них ежетретно, сколько кто пожелает, будет жертвовать в пользу ея деньгами из получаемого жалованья на ея воспитание и содержание впредь до замужества. По выходе же замуж обязательные взносы прекращаются.Обязательство это распространяется также и на всех тех офицеров, которые будут производимы или переводимы в сей полк впоследствии.

Образованная таким образом сумма, в состав которой принимаются и частные пожертвования, отсылается в Московскую сохранную кассу для приращения процентами. Все документы и наличныя деньги хранить в полковом денежном ящике, в ведении полковаго казначея, по тем же правилам и под тою же ответственностью, как все полковые суммы.»

Чтобы охарактеризовать, как смотрели сами однополчане на это благое дело, приведем несколько строк из современнаго письма одного нижегородца к другому, бывшему в то время в отсутствии: «Конечно,— сказано в этом письме,— не велика будет сумма, которая может быть собрана нашими офицерами, получающими небольшое содержание, но все же эти деньги могут со временем обезпечить сироту, попечение о которой составляет для каждаго из нас святое дело...»

В пользу «Нижегородской Маши», как писалось даже в официальных бумагах, поступало много посильных пожертований и от офицеров, фамилий которых мы не встречаем под обязательством.

В жизни детей всегда встречается какое-либо выдающееся из ряда происшествие, которое дает толчок любознательности и вызывает перелом в обычном ходе их умственного развития. Таким важным событием в детской жизни Марии Нижегородской был приезд в Бозе почившего государя императора, посетившаго Кавказ в 1861 году. Нижегородский полк сопровождал государя до Хан-Кенды, куда он прибыл ночью. На следующее утро государь обходил лагерь. Войска вызваны были на линию. На правом фланге нижегородцев стоял начальник дивизии генерал Тихоцкий, командир полка, и рядом с ним князь Амилахвари. Маше ведено было оставаться в палатке; но девочка, слышавшая в последние дни нескончаемые разговоры про предстоящий приезд государя, волновлась не менее других и, наконец, не выдержала. Одевшись в красивый азиатский костюм, она потихоньку пробралась позади своих драгун, и, подвигаясь постепенно все дальше и дальше, никем не замеченная, остановилась, наконец, рядом с Тихоцким. Никто ея не видел. Все внимание и все взоры обращены были на приближавшагося государя. Громкое ура неслось по линии и гулким, перекатным эхом отдавалось в горах. Минута была торжественная. Афизе подвинулась еще вперед — и очутилась как раз перед государем. Внезапное появление маленькой девочки среди грозного военнаго стана, исключавшаго, казалось, всякую возможность присутствия в нем постороннего лица, а тем более ребенка, видимо изумило государя. Он улыбнулся.

— Это что у вас? — спросил он Тихоцкаго.

Все оглянулись — и только тут увидели свою Афизе. Тихоцкий доложил государю историю девочки, усыновленной Нижегородцами. Государь обласкал ребенка и, взяв его за руку, повел с собою по лагерю. Так счастливая девочка рука в руку с императором и обошла всю линию. Вернулась она гордая и радостная. Государь дал ей конфект и целую горсть серебряных денег. Маша оставила конфекты у себя, а монеты раздала Анаскевичу и Плуталову.

С этого момента, как замечают очевидцы, Маша точно выросла на целый год. Не всегда она чувствовала себя удовлетворенною теми сведениями, которыя могли ей сообщить Плуталов или Анаскевич, ничего не видевшие дальше Кавказа, а ее любознательности между тем не было границы. Ей хотелось знать то, что знают другие русския девочки. Наступала пора серьезно заняться ея образованием.

В 1862 году, князь Николай Амилахвари (впоследствии убитый на правом фланге), отправляясь в Тифлис, взял с собою Машу и поместил ее в частный пансион мадам Фавр. Живая от природы и резвая, Маша усердно принялась за науки, мадам Фавр, время от времени, сообщала полку об ея успехах. «Она добрая девочка,— писала она в одном из писем к князю Амилахвари,— и надеюсь, из нея выйдет славная девица.» Потом поместили ее в заведение св. Нины. Здесь она все реже и реже вспоминала свое вольное детство, свои аулы и горы. Прелесть дикой горской жизни теряла уже свое обаяние, являясь пылкому воображению только неясными призраками соннаго видения: она начинала жить иною жизнию, жизнию ума и сердца. Нижегородцы позаботились снабдить ее прекрасным альбомом, в котором находились карточки всех офицеров полка, и, перелистывая их, маленькая Маша всецело отдавалась впечатлению своего недавняго прошлого, чувствовала себя в кругу дорогих существ, любящих ее и заботящихся о ней. На князя Ивана Гивича Амилахвари она и не смотрела иначе, как на отца, и даже в письмах называла его папашей. И как интересны задушевностию и наивностию ея детския письма! В одном из них она просит о присылке санок, чтобы покататься, в другом — просит мячик, прибавляя, что «кукол у нея много», с радостию говорит, что «по-французски она уже разбирает», с удовольствием сообщает о посещении ея Нижегородскими драгунами, которых неизменно называет братьями, жаждет свидания с князем Иваном Гивичем, передает ему свои маленькия беды об износе башмаков и платья, просит выслать денег на возобновление ея костюма и проч., и проч.

Нижегородцы, которых судьба забрасывала в Тифлис, никогда не упускали случая повидатья со своею любимицей и сообщали сведения о ней своим товарищам. «На этих днях,— говорит один из них, Д. Шишков, в письме своем к князю Амилахвари: — я был на бале в заведении св. Нины и видел нашу Машу. Она узнала меня и целый вечер не отходила и танцевала со мною. Его высочество великий князь был также на бале. Он изволил много

говорить с Машей и спросил меня, кто об ней теперь заботится. Я отечал, что все офицеры полка, а в особенности ваше сиятельство.»

Будущность ясная и тихая, казалось, улыбалась Маше. Но тут, к сожалению; повторилась история, так часто случающаяся с детьми, попавшими в непривычную для них сферу жизни. Как оранжерейный цветок, пересаженный в грунт, нередко погибает, не выдержав прилива света и воздуха, так и полевой цветок, поставленный разом в оранжерейныя условия, чахнет и умирает в тюремном заключении. Этот цветок и может служить эмблемою «Нижегородской Маши». Проводя все прежнее время целые дни в палатке или на открытом воздухе, шлепая по целым часам босыми ножонками по грязи, она чувствовала себя физически гораздо бодрее, нежели в городе. Обстановка комнатной жизни и прилив все новых и новых впечатлений отражались гибельно на ея организме. Упорная золотуха, появившаяся сперва на голове, бросилась в грудь. Ее лечил известный в Тифлисе медик Прибыл, но болезнь в начале весны 1865 года сделала такие успехи, что начальница заведения писала в полк, советуя взять Машу и отдать ее на излечение какому-нибудь туземному медику. Князь Амилахвари распорядился отправить ее к себе в родовое имение в сел. Чалы, Горийского уезда; там она поправилась и снова возвратилась в заведение. В сентябре месяце 1865 года Машу перевели в Закавказский девичий институт; но здесь она заболела уже скарлатиной, простудилась вновь, и доктор Гоппе вскоре заявил, что Маша больна чахоткой, и болезнь принимает такие размеры, что ей необходимо переменить обстановку и климат. 1 февраля 1868 года, ее взяли из института опять в деревню к князю Амилахвари. Лето она провела вместе с классными дамами в Железноводске, где, судя по ея письмам, много танцевала на вечерах, и потом опять жила некоторое время в Чалах. Полк, между тем, прибыл в Тифлис. Чувствовала ли Маша, что ея жизнь вместо расцвета угасает, но только она высказала горячее желание жить и не покидать более родного полкового общества. Князь Амилахвари уже был женат, и в лице княгини Анны Александровны Маша нашла себе добрую, любящую маму, ласки которой так нужны были этой молодой нежной натуре. Ей шел уже пятнадцатый год. Это была девушка высокого роста, стройная, и если не красавица, то с добрым симпатичным лицом, оживлявшимся быстрыми и умными глазами. В сухом климате Царских Колодцев Маша стала чувствовать себя хуже и зимою тихо угасла.

Похороны ея были торжественныя. Все офицеры и солдаты сопровождали гроб «своей Маши» под трогательно-величавыя звуки погребальнаго марша. Над гробом дочери полка, взятой в бою ребенком, воспитанной офицерами и скончавшейся у них на руках, устроен кирпичный склеп, и над ним возвдвигнута каменная часовня; кругом — прекрасный цветник. Часовня стоит в углу церковной ограды, и ея оштукатуренныя стены издали бросаются в глаза своею яркою белизною; крыльцо из тесаннаго камня. Высокий шпиль покрыт листовым железом; над шпилем — крест. Внутри —

роза со сломанным стеблем-эмблема так рано угасшей жизни, и образ св. Марии. Под образом надпись:

«Сооружено Нижегородцами.

Здесь покоится прах дочери Нижегордскаго драгун-скаго полка Марии Дегужи, взятой в плен ребенком в ущелье при реке Афипс 7 августа 1860 года. Скончалась в 1868 году. Цвела 15 лет.»

Памятник освящен 1-го июня 1869 года.Тогда же посадили вокруг него четыре дерева: одно — князь Амилахвари, другое — княгиня Анна Александровна, третье — один из офицеров, участвовавший в деле 7 августа, где взята была Мария, и четвертое — инженерный офицер, строивший памятник.

В день открытия памятника был парад. Князь Амилахвари обошел ряды и, остановившись перед Лазовым, одним из тех драгун, который был при взятии в плен Марии, произвел его в унтер-офицеры. «Просто было сказано,— пишет в своем письме один из очевидцев: — поздравляю, ты унтер-офицер!» Но я видел лица солдат и на них прочел, как много чувствовали они в эти минуты...

В благодарность за сооружение памятника, во время поминальнаго обеда старший вахмистр Плетеницкий и унтер-офицер Лазовой поднесли инженеру простую солдатскую шашку с перевязью.

Для увековечения памяти дочери полка общество офицеров постановило ежегодо отправлять из процентов оставшагося после нея капитала в местный военный храм в Царских Колодцах, при котором покоится прах ея, 25 рублей для поминовения усопшей и ремонтирования памятника.

По смерти Марии за всеми издержками на ея воспитание, похороны и памятник, остался капитал в 2.086 рублей, под официальным названием «капитала дочери полка Марии Дегужи-Нижегородской». Этот капитал имеет специальное назначение — выдачу заимообразных ссуд офицерам. В результате — имя Марии не умирает в полку, потому что наследие, оставленное ею, не умаляясь, переходит от стараго поколения к новому, поддерживая в нем память об одном из лучших и симпатичнейших эпизодов внутренней, так сказать, духовной жизни полка.»

Помню, как тронула мне сердце история девочки — адыжки тогда... помянем тут Большого Черкеса, писателя Аскера Евтыха, покойного старшего друга. Он сам никогда не говорил «адыгейка» и призывал других так не говорить: только — адыжка! Тем более — дитя малое.

Умиляла меня история Маши все эти годы, нет-нет, да и возвращался к ней памятью и все хотел о ней написать... Когда с президентом Джаримовым договорились об издании целевого «адыгейского» номера «Роман-газеты», в котором должны были дать «Сказание о Железном Волке» Юнуса Чуяко, я

тут, же сел — дело было в Ейске, в пансионате Запсиба «Рыбацкий Стан» — за президентскую статью «Белая черкеска для дней мира».

Надеялись, она будет открывать номер.

Как я старался!

Я и нынче убежден, что получилась она на уровне — уж сколько мне приходилось писать за других, дело давно знакомое... вообще-то, может быть, стоило бы в один из «газырей» поместить ее? Конечно, назвать такой «газырь» «президентским» нельзя будет, но — как повод для размышлении она наверняка интересна.

Конечно же, я старался поднять планку высоко, мне это, уверен был, тогда удалось... Маленькая Адыгея, одна из наиболее пострадавших в Кавказскую войну, как бы прощала России ее «колониальное» прошлое и брала на себя роль миротворицы — отсюда и белая черкеска, которую носят в дни мира, надевают в праздники.

Джаримов статью не подписал, более того — решено было, что такая «передовая» статья пойдет за подписью главы правительства. Тогда я подумал, что он не решился взять на себя ответственность говорить от имени всего большого Кавказа.

Вероятно, некоторую неловкость передо мной он ощущал, тем более, что обещанных денег за этот номер «Роман-газета» так и не получила.

Столкнулись с ним в кордире старого здания на Возвдвиженке, где неподалеку один от другого находились тогда и кабинет представителя Адыгеи в Москве, и Союз казаков.

«Вы, наверное, обижаетесь на меня?» — спросил он дружелюбно.

«Да что вы, Аслан Алиевич, что вы!» — воскликнул я так искренне, что не только облегчил ему проблему, как говорится,— вообще снял ее... Пожал руку и пошел себе дальше.

Нынче, когда перепечатывал историю «Нижегород-ской Маши», подумал вдруг: а не она ли его тогда — целиком и полностью повторенная мною в предполагаемой статье его, Джаримова тогда и отпугнула?

Вспомнить ее — может быть, не только простить прошлые обиды, но как бы даже проявить верноподданство... Ведь так по разному относимся мы к одним и тем же фактам и событиям прошлого!

Да, русского умиляет эта история. Она — для русских?

Вот, мол, мы какие хорошие!

У черкесов же есть своя «коронная история»: о руссом пленнике по имени Федор, о «русском Фидуре»...

Все собирался поговорить обо всем этом с бывшим министром среднего машиностроения, с которым нет-нет, да и встречались в представительстве

Адыгеи, с крепким организатором последних советских времен, которому Россия во многом обязана своими космическим успехами,— с Дагужиевым.

Дегужи.

Дагужиев Владимир.

Один шапсугский род.

Родня. И какая, какая!..

Ожидание снега

Как я в свое время хотел — да и нынче, и нынче — тоже! — собрать под этим названием цикл крошечных рассказиков-размышлений...

Снова попалась на глаза тонюсенькая папка, в которую вложены листки с написанными на них короткими заготовками... узнаешь их и — не узнаешь. Одни вспоминаешь тут же, а на другие глядишь чуть ли не с недоумением. Какие-то спрятанные в них сюжеты и замыслы словно вдруг пробуждаются после долгого сна — одни с большою готовностью, а другие словно бы очень нехотя... странное ощущение, странное:

«Ожидание снега — тяга к белому, еще не исписанному листу, на котором-то и родится, наконец, лучшее, что выпаст тебе за всю жизнь сделать.»

«Старая, с густыми ветвями туя у маминого крыльца. Дома, в станице. Зимой поселяются в ней сотня-полторы воробьев: чем холоднее зима, тем больше их кампания — у них тут не только спальня, заодно и столовая. Хоть и небогатая, зато — рядом. Ударит морозец, и денек-другой можно перебиться засохшими семенами туи — в такие дни от них «только тырса сыпется»: мелкая шелушка падает на давно подмерзшую землю словно первый снежок.

В самые жестокие холода эта братия терпеливо ждет, когда мама откроет дверь на улицу и, стоит ей зазеваться, как вся громадная стая с шумом врывается в коридорчик у нее за спиной — там всегда тепло от котла, обогревающего дом, от газовой печки, на которой мама нет-нет, да что-либо приготовит или чай себе вскипятит. Тут можно поживиться чем-либо повкуснее надоевших семян, и воробьишки шныряют по углам словно лихие продотрядовцы, орут, и мало того что непременно драку устраивают — тут же начинают беспардонно метить какашками и стол, и полки, и мамины половики на полу.

Мать берет веник и начинает выгонять их, заодно выговаривая: не умеете, мол, прилично вести себя... ну, обогрелись бы, ну, поклевали — разве непонятно, что холод и голод — нет! Обязательно надо нашкодить, непременно напакостить!

Жалуется потом на неблагодарных воробьев проходящим мимо двора знакомым, соседям снова рассказывает: мол, вот, опять эти безобразники чуть с ног не сбили — как шамаром в тепло кинулись, как давай хулиганить!

Но на следующий день, когда морозец прижмет сильней, опять медлит у дверей... какие-никакие, а — гости!

«Prosus» — вольный, свободный, движущийся прямо.

Дыхание, пар. Овечье тепло. Пастухи. Пастыри.

«Кто хочет быть обманутым, пусть будет обманут.»

«Снег не только где-то очень далеко от тебя, в сибирском поселке, но и — совсем рядом, в ближних горах, в нашем Приэльбрусьи. Ощущение снега.

Странное это время, когда, не написав ничего полностью, можешь верно начать один долго ждавший своего часа рассказ и вдруг придумать счастливую по точности концовку какого-то из почти забытых, казалось, недоделанных в свое время старых... Когда из кружения слов вокруг тебя и в тебе отделится, наконец, какая-то одна цельная фраза и, приблизившись, приобретет, наконец, такие черты, что замрешь в радостном, благодарном изумлении.

Это тоже похоже на кружение снега.

Время черновиков, клочков бумаги, отрывочных мыслей, счастливых прозрений, неожиданных замыслов...

Где-то там, очень далеко, уже который день снег падает на горячие заводские кожухи, и стальные машины постепенно остывают снаружи, не отдавая внутреннего тепла.

И уже истратили последнее тепло крыши.

Уже не выключают моторы «икарусов», которые будут ночами «молотить» в промерзающих гаражах всю долгую зиму.»

«Убегать с праздников и — работать.»

«Может быть, оттого, что я долго жил в другом месте, ко мне приходит это. ощущение снега, кружащего очень далеко от меня. Тоскую по тем местам и потому слышу, как падает снег за четыре тысячи километров отсюда, от тихого и уютного Майкопа...

Ощущение осени повсеместно, ощущение начавшихся холодов и тут, в нашем райском уголке, где тоже вдруг тебе становится зябко — когда

подумаешь о студеных северных ветрах... о синих ветрах Прибалтики... о снежных зарядах на сибирской реке.

Что представляется?.. Сакля, холодный камень, в огне сырые дрова с закипающими на комельках пузырьками, мокрые бурки, дым под черной от нагара очажной цепью... было? Или когда-нибудь будет?

Человек ищет родину? Или самого себя?»

«Небо темное и высокое, приподнятое только что откружившими в нем галками, которые, кажется тебе, не опустились потом на землю, а так и пропали, взмыв — будто растворились в конце концов в этой выси... Удивительно, что после них, таких черных, начнет неслышно сыпаться белый-пребелый снег.

И это еще не первый снег — это его предчувствие. И это еще не работа — это предчувствие работы.

Может быть, потому что — пора, а его нет. И слышно, как падает очень далеко.

И оттого-то особенно уютно в этом плотно укутанном темнотою южном городке.

Юг и Сибирь.

Северный Кавказ.

Юг Западной Сибири.

Горновые и пастухи. Жар домны и живое овечье тепло.

Глядишь в небо — ждешь. Чего, чего?!»

«Думал, что напишу эту книгу в родительском доме в Отрадной.

Что так и будет она потихоньку складываться годами в те дни поздней осени, когда буду приезжать к матери...

Но вот сижу в санаторном номере в Кисловодске, и за окном идет мокрый снег, тот самый, знакомый с детства снег, во время которого во мне, кажется всегда, оживает память моих предков, среди которых, обычно думается в такие минуты, обязательно были горцы.

Абазины из Топонты, из аула, где жили когда-то Лизогубы?

Хутор Лизогубовская Грушка. Или просто: Лизогубовка.

Кунаки — черкесы?

Откуда иначе эти плачущие деревья? Откуда запах дымка и овечьей шерсти, откуда кисловатый парок от подсыхающей бурки?»

«Поближе к новолунию начинает меняться погода, скрывается постепенно в размытом тумане гребень горы за нашим Урупом, на него ложится густая пелена, делается все темней и темней, и вот уже над нею стоит черный «вал».

В станице при встрече люди здороваются только потом, а сперва говорят, показывая на гору глазами:

— Ну, дасть теперь!

— Дасть так дасть, у!

Буря, пришедшая из Сальских степей, будет нестись над станицей три дня, шесть дней либо девять — непременно так, это закон.

Крыши будет срывать и валить с ног. С непрерывным гулом будет нестись над головами рваная черная темь.

Никто не поднимет головы — голова в плечи, закон аэродинамики на бытовом уровне.

Но однажды ночью я вышел в двор, поднял голову и вдруг в синих-синих разрывах облаков увидал такие яркие звезды!

Подумалось вдруг, что мать-природа уже у нас научилась: ночью, когда все спят, можно и не очень стараться. Гул такой же, но черная пелена куда реже: экономия!»

«Знаменитый жеребец Анилин, которого англичане предлагали отдать им за золото — вес на вес.

Долго решают какую кобылицу стоит крыть, а какую не стоит...

А вечером на своей худой кобылешке на конзавод приезжает «до конюха» кум с поллитрой, и дело сделано... родина!»

«А вот какие стоят деревья, когда поздней осенью идет этот снег. Сверху они облеплены белым, а по бокам и снизу мокрые ветки чернее черного, сисподу висят на них прозрачные горошины — кажется, снег растаял от теплоты уже засыпающих на зиму, но все еще окончательно не уснувших древесных великанов...»

«Так называемая в быту «пьянка» — это особый вид работы... трудная работа. Тяжелая. Добывать в разговоре зернышко истины такой, случается, горькой, что после, добыв ее думаешь с тоской: Господи, куда же я от нее теперь денусь?

А мама на это с горечью скажет: во-он оно! А я думала, братики твои двоюродные не работают!»

«Не слишком ли я увлекся движением? Ведь уже столько видел — и правда, немало. Но я снова и снова куда-то еду, куда-то мчусь... что это? Играет казачья кровь? Или идет подсознательный поиск утерянной когда-то — может быть, вовсе не мною — точки опоры?

А она в родительском доме.

И я бы должен подобно астроному — «наблюдателю» Вале Липовецкому подолгу всматриваться в прошлое. И очень подолгу думать о возможном будущем, о котором в силу разных причин у нас по сути не размышляет никто.

Он ведь даже в Москве не был, Валентин, и ничуть об этом не жалеет, она ему неинтересна — вот ведь какое дело!

А у меня мечта — рассказ написать: «Хотел бы я жить везде.»

«В набитом автобусе услышал за спиной безмятежно-мягкую старушечью речь и невольно прислушался:

— А ей в тот день покликушка была... Вот она приходит и говорит дочке: Галя!

Молодой голос перебил:

— А покликушка — это что, бабушка?

— Не знаешь ишшо? А это когда покойник вдруг живого покличет...»

«Говоришь, ты совсем заскучал? Не с кем перекинуться словом?

Погоди!

Скоро, скоро придет к тебе собеседник, с которым ты никогда не соскучишься. Совесть.»

«Глянул за окно, а он идет — снег! Такой крупный, такой красивый, словно каждая снежинка — штучной работы.

Но что удивительно: он не на землю опускался — снег поднимался вверх!

Если отталкивали его, тащили обратно какие-нибудь шедшие понизу воздушные токи, то все равно: откуда он в них появился?

Но все вверх и вверх, вверх и вверх — я как зачарованный глядел на этот перевернутый мир... если бы «перевернутость» его на том и кончалась!»

Перевязь от Роберта Кесслера

Ну, для начала я всех их замучил «Перевязью» Эдгара По: всех сотрудников нашего «Металлургстроя» начала шестидесятых. С этими путеводными стихами я приехал на Антоновскую площадку, на ударную нашу стройку, над которой витал, как мне казалось тогда, не только землепроходческий дух — бивший в грудь встречный сибир-ский ветер доносил издалека и едва различимые отзвуки конкисты.

Много стараний я положил на то, чтобы они усилились!

«Надев перевязь и не боясь ни зноя, ни стужи, ни града, весел и смел, шел рыцарь и пел в поисках Эльдорадо...» Это я цитировал утром и вечером, трезвый как стеклышко и над стаканом «питьевого», пять шестьдесят семь бутылка, крепость девяносто шесть градусов: эту «крепость» мы «брали» неразбавленной.

«Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики,— начинал самый молодой из нас, Роберт Кесслер, Джон-Поникший тростник из Ростова, печать в трудовую книжку которого закрепляла за ним непременную и беспрекословную обязанность по первому слову и в любое время суток бежать за нею, проклятой, в поселковый магазин либо на дежурной машине мчаться в город, на станцию.— Я правильно цитирую, шеф?»

Сам недавно бывший точно в таком же, как у Роберта, положении, я теперь с нарочитой задумчивостью медлил, и недавний морячок Толя Ябров, заведующий партотделом, подтверждал за меня, посмеиваясь: «Надев перевязь!»

Как пароль было.

Это они тогда, в белокаменной, вылизывали зады «старшим товарищам», чтобы те включили их в предательскую «квоту» подлючей «интеллигенции» — наши партийные вожди загоняли нас и отлавливали по всем правилам охоты на дикого зверя: видели неутомимых вольных работников, а потому хотели к Сибири накрепко привязать. Этими-то кандалами да наручниками и нынче впору гордиться!

Так вот.

Могу только догадываться, откуда взялся и во мне, и во всех нас этот все не убывавший с годами, а только разраставшийся, как ширь перед идущим пароходом, рыцарский цикл. Потом в него вошла и «Заповедь» Киплинга, и стихи Гумилева.

«Углубясь в неведомые горы, заблудился старый конкистадор. В дымном небе плавали кондоры, нависали снежные громады...»

Был еще один гумилевский конкистадор, который уже не имел времени «песни петь о солнечной Кастильи, вспоминать сраженья и любовниц, видеть то пищали, то мантильи» — «привязан у пальмы», в клубящемся пламени

поддерживал свой дух песней о том, как «пелись баллады в вечерних тавернах, что ждет Эльдорадо отважных и верных.»

Снова, скажете, Эльдорадо! Но что делать?

Тем более, что это — вовсе не то, милые, совсем, скажу вам, не то, чем забивают нынче головы наших давно взрослых олухов все каналы телевидения, все радиопрограммы, вся пресса... не то, не-ет!

Случилось так, что в свое время не остался в сознании еще один гумилевский стих... но, может, и хорошо?

Обстоятельства заставили вновь упаковывать книги в коробки из картона, и вновь я почувствовал себя посетителем монгольского дацана, который на ходу поворачивает раскрытой ладонью медный цилиндр с заключенными в нем свитками священных книг — что-нибудь да западет в ум, что-нибудь в душе да останется!

Любимые книги задерживал в руках, принимался листать, а то вдруг надолго впивался в страницы взглядом... кто говорит, тяжелая работа?

Подпитка!

Посудите:

«*Слышу гул и завыванье призывающих рогов,*
И я снова конкистадор, покоритель городов.
Словно раб, я был закован, жил, униженный, в плену,
И забыл, неблагодарный, про могучую весну.
А она пришла, ступая над рубинами цветов,
И, ревнивая, разбила сталь мучительных оков.
Я опять иду по скалам, пью студеные струи:
Под дыханьем океана раны зажили мои.
Но вступая, обновленный, в неизвестную страну,
Ничего я не забуду, ничего не прокляну.
И, чтоб помнить каждый подвиг — и возвышенность,
и степь —
Я к серебряному шлему прикую стальную цепь.»

«Рыцарь с цепью»!

В отличие от нас — рыцарей в цепях, эх!

Пока в цепях, будем надеяться.

Пока.

Тут же я стих выучил, приобщив его к давнему рыцарскому циклу.

И все бормотал, бормотал, а то вдруг начинал выкрикивать строчки, перебирая другие книги и в особую коробку откладывая те, слегка, а то и уже

довольно крепко подзабытые, к которым намеревался уже на новом месте вернуться в первую очередь...

В этот картонный ящик попал и сборничек Кесслера «Избранная лирика», изданный, опять же, в Ростове-на-Дону в 1994 году «Научно-производственной фирмой «Камелия» совместно с Северо-Кавказским информационным центром «СевКавинВЭС» тиражом 500 экземпляров и присланный мне Робом... Робертом Максовичем, прошу извинить, год спустя.

«Надо,— подумал,— вернуться к сборничку, надо!»

И вернулся вот.

Начал читать и на страничке восьмидесятой в цикле «Путь к дому»нашел стих с посвящениием: Г. Н.

Смогу ли его не процитировать — нет, братцы, нет!

Вот он: *«Опять сияет Эльдорадо и все сомненья позади. И путь — идущему награда, включая тяготы пути.Смеясь над вымыслом и плача, тропой отчаянной строки, шагают рыцари удачи. Мелькают годы — башмаки. Они скользят по красной глине, достать пытаясь облака, зовут их идолы пустыни познать бесплодие песка. В квартирах им пространства мало среди простых надежных вех. Лишь горизонт полоской алой им гарантирует успех. Простим же им пренебреженье к вниманью суетных друзей. Грызут им пятки при движенье подметки, полные гвоздей.»*

Прости, Роберт, милый, и в самом деле,— прости!

Выходит, что бывает и так: из-за песен о товариществе вообще просто-таки не хватает времени для самих товарищей — грустно, грустно!

Помнишь, как мы когда-то в пору «Металлургстроя» говаривали: мол, «краска стыда заливает мое лицо.» Так вот, заливает, заливает...

И продолжение шутки: мол, много краски понадобилось бы для того, чтобы залить его тебе — много! Так вот,— не очень.

Морденки не наел, выяснилось к моим шестидесяти пяти, что друг твой как бы худощав... разве на бороду пошло бы краски достаточно, но ведь ее бы не стали красить, бороду, разве не так. Уж коли «серебряным шлемом» так и не удалось обзавестись, пусть хоть борода будет серебряной.

И как я рад, Роберт, что как раз перед этим занят был работенкой, в которой пытался рассказать о поездке «молодых писателей» в Вешенскую, к Шолохову в одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. И там я позволил себе рассказать, почему я прямо-таки вынужден был прежде, чем отдать дань уважения Михаилу Александровичу, тебя навестить в твоем ростовском «Нахичеване». Коли даст Бог, напечатает ее «Роман-журнал», а называется это мое эссе — как Василий Петрович Росляков, светлая ему

память, с насмешливой улыбочкой говаривал,— экзерсис этот — «Дон!.. А лучше родной дом.»

Сколькое за этим понятием, сколькое!

Включая твои немногословные комментарии тогда, в Сибири, по поводу того, как «один чувак с юрфака» пытается отсудить для тебя в Ростове родовой дом, некогда принадлежавший расстрелянному в 37-ом главному механику Азовского пароходства Максу Кесслеру, которого в своей «Тихой музыке победы» я «сделал» латышом — немца в действительности...

За мгновенье до удара кинжалом

В роду у Виталия Дзюбы есть черкесы, и однажды, когда я спросил его о «черкесской крови», он, посмеиваясь, сказал: «В нас она есть, да, но между нами не было крови... все хочу тебе, Леонтьич, рассказать, может быть, напишешь когда. Сядем как-нибудь потом, и я тебе все подробно, а если вкратцах, то так: аул да станица рядом, а как уж они там познакомились, как спознались — чего не знаю, того не знаю. Но влюбились друг в дружку — казачок наш да их черкешенка... Ну, ты Кавказ знаешь: уж если бы наоборот — куда ни шло... а вообще-то как тут судить? Я, например, чем больше вспоминаю, что старики рассказывали, тем ясней делается: уж чего только, и правда что, между казаками и черкесами не было... так и тут.

Короче, решили они пожениться, но все против — и та, и другая сторона. Никто и слышать не хочет. Ну, и, как водится, договорились они, что он ее украдет: чтобы хоть тут — честь по чести.

Украл, не догнали, и поселилиь они где-то в горах: ну, вот что было на них да что она успела из дома на первый случай прихватить — это вот и все их богатство.

Стали их наши казачки выслеживать, выследили, да как рассказали потом, в каких они там условиях в какой-то сырой пещере... Прабабушка расплакалась, упала дедушке... ну, прадедушке... в ноги. Ты как хочешь, а я пойду — сердце не каменное. Ну, для начала он, как водится, за нагайку, а потом... Может, ночная кукушка дневную перекуковала, может, еще что — уговорила она его, собрались идти вместе. Нагрузились! Чего только не взяли с собой — и одежонку, и одеяла с подушками... в общем, что могли унести на себе — к самой пещере конем было не пройти — все взяли!

Вот пробираются они, стараются тихо, мало ли, вдруг дед ей знак делает: замри, мол! тихо! Кто-то есть!

Замерли, видят вдруг, это тот самый черкес, отец ее... а они уже перед самой пещерой, и он кинжал достает. Ясное дело — прирезать хочет. Дед бабке приказывает знаками: жди тут! Сам — за черкесом. Сзади обошел, тоже вытащил кинжал, и только собрался на своего свата прыгнуть, как тут вдруг женский плач, вой, причитания... ну, все что женщины могут. И бабка вдруг кричит: да подожди, Ваня, не режь его — и сватья тут! Подбегают к ним оба «свата», значит, еще с кинжалами, смотрят, а эти две — «сватьи», «сватьи»-то — висят друг на дружке, обнимаются, плачут... Оказывается, он впереди с кинжалом шел: шорох услышал. Думал, казаки к молодым «подкрадаются» зарезать их — решил защищать… Ну, а глянули теперь — в мешках у них и соленая баранина, и круги сушеного сыра, и вообще чего только нет — на зиму бы, говорит, молодым хватило...

Но зимовать им в пещере уже не пришлось, да.

Сваты-то, сваты.

Сначала по аулу на конях рядом проехали. Оба при полном боевом... Медленно, говорит, ехали, ме-е-е-дленно. А когда впереди толпа собралась — и конные с винтовками, и пешие, и дед уже взялся было за шашку, черкес положил ему руку на плечи... вроде как обнял, и все расступились.

Ну, а в станице — что?

Там они пешком прошлись.

Оба — в стельку, и такого песняка, наши потом рассказывали, давали, что не только в ауле рядом — по всему Закубанью слыхать было...

Откуда только говорит, черкес слова знал? Или к этому дню специально выучил... Но — «крычал» песни!

Такая вот, Леонтич, наша история.»

Генри Лоусон

Так хочется когда-нибудь воздать должное этому великому, а главное — верному, верному! — сыну Австралии.

Певец рабочей солидарности и народного братства... неужели все это тоже навсегда ушло в прошлое?

Недавно в «Спецназе», достаточно «крутом» еженедельнике, прочитал, что нынче, во времена глобализации, и профсоюзы, какими бы они когда-то не были организованными, и рабочее движение вообще — все это в прошлом,

вообще уже никто в мире и ничто не может противостоять власти денег, она превратилась в этакого всепожирающего Ваала... или и это уже было?

О, преславный святой пророк Илия, покровитель нашего Новокузнецка, нашей огненной Кузни! Не затупился твой некогда беспощадный нож?

Снял со шкафа старую икону Пророка и долго ее рассматривал... будто ответ немедленно можно получить, эх!

Но почему я вспомил о Лоусоне? Перелистывал его в очередной раз — к его-то рассказам о шахтерах да стригалях возвращаюсь, и действительно, постоянно — так вот, перелистывал, и вдруг подумалось, что наша Антоновская площадка со своею ударной комсомольской стройкой на ней была не только Запорожскою Сечью, что я очень давно уже осознал, не только тем самым мифическим Эльдорадо, но еще и прииском, да, а мы — старателями, подверженными если не всем, то очень многим болезням золотой лихорадки. Разумеется — с сибирским уклоном, так сказать. Со всеми этими причудами фарта.

Который покинул потом почти всех из нас.

На время ли? Или тоже — навсегда?

Своя земля и в горсти спасет...

Было это в середине шестидесятых, в самый пик моего сибирского «первопроходчества». К этой поре на нашем Запсибе уже работали и теплоэлектроцентраль с коксовой батареей, и первая домна, но жизнь, как нам громко обещали в начале стройки, лучше от этого не сделалась, единственное, чего в поселке стало в избытке,— так это молодой-зеленой самоуверенности: ай да мы! Обещали, что будет чугун? Есть!.. Сказали, будет сталь? Дайте срок. Как тогда модно было писать: Родина смотрит на часы — Родина ждет!

Само собой, что по молодости чуть ли не всякий из нас изображал: кто — старого монтажного волка, которому даже во время мирного сна в собственной постели чуб продолжает шевелить тугой ветер высоты, кто — неутомимого путника в грубых башмаках, покрытых пылью дальних дорог (от промплощадки до редакции на промбазе). И все мы были конечно же записные спартанцы, не обремененные ни излишней заботой о модной одежке, ни о гастрономических изысках. Речь наша тоже не отличалась изяществом: руки — грабки, лицо — будка, рот — хлебало... А в рабочей столовке или даже в привокзальном ресторанчике мы разве ели?.. Конечно

же, мы рубали. «И щи рубали за обе щеки лихие парни-забойщики» — это из моих прощальных стихов тех лет, перед окончательным и бесповоротным сочетанием с прозой.

Само собой, что упоминание об оставшемся в далеком далеке хваленом кубанском изобилии вызывало тогда у меня лишь горькую усмешку, а умилительный слог моих земляков, которым сопровождалось поедание вроде бы рядового продукта во время наших застолий в недолгом отпуске, не только забавлял, но и наводил на печальные размышления прямо-таки космического масштаба: вот что для них главное в жизни-то — вот что!

Вокруг Моей Отрадной под Армавиром раскинулись станицы с названиями не менее ласковыми: Благодарная, Спокойная, Бесскорбная, Удобная, Надежная, Отважная, Изобильная. Однажды в Удобной старый школьный товарищ, светлая ему память, Федя Некрасов, привез меня к своим друзьям, и почти тут же мы оказались в просторной беседке за громадным столом: чего на нем только не было!.. И вместе с удивительным абрикосовым «самогончиком» полился родной южный говорок: «Угощайтесь, дорогие гостюшки, угощайтесь!.. Кому больше баранинка с почечкой, а кому — молодая свининка, а есть и курычка... Помидорчики только с грядки — еще живые. Маслице коровье свое — давно небось такого не пробовали. Колбаска домашняя, копченое сальце — тожить. Пирожочки с гусиными потрошками пекла только утром, а картошечка молоденькая со сметанкой — ой, сметанки такой — и правда ни у кого! И лучок-чесночок, и перчик — кому горький, а кому — сладенький... а может, закусите сперва малосольным огурчиком с майским медком?.. Хлебушек тожить сама пеку — на листочечках на капустных, как раньше,— попробуйте моей полянички, попробуйте!»

Как я ни старался, все же не смог сдержать выразительной улыбки. Чуткая хозяйка, мама Фединых друзей, это заметила и, как только мы изъявили желание поглядеть на птицу да на животину, пройтись по саду-по огороду, она тут же нагнулась и взяла с грядки горсть земли: «Видите, какая у нас земличка? Пух!.. По нескольку раз от так всю у каждой руке размяла, на каждой ладошке потетешкала... а как жишь! Тогда она поймет, тогда отзовется. Вот и благодаришь ее за все увежливым словом, а не как-нибудь... ну а, как жишь?.. Ой, все она понимает и все чувствует, наша землица, ой все!.. Полоть или поливать — туда-сюда, а сажать или сеять больная бо сердитая на кого — никогда не сажаю, не сею. И чтоб здоровая была, и с хорошим настроением — тут хуть умри. Только с дорогой душой, с доброй думкой! Соседи все никак не поймут: да почему оно у тебя с земли само лезет?.. Да вот как раз поэтому: когда сажаю — у меня праздник. От тогда все и уродит... да что там!.. Она в войну и спасла меня, родная земелька. В чужой сторонке, считай, из могилки подняла...»

Сибирская стройка научила меня слушать — она это ясно видела: «Немец в сорок первом уже почти занял усю Белоруссию, а у меня со старшей сестрой

плохо — она туда давно еще замуж вышла. Думка была забрать, ее до нас — я поехала. А он десант бросил и отрезал. Одна бы пешки ушла,— ой, я бедовая была, ничего не боялась. А как с ей?.. Да и досиделась я у той Белоруссии до того, что племянницу мою, ей как раз восемнадцать, стали у Германию угонять. Угонют, думаю,— сестра, и правда, не перенесет. Решила вместо ее идтить, ой, я тогда бой была, ой бой! Не то что нонешние мокрохвостки. Сбегу, думаю, еще до вашей Германии — меня у станице дети ждуть... эге ш! Недаром жишь говорится, что человек только полагает, а располагает — Господь. И до места довезли, и работать заставили как миленькую. И еще одна забота легла на меня: по возрасту — старшая. А девчат стали обижать: приставать до них. Я давай заступаться. Да и достукалась, что из-за свово сына хозяйка меня сперва овчаркой порвала, а потом плеткой забила — чуть не насмерть. Ух и эсэсовка была! Кровососка. Думала, уже все... Тут как раз бауэр, хозяин наш, вернулся с войны. Без ноги. Прошел, все хозяйство проверил, на всех арбайтеров посмотрел, а на меня дажить не глянул, только возле подстилки, где я лежала, нос зажал: такие были после овчарки раны. Я уже со всеми своими давно у мыслях у своих попрощалась, по всех отплакала, а тут приходит одна наша девочка и говорит: тетя Клава!.. А там с твоей Кубани земли привезли нашему бауэру... Кто ее привез? Как?! Дак у их жишь земля плохая, девочка говорит, дак они нашу теперь сюда вывозют. От с Кубани и привезли, чернозем там такой, у-у!.. Дали ему как герою войны. Как раненому. А откуда ты знаешь, что с Кубани?.. И хозяева между собой, говорит, гуркотали, и на ящиках черной краской но-ихнему: Кубань. Слушай, я ее прошу. А укради-ка мне жменю. Хуть столечко!.. Приносит. Я у нее в руке как понюхала — и как будто с жаркого дня в прохладную речку. Закрутило и тихо понесло... Сперва на поле, а после вроде уже как по воздуху. Не помню ничего, только несуся над землей, а вокруг поют, да так хорошо, так красиво, как у церкви, когда совсем маленькая... В слезах очнулась, прошу ее: да пересыпь у мою ладонь — это наша! Такого запаха, как у нас на Кубани,— у ее больше нигде. Да сжала ее у кулаке, давай рассказывать: ты знаешь, какая у нас земля? Оглобля за ночь травой зарастает — утром и не найдешь. А дышло в землю воткни — бричка вырастет. И давай ей — и про станицу, и про речку, про наш Уруп, и про сады, и про лошадей с жеребятками... я ж, говорю, бой была: ой, на коне насалась — джигитка и джигитка!.. А потом говорю: эту я себе оставлю, я спать с ей буду у кулаке, а ты возьми там еще жменю, да разотрем, да посыпешь мне и руки, и плечи. Она говорит: да рази ш можно?.. А зараженния?! Какое там тебе, говорю, зараженния — родная земля! Или ты девочкой себе казанки на пальцах не сбивала да пылючкой потом не присыпала?.. Она заплакала: а я, отвечает, городская. Я с Гомеля. Ну, все равно не бойся — неси! Сделала она, как я просила. И как пошла я на поправку, ты веришь,— ну, как пошла! Когда оно — раз и на лицо перекинулось. И я решила намазаться. Намазалась, лежу как цыганка-сербиянка. А тут эсэсовка эта. Да плеткой опять как стебанет, да бегом за собакой, когда слышу — одна нога чурыгает. Бауэр наш. На костылях. Глянул на меня и опустил голову. Поднял, тихо

спрашивает: казак?.. Черкес?.. Я чуть не в слезы: у меня ж как раз папаша черкес, мама — казачка. «Я! — говорю по-ихнему.— Я-я!..» Задрал он голову, стал как у нас было раньше белые офицеры — да как закричит. На свою эсэсовку... А я с тех пор поднялась. Мне все потом нипочем стало. Дажить Сибирь, когда нас освободили да тут жишь уже у свой лагерь послали. Хуть не совсем — а дома!.. У России. А когда в станицу вернулась наконец, упала на коленки и первым делом по усему нашему огороду, по усему большому плану на них и проползла: да каждый цветок понюхаю, да каждому росточку, каждой былиночке до земли поклонюся. Припаду до ее лбом да так и замру. А потом давай нянчить земличку, давай за ею ухаживать. Ой, чего только я с тех пор не узнала! Чему только меня старые люди не научили! Одно дело, что удобрення, что скотину не знаешь, для чего больше держишь: для себя, чтобы с молочком, или для землицы — чтобы она с навозцем... Другое, что давно поняла: не дождик, не роса поливает, а только — пот. А главное: не земля родит — родит небо. Это ты на усю жизнь запомни: когда что сеешь или сажаешь, не забудь повернуться на восход, не забудь сказать: «Господь Вседержитель и Пресвятая Богородица!.. Пошлите мне урожай сам-сто, а я разделю его на три части: на себя, рабу Божию Клавдею,— как я всегда говорю,— на сродников моих и на близких, а также на воров да бандитов и всяких непременных мошенников...»

Помню, как я завозмущался, запротестовал, как горячо мы заспорили... Ну, так мне не хотелось, чтобы мудрая и работящая тетя Клавдея делилась бы с — ворами и с «непременными мошенниками»!.. С каких это коврижек? Чего ради?

«Ты еще молоденький, детка! — терпеливо убеждала она меня.— В Бога еще не веришь и много пока не понимаешь. Потом поймешь… Кто ж их иначе питать будет?.. А тожить надо. Живые!»

Много лет прошло с тех пор. Я все продолжаю то в Сибирь ездить, то на Урал, а то подолгу на Кубани живу, теперь уже в ином месте — у черкесов.

Стыдно признаться: не знаю, жива ли бабушка Клавдея из станицы Удобной. Но стародавний завет ее хорошо помню. И начал, кажется, с радостным удивлением в себе осознавнать и спасительную глубину его, и упредительную силу...

Друзьям ли помогаю с огородом на юге или в Сибири, жене ли, трудолюбивой пчелке, подставляю плечо в сельце под Москвой — обязательно шепчу на восток: «Господь Вседержитель и Пресвятая Богородица!.. урожай сам-сто... на три части... рабу Божьему... друзьям и близким... ворам и всяким непременным мошенникам...»

И в самом деле: ну, как без них?

Вон сколько их нынче поприбавилось!

И тех, и других...

Где мы?!

Помню, как заставляла меня печально и чуть насмешливо покачивать головой прабабушка Таня, Татьяна Алексеевна, открывавшая, бывало, дверь в комнату, где сидел с книжкой в руках, или находившая меня в огородных зарослях с блокнотом на коленях под яблоней.

— Чи ты тут, Гурочка? — спросит как бы даже с некоторым испугом.

И ты невольно вздохнешь:

— Тут, тут, бабушка.

Проходит полчаса-час, и она опять — с той же, значит, проблемой:

— Да чи ты тут, Гурка?

— Бабушка! — не выдержишь в конце концов.— Ну, здесь я, здесь, и никуда пока не собираюсь... здесь, ну куда денусь, в конце концов?!

Рассказать ей, думаешь, анекдот о вечерней перекличке в тюрьме? Или на подводной лодке. Конец и там, и тут одинаков: а куда, мол, ты, Иванов, на фиг денешься... рассказать?

Не поймет бабушка — она живет себе в другом мире. Давно!

Только над строкой сосредоточишься, она — снова:

— Да опять подумала, Гурочка: чи ты тут?

Старость — не радость, дело ясное. А ей за восемьдесят. Вполне понятно: склероз.

Но вот все чаще и чаще вспоминаю ее негромкий и задумчивый голос, звучавший для меня тогда еле слышным эхом давно прошедших времен:

— Ночью у хате тихо, и вдруг в стекло от-так ногтем — стук! Повернешь голову, а он тебе в окно язык показывает... Черкес! Пока папаша за винтовку, пока во двор выскочит — уже и след простыл... медом не корми, дай напугать. Черкесам.

В который раз вдруг начнет рассказывать, как по воду ходили непременно «гуртом», непременно в сопровождении конных казаков — по бокам, сзади и спереди.

— Тут же украдут — у-у-у!.. Это не дай Господь: заговориться с подружками или начать ворон считать — тут же тебя не будет, тут же!.. Нюрка

Чикильдина вот: вроде и не раззява, а до сих пор у их! Старая теперь, страшная, дажно, как и я. А все там!

Такие бури над полусонным миром пронеслись, а она — там, видите ли.

Да где, покажите мне его теперь, это мифическое «там»!

Станешь объяснять: — В другое время живем, бабушка! В другую эпоху...

— Как, как ты ие?» — она перебьет.

— Эпоха, бабушка,— так теперь говорим. После революции. Теперь все иначе: у меня вон лучший друг — осетин, Черчесов Жорик, ты знаешь ведь...» «Дак потому и спрашиваю,— опять она за свое.— Чи ты дома?.. А то пойдешь куда за им, а там...

Ну, что ей, и действительно,— это «другое время», другая эта «эпоха»?

И вот они уж ничто — и для меня тоже.

— Куда уходишь — докладывай нарочно «командирским» тоном наставляю старшего внука, Гаврилу.— Непременно скажи, когда вернешься. Где тебя искать, если ты мне вдруг срочно понадобишься.

— Зачем,— недоумевает он чуть ли не с сердцем,— я бы тебе срочно понадобился, дедушка?

Мол, сделать очередное внушение? Еще разок. Лишний!

А тебя лишний раз тянет заглянуть в комнату, где над моделью «Титаника» корпит младший внук:

— Тут, Глебка?.. Ну, занимайся, занимайся.

Ты давно это все прошел, а они еще нескоро поймут, как не понимают до сих пор их родители, мои сыновья, что эти два свившиеся воедино казачьих начала рвут нам душу: вольница без конца и края и постоянно пульсирующее в ней — как они там? И — где?

Краюха и шмат сала

Волосы мои теперь давно побелели, но пока не выпали, держатся еще крепко, а четверть века назад, когда жил в Краснодаре, густели как хлеба на хорошем кубанском поле — только и того, что не колосились... Немудрено поэтому, что у людей скептического ума, у глубоких аналитиков прическа моя вызывала определенные сомнения, в том числе, выходит, и морально-этического плана.

В семьдесят пятом году нас, нескольких делегатов предстоящего съезда писателей России, пригласили для напутственной беседы в крайком партии к главному тогда — по штату — кубанскому идеологу. Усадил он нас за громадный овальный стол, на одном краю которого ненароком лежал как бы случайно оставленный колхозными тружениками пшеничный сноп, довольно приличный по объему, и, вокруг стола за нашими спинами прохаживаясь, взялся объяснять, какую политическую линию, значит, мы должны будем на съезде отстаивать...

Как в церкви, где к батюшке, обходящему молящуюся паству с кадилом, следует непременно обращаться лицом, так и мы тогда в крайкоме тянули шеи и выворачивали головы, если главный идеолог оказывался у нас за спиной. Я тоже изо всех сил старался и все-таки пропустил момент, когда он двумя руками цепко взял меня сзади за виски и разочек-другой слегка поддернул. Словно впоследствии, ежели партийной линии не соблюду, собирался меня скальпировать. В изумлении я только и назвал его громко по имени-отчеству — с интонацией, обозначавшей: эй, в чем дело, мол?!

— Думал, парик! — объяснил хозяин кабинета тем же значительным и слегка возвышенным тоном, которым и до того с нами беседовал. И тут же продолжил.— Так вот, дорогие наши бойцы идеологического фронта! Ваша линия на съезде писателей, само собой, будет совпадать...

Судьба распорядилась так, что через год мне пришлось перебираться в Москву. Зачем и как — это особый разговор, но в те дни у меня возникла острая, прямо-таки ставшая навязчивой идеей потребность: сказать спасибо матери-Кубани за то, что приняла нас, когда вернулись из Сибири, приютила после побега из Адыгеи и обогрела с тремя нашими детишками очень даже — учитывая четырехкомнатную квартиру на Атарбекова — тепло. Но как это деликатно сделать, к кому, и в самом деле, пойти, чтобы меня и по возможности внимательно выслушали и правильно поняли... к кому?!

Медунова я не знал и относился к нему тогда с явным, подогретым рассказами о персональной его войне с амброзией, предубеждением, вообще, казалось, до него — как до Бога... к кому ж мне — на прием?

Не к главному же идеологу, у которого, размышлял я не очень весело, вслед за непреодолимым желанием пощупать гипотетический писательский парик может вдруг пробудиться интерес к каким-либо другим достаточно интимным моим особенностям?

Нет, правда: это теперь пошучиваю, а тогда не находил себе места. Как мне с моей «малой родиной» достойно проститься — ну, как?!

Несмотря на возможные обвинения в кумовстве и семейственности рискну тут благодарным словом упомянуть младшего своего брата, Валерия, буквально потрясшего меня недавно одним своим литературоведческим — а это и близко не его профиль! — открытием.

— Брат! — сказал он мне вдруг на своем шестидесятилетнем юбилее, на который я счел своим непременным родственным долгом, несмотря на сумасшедшую стоимость авиационных билетов, прилететь.— Я недавно вдруг понял, что раньше ты писал так, что это очень бы понравилось нынешним российским властям. А теперь уже который год все продолжаешь говорить такие вещи, за которые тебя расцеловала бы власть прошлая. Это надо уметь: так ловко между властями проскользнуть!

Разве не любопытное наблюдение не только над его старшим братиком — вообще над нашим братом, непокорным кубанцем, эх!

Так вот, выходит, и четверть века назад он уже обладал, мой младшенький, достаточной прозорливостью: «А не пойти ли,— посоветовал,— тебе к Голубю? Знаю его по Кореновке. Увидишь, он — нормальный мужик. Он поймет.»

До сих пор частенько задумываюсь: может, причиной тому, что дальше произошло была ну, не совсем, скажем, привычная для руководителей того ранга, каким тогда являлся Голубь, цель моего визита? Чуть ли не все к большим начальникам приходят чего-нибудь попросить, а тут является неожиданно чудак, который вдруг говорит: за все благодарю. И — до свидания!

Не то что простецки — очень естественно перейдя на ты. Голубь с явным интересом спросил: — Ты еще не бежишь на вокзал? Есть несколько минут? Побудь тогда. Посидим.

Не знаю, попал ли я к нему в ту редкую и благостную минуту, когда у человека душа бывает открыта без опасения, что этой открытостью кто-то может потом воспользоваться... Или потому-то он так откровенно со мною и говорил, что я был уже отрезанный ломоть, я уезжал, а, следовательно, как бы лишался права судить кубанцев и в дальнейшем предъявлять, в том числе и ему претензии: мол, что ж ты? А говорил — все понимаешь!

А, может, он меня наставлял? Тоже — напутствовал. Давал, что называется ориентир, по которому я потом долго, годы и годы, сверял свой творческий путь, в воображении своем путешествуя и по счастливым, несмотря ни на что, тропинкам послевоенного детства, и по вольному целику юности, и по тяжкой, словно крестный путь, вдребезги разбитой, с неожиданными мучительными поворотами дороге зрелого своего возраста...

Часто я об этом думаю, часто: неужели он тогда сознательно поднимал передо мною кубанскую планку — задавал высоту? Определял меру сложности.

Вопросов я не задавал — я только, почти ошарашенный, слушал. Его словно прорвало: говорил об отнимающем силы чрезмерным увлечением рисом — в угоду непомерным обязательствам перед Москвой и малопродуктивности животноводства и овцеводства в богатейших предгорных районах, о стремительном истощении почв и участившихся черных бурях, о вреде убивающей вокруг все живое химии, излишние запасы которой местные

мудрецы хоронят в земле — сами под себя мины закладывают, о подступивших вплотную других печальных вопросах охраны природы и о горькой судьбе малых рек, об исчезновении богатых когда-то косяков рыбы и гибели уникальных пород в Азовском море, о проблемах Черного, но главное, пожалуй,— о грядущих бедах, связанным с созданием запрещенного когда-то Сталиным и затопившего теперь адыгейские аулы и нависшего над краевым центром «рукотворного» Краснодарского...

Говорил он и о «вертикали дураков-ортодоксов сверху донизу», истовое служение которых руководству страны обеспечивает им непотопляемость — вместе с почти пожизненной возможностью беспрепятственно заражать мертвечиною все вокруг, говорил и об умниках, небезвозмездно, само собой, поощряющих грузинских да азербайджанских цеховиков, о ползучей армянской экспансии и подпольных миллионерах, которые стремятся влиять на власть... Обо всем том, что через два десятка лет выплеснулось-таки из кавказского котла — с помощью все подбавлявших огоньку кашеваров мировой закулисы.

«Какая птица и, сидя у кабинети, усе сверху видить?.. Ну, праильна: Голуб!»

Это потом уже, постоянно возвращаясь, словно веревочкой привязанный, на Кубань, наслушался я о нем и дружеских подначек, и безобидных шуток, и уважительных рассказов о бесхитростной простоте и доступности.

Как-то ездил с уже пожилым, с неторопливым и добродушным водителем по фамилии Рыков. Позволил себе как раз насчет фамилии его пошутить, и он вдруг притих, заулыбался, завздыхал и начал рассказывать: «Шеф у меня был. Второй секретарь крайкома партии. Потом предкрайисполкома, по тем-то временам... у-у-у, шишка! А он — ну, не поверите. И тоже вот иногда — насчет фамилии. Были с ним на полях под Новокубанкой — вдруг бежит к машине, да так, что Недилька, секретарь-то райкома, не поспевает за ним. Федор Иваныч! — еще издали кричит.— Федор Иваныч! Как понимаешь, на партийной трибуне с твоей фамилией делать нечего, но штанам твоим большая честь выпала — выйдут сегодня на трибуну, выйдут... а ну, снимай!» Я ничего не понимаю, за пояс схватился, а тут уже и Недилька: «Руки им поотрывать за такое шитье гнилыми нитками!.. Николай Яковлич наклонился с земли комок поднять, размять в пальцах, а они разъехались по шву, это ж надо! Снимай, снимай скорей Федор, на совещание опаздываем: в драных пока побудешь, а Николай Яковлич в твоих перед активом речь скажет!»

Вспомнил я эту историю, когда три или четыре года назад был в гостях у давних своих новокубанских друзей. Ехали в машине с начальником ПМК — передвижной, значит, механизированной колонны — Владимиром Михайловичем Ромичевым и председателем колхоза «Рассвет» Петром Ивановичем Горемыкиным — тут я и решил их потешить. Рассказал эту байку о «штанах Рыкова», которые не мытьем, так катаньем на партийной трибуне появиться сподобились, и председатель рассмеялся: «Я вам тоже

историю — слегка хулиганскую... Но она как раз его — очень верно характеризует, как говорится: никогда зря не накричит, никогда — грубого слова. Так же вот ехали — после града. А он такой в наших местах случается, что выбьет зелень, и не поймешь, чем поле было засеяно. Ну, он молчит, хмурится: все равно председатель виноват. Как ему еще?.. Я опять: ну, поймите, град был — с голубиное яйцо... И поперхнулся: ну, не дуралей, а? А он помолчал-помолчал, а потом на полном серьезе говорит: это, Петр Иваныч, смотря какой голубь!»

Шутим все... Но как нам без доброй шутки?

Ведь голову повесил — уже пропал.

Но у нас впереди — хлопо-от!

Голову вешать просто некогда.

А тогда в неожиданном задушевном разговоре с ним, который длился и длился, тек, благодаря ему, державно и раздольно, словно Кубань в большую воду, у меня возникли эти два друг дружку дополняющих образа: великая моя, богатырская «малая родина» с ее горячей, как соленая кровь, грозной историей да тугим клубком проблем нынешних и все понимающий, бесконечно страдающий от того, что бессилен многое и многое изменить, разумный, рачительный, неравнодушный хозяин.

Недаром же, нет, недаром силком отрывали потом таких, как он, от родной земли, отправляли, словно в почетную ссылку, на малопонятные должности — чтобы дать потом возможность через обезглавленную Кубань тихой сапой прокрасться на своем комбайне со специальным прицепом под консенсус сдавшему потом на родине все, что можно было сдать и нельзя, велеречивому соседу-ставрополю...

Не исключено, что сокровенный разговор с Голубем купил меня, что называется, с потрохами, своею простонародно-щедрой концовкой.

— Поезжай! — сказал он на прощанье.— Счастливого тебе пути. С Богом, пока люди встречаются... знаешь такое кубанское присловье? Но как бы там у тебя не сложилось, знай: краюха теплого хлеба и шмат сала всегда тебя на Кубани ждут!

Эх, кабы!..

Чего только со мной на «малой родине» потом не случалось и что только в родных-то краях обо мне не говорили, что не писали, чего не думали!

И в то, «еще советское» время.

И в наше, ты понимаешь — ну, само собой, понимашь?! — великое и судьбоносное время «демократиче-ских перемен»...

Какой там тебе «шмат сала», если после публикации в журнале «Наш современник» моей повести «Заступница» районная «Сельская жизнь» в

адресованном мне открытом письме попрекнула, что зря-то я ел кубанский хлебушко, зря.

Да, а теперь?

То вызываешь неудовольствие большого чиновника тем, что в Краснодаре, на родной-то своей земельке позволяешь демонстративно не подать руки липовому «батьке с автобазы» Мартынову. То потом ты же оказываешься виноват, что не помог, значит, разоблачить его, такого-сякого, само собой липового — куда раньше.

И черствеет, безнадежно черствеет вдалеке от дома в Москве моя краюха, становится — хоть об дорогу бей... о бесконечную, безостановочную пока, слава тебе, Господи наш, дорогу, которую я когда-то по зову казачьей крови предпочел тихому оседлому жительству между пологих холмов родного отрадненского Предгорья — как я ему, если бы вы знали правду, этому жительству завидую!

И сало, которое когда-то предназначалось мне, так теперь зажелтело, что и на заправку степного супа со старой картошкой и с черствыми сухарями пойдет навряд ли.

Удивительно, но кое-кому, а то и слишком, слишком уж многим и невдомек, что в далеких краях, как спокон века водилось, родину свою ты защищаешь еще на подступах.

С кем-нибудь из надежных соратников. Из дружков закадычных. Из землячков.

Но чаще всего, как и должно в таких случаях быть,— в одиночку.

Только громко сказать, когда надо: казак я! Кубанец.

Кубанец.

Хоперцы мы.

С третьей линии!

И — не уронить себя. Как бы ни было тяжело, не дать согнуться плечам.

Разве это — уже не защита родного своего края и родного порога, с которого в хорошую погоду видать розовую верхушку Эльбруса — черкесской горы Ошхомахо, на которую глядят по утрам и верные мои кунаки, и общие у меня с ними, там и тут неустанно ковыряющие старые наши раны двуликие недруги...

Да я на родине, на Кубани взял бы таких нас наперечет и нет-нет, да и спрашивал бы письмом, телеграммой или позванивал: мол, как ты там, земеля? Не сдался? Держись!

Нам отступать никак нельзя. И — нигде. Где бы ни жил. Как бы далеко от родных мест не заехал. Нам — нельзя.

Мы — порубежники. И остаемся ими всегда и везде.

И разве и хлеб, и сало мне и впрямь для того, чтобы брюхо набить?

Да нет!

Для того сказано и было, чтобы далеко на чужбине в голодные и холодные дни согревал себе душу воспоминанием о теплой своей, о зеленой родине.

То же и с землячеством в Москве. То же самое! Не для того оно, чтобы напоить-накормить, хотя и этим ему теперь приходится при нашей-то всеобщей нищете заниматься. Главное — чтобы не опустела душа казачья в столичной суете. Чтобы всегда готова была услышать призывный клик трубы, зовущий на помощь родине.

А, может он, как всякий большой политик — всего-то навсего опытный хитрован?

Сумел ведь меня, вроде неприручаемого, приголубить!

На всю жизнь.

Кто-то однажды ехидно спросил: а книжка, мол, твоя — «Голубиная связь». Не о нем ли? Не о кубанском землячестве в Москве? Нынче тоже, что там ни говори, Голубь — как бы прямой твой начальник. Глава землячества!

Не о нем книжка.

О нас обо всех.

Для того и написана, чтобы чаще вспоминали о синем небе над головой.

И о птицах, летящих в чужие края и непременно возвращающихся на родину.

Дай Бог им сил!

И нам всем.

Запомните?

Перепишите себе, как некогда в детстве — в альбом:

«При объединении людей духом своим происходит такое же явление, как в стае птиц, когда птица стаи становится выносливей на несколько порядков, в три раза выше ее реакция. У стаи птиц появляется также сверхволя, сверхсознание, сверхзащита, благодаря которым они преодолевают многие тысячи километров. Они становятся неуязвимыми для хищников, даже могут спать внутри стаи и высыпаться гораздо быстрее.»

Перепишите!

Нынче для нас для всех это важно, как, может быть, на Руси еще никогда.

Голубой петух плимутрок

После первого моего, самого благостного гостеванья в Ижевске у Калашникова, в Москву собрались мы с ним ехать вместе, и наши проводы взяли на себя казаки.

Кубанец Лева Смельчуков, профессиональный военный, тогда — майор, совершенно покоривший Михаила Тимофеевича, когда за недельку до нашего отъезда появился дома у него дома в прекрасно сшитой темносиней черкеске и в высокой черной папахе, снова был, как говорится, при полном параде.

Узкий клин праздничного бешмета белого шелка с высоким, в обтяжку, стоячим воротом как нельзя лучше гармонировал с серебром газырей и старинного кинжала на неброском наборном поясе — и без того подтянутой фигуре Левы он придавал как будто дополнительную изящную устремленность. Если даже мне, наделенному лишь слабыми горскими чертами, черкесы говаривали иногда — мол, наши у ваших ночевали, ым? — то насчет Левы не надо к бабкам ходить, не надо гадать: что было, то было. Ночевали.

И дело не только в том, что в глубоких его проницательных глазах светилась счастливая азиатская диковатость, тихое этакое, но готовое в любую минуту прорваться абречество — весь он был как истинный джигит похож на легко воткнутый в землю кончиком лезвия кавказский кинжал.

Совсем другое дело — лобастый и плотный Михаил Дегтярев, другой кубанский земляк. Дома у него на стене висит златоустовской работы шашка в богатых ножнах и дорогой кинжал. От его жены, от Людмилы я уже слышал эту историю: если по какой-то причине ему задержат отпуск, к которому перед этим он год готовится и который каждый раз проводит на родине, Михаил начинает не есть — не спать, прибаливает сперва потихоньку, а потом все тяжелей — до тех самых пор, когда возьмет, наконец, билеты на самолет до Краснодара: для всей семьи.

Пока до отпуска было еще три месяца, все шло по графику, и у Дегтярева был вид счастливого бизнесмена, которому только что крупно повезло... а нет, что ли?!

С уважительной, дружелюбной готовностью он придерживал открытую заднюю дверцу своей новенькой, как игрушечка в магазине, «вольво», в которую усаживался знаменитый на весь мир оружейный конструктор Калашников.

По дороге на вокзал остановились у «Гастронома», и Михаил вернулся с двумя большими, битком набитыми пакетами из плотной бумаги — бережно, как малых детей под попку да за спинку обеими руками прижимал их к груди. Когда вошли в купе, один отставил в сторонку — в дорогу, мол, нашим путешественникам — а второй тут же распатронил, начал извлекать щедрые дары... чего там, и действительно, не было!

Проводница средних лет, встретившая Калашникова с неподдельным радушием, не переставала следить за ним профессиональным внимательным взглядом: рюмки появились на нашем столике раньше, чем мы успели о них побеспокоиться.

Обосновавшаяся в купе прежде нас молодая пара деликатно выскользнула, оба прилипли было к окошку в проходе, но Калашников попросил их вернуться, остальные принялись горячо на этом настаивать, и к нам в конце концов подсел муж: высокий мосластый блондин с короткой стрижкой.

Михаил тут же откупорил лучшую, которая бывала в Ижевске, водку, «Глазовскую» — из города Глазова неподалеку — быстро разлил, сказал короткий напутственный тост и с чуть наклоненной бутылкой в руке ждал тут же налить снова: по-казачьи, разумеется — «чтобы между первым и вторым тостом пуля пролететь не успела.»

Все это время Михаил Тимофеевич с очевидным удовольствием поддерживал эту общую нашу игру в казаков-разбойников, атмосфера держалась самая непринужденная, и только у нашего попутчика, у блондина, был такой вид, как будто единым махом опрокинутое содержимое рюмки он оставил во рту и не знает, что делать дальше.

Пришлось исполнить ставшую привычной для меня за три недели жизни в Ижевске приятную миссию, которую я брал на себя где-либо на рынке, когда, между трудами прогуливаясь, мы запасались овощами, и на Калашникова глядели во все глаза, или в другом многолюдно месте: к явному, как всегда, удовольствию Конструктора на полушутке подтвердить любопытствующим, что да, мол, это он, он, тот самый Калашников, да, но ничего-ничего, сегодня его бояться не надо — знаменитый свой автомат на этот раз он оставил дома.

Новый знакомец наш, наконец, трудно сглотнул:

— А я гляжу-гляжу... Ребятам расскажи — не поверят! В Чечне они. А у меня как раз отпуск. Заехал за женой, она здешняя, а теперь вместе к моим, в Белоруссию... я оттуда, я — белорус. Старший лейтенант. Из спецназа.

Вскочил, попытался прищелкнуть каблуками цивильных мокасин, сел все еще в явном смущении.

Калашников посерьезнел, выдерживая паузу, сочувственно покачал головой, потом, как о деле привычом, спросил:

— Как там... мое оружие?

Соседа нашего, наконец, прорвало:

— Да я вот и хотел! Спасибо сказать... От всех ребят. От всех наших! Они, когда узнают... о-о! Случай был один. Совсем недавно. У одного из моих осколком ударило в автомат, ну — патрон и заело. Гляжу — никак не может дослать. А на него «духи» бегут, уже совсем рядом... увидали, поняли, в чем дело — само собой хотели живьем. А он, гляжу, ствол автомата в землю и — по затвору каблуком. Что творит, в голове проносится,— ведь забьет ствол!

А он вогнал, наконец, патрон — как полоснет! Первых положил, а тут свои, что я к нему послал... нет, вы представляете?! В землю! И — хоть бы что!

— Представляем,— с нарочитой скромностью согласился Калашников.

Я с понимающим вздохом развел руками: а как, мол, иначе? Для того и таскали на тросике опытный образец за «уазиком», а то и за гусеничным вездеходом: по щебню, по песку, по речному дну в воде, по прибрежному илу... Для того и сбрасывали его испытатели с высоты на бетон, с помощью направленного взрыва железом и кирпичом заваливали — чтобы не подвел потом автомат солдатика в решающий миг! Вот оно — так и случилось!

— Я уже думал нашего казака просить,— повел Миша головой на красавца Смельчукова.— Чтобы сопроводил Михаила Тимофеича до самой Москвы...

— В качестве конвоя, да,— улыбаясь, отозвался Калашников.

— Почетного конвоя! — уточнил Дегтярев.

Лева горячо сверкнул своими абреческими глазами:

— Конвой его... всероссийского высочества... главного конструктора стрелкового оружия... да, а что? И поехал — даже не стал бы отпрашиваться!

— Но теперь мы спокойны,— продолжал Дегтярев.— Если с вами, Михаил Тимофеевич, спецназ — даже казаки теперь могут не волноваться!

Старший лейтенант подался вперед — словно ударил грудью кого-то невидимого:

— Да я... братцы! Да я, если что...И правда, не волнуйтесь!

— Сябры! — одобрил Калашников.— По-белорусски — значит, соседи. Но это точно — как братья, и глянул на меня.— Друг был у меня белорус... во время депутатства в Верховном Совете, еще во времена Советского Союза, да. Самый близкий друг... помните, я рассказывал?

— Придется еще одну? — с нарочитой озабоченно-стью спросил Дегтярев.— За спецназ? Или — за белорусов?

— В одном лице! — обрадовался Калашников, показывая глазами на старлея.— В одном лице.

Неожиданные такие встречи его как будто подпитывали, вызывали и душевный подъем и ответное доброжелательство: Михаил Тимофеевич так и светился. Иной за долгие годы, а то и в продолжение всего своего беспросветного существования не услышит столько слов восхищения, сколько ему, случается, за одну минуту наговорят: для него это давно стало не только привычкой, но как бы образом жизни — с годами наверняка вошло в плоть и кровь, как входят другие самые главные необходимые для крепкого здоровья и хорошего тонуса составляющие.

Калашников сделал свой автомат. Автомат сделал Калашникова таким, каков есть.

У нашего стриженного под ежик, очень симпатичного и, что там ни говори, очень молоденького старлея слезы выступили: и разве его понять нельзя? Ну, не везуха ли? Не самая ли большая награда за все, чего в Чечне хлебнуть довелось? Такое знакомство!

Седенький, совсем небольшого росточка дедок с лучистыми глазами, мягкой улыбкой и таким сердечным, слегка окрашенным иронией к самому себе добрым, чуть прерывающимся голоском... а, если вдуматься?!

При почетном конвое у такого состоять — всякому честь!

К тому времени, когда поезд, наконец, тронулся, неиспорченный — хоть успел уже пройти через ад — наш старлей, и в самом деле, вошел в роль со всею возможной в его положении отвественностью.

— Как это?! — спросил вдруг, словно обнаружив слабое место в охране вверенной ему вовсе не казаками — самой судьбой знаменитости.— У вас, Михаил Тимофе-евич, тринадцатое место?.. Ну, нет! Я перехожу на него со своего пятнадцатого... мы переходим, а вы — на наше пятнадцатое!

Сказал примерно таким тоном, каким говорят: вызываю, мол, огонь на себя!

Разумеется, «спецназ» не мог знать того, что очень давно уже хорошо знали не только в железнодорожных кассах почти тупичкового Ижевска, но также расположенного в шестидесяти километрах южнее, стоящего на транссибирской магистрали Агрыза, где Конструктор, бывает, подсаживается в проходящий поезд: Калашникову необходим билет на тринадцатое место — непременно лишь на него!

Число это знаменитый оружейник для себя считает счастливым, ну, и — как всякий кузнец своего счастья с печальным опытом — маленькую синичку эту в своей руке держит крепко.

— Что вы, что вы! — чуть не с испугом бросился теперь защищать свое маленькое — хотя б на пути до столицы счастье.— Меня мое место вполне устраивает, спасибо!

— Все в порядке,— подтвердил я старлею.— Не волнуйтесь.

До этого я все больше помалкивал, давая выговориться своим товарищам-казачкам, и теперь старлей, озабоченный возложенной на него нешуточной миссией, решил, видимо, и со мной разобраться:

— А вы... вы, извините, кто?

— Писатель,— сказал я скучным тоном.— Писатель.

— Известный? — наставил на меня палец старлей.

Ну, что тут скажешь на этот счет: рядом со всемирной-то знаменитостью?

— Что написали? — решил мне помочь старлей.

— Раньше мне было легче на этот вопрос ответить,— сказал я на полушутке.— Где-нибудь в гостях спросят взрослые, а я наклонюсь к малышу либо у школяра спрашиваю: цветной фильм по телевизору видел — «Красный петух плимутрок»?.. Как петуха под балалайку учат плясать — живого на сковородке поджаривают?

— О, так про это и я кино видал! — обрадовался наш попутчик. И посмотрел на жену.— Да вот и вместе, ну, помнишь? Его тогда, по-моему, часто...

— Во время летних каникул — уж обязательно,— поддержал я.— Да и на зимних, как правило...

По числу «показов» — был у телевизионщиков такой термин в ту пору — «Петух» мой чуть ли не до первого места доплясал — это мне Борис Каплан говорил, заведующий кинoредакцией.

— Хорошее кино,— продолжал радоваться старлей.— И цветной, да, и играют... там еще знаменитый какой-то артист: думашь, пацаненку говорит, он от радости пляшет... Радость и печаль — они... как он там?

— Рядом,— сказал я.— Вместе всегда.

Старлей вдруг нахмурился:

— А почему его сейчас показывать перестали?

Об этом он меня не первый спросил — я только привычно развел руками:

— Вопрос, как понимаете, не ко мне.

Собеседник мой еще больше посерьезнел, смолк, и вид у него сделался примерно такой: размышляю, мол, погодите-ка — не мешайте!

— Во-от! — сказал через минутку-другую, и лицо его прямо-таки засветилось тихой радостью.— Во-о-от!.. Вам надо название к нему поменять.

— Думаете, поможет? — спросил я.

Он убежденно ответил:

— Конечно: такое кино! Назовите его теперь «Голубой петух» — пойдет снова, еще как пойдет!

Я бросился обнимать смеющегося старлея. Жал руку, пытался дружески потрясти пятерней неколебимое как гранитный утес, плечо: не молодец ли, и правда? Ай да спецназ!

На лице у Калашникова сперва появилось нарочитое недоумение — мол, не пойму, в чем тут смысл? — и тут же он вдруг тоже расхохотался.

У этой байки с «Красным петухом» есть свое продолжение — также, как есть между прочим, и предистория — но это, пожалуй, уже для другого «газыря».

Предистория «Красного петуха»

Было это давно, году, считай, в семьдесят шестом. Рассказывал мне ее только что вернувшийся из Польши тогда еще начинающий режиссер Киевской студии Михаил Беликов, получивйй на Международном фестивале детских и юношеских фильмов в Варшаве первую свою премию: «Ты с Хмеликом знаком? Нет?.. Может, кино его видел, может, читал книжки — он очень прилично пишет — но такую фамилию, во всяком случае, наверняка слышал... А мы с ним в Варшаве подружились. Скажу тебе, крепко... Пили, конечно. До того, веришь, пили, что уже пора прощаться, сидим с ним на коробках с моим фильмом уже в аэропорту Внуково, поднимаем по последней... Поднимаем, а он мне и говорит: да, Миша, вы очень талантливый человек, я это сразу понял, когда увидал вашу картину,— недаром я за нее потом двумя руками голосовал, поверьте,— двумя руками! Вы молодец. Большой.Но чтобы окончательно в кинематографе утвердиться, вам, знаете, что надо? Вам надо снять фильм по одному великолепному, как раз в вашем духе, рассказу... автора я не помню, но несколько лет назад он был в «Новом мире» напечатан. Знаете, как он называется?.. Это название и для фильма пойдет, оно тоже в вашем духе, поверьте: «Красный петух плимутрок», так этот рассказ называется

Я чуть со своей коробки не упал: а на чем мы с вами сидим, спрашиваю?.. За что пьем?!»

«На золотом крыльце сидели...»
или — послесловие

Хмелик ли тогда, и действительно, напророчил, или так на роду ему было написано: нынче Михаил Александрович Беликов — один из ведущих кинематографистов Украины, один из самых известных режиссеров, давно и заслуженный, и Народный, а по занимаемой должности,по общественному положению — вообще самый-самый. Председатель Союза кинематографистов Украины.

Неожиданно позвонил мне из Киева годок назад, в 2000-м, значит, и говорит: наконец-то, мол, наши нынешние вожди поделили общее духовное наследие Советского Союза и даже документ соответсвующий, наконец-то, мол, подписали. «Красный петух» само собой нам достался. Привезли его, стали показывать в Доме кино, люди с аплодисментами встали, а речи стали после просмотра говорить — все чуть ли не об одном: как же это могли москали такое богатство столько лет прятать? Наверно, нарочно скрывали, думали, что мы его тут же отберем!

— Во-от! — поддакивал я, тоже москаль, старому своему другу.— Хоть у вас оценили, видишь,— ну, наконец-то!

— Да что ты, что ты! — щедро делился своею радостью Миша.— Видел бы ты, что в Доме кино творилось!

Я вдруг спохватился:

— Погоди-ка, Мишаня! А как будет с моим «Братом»? Фильм «Брат, найди брата» небось тоже ваш теперь?

— Наш! — сказал Беликов уверенно.— По документам, что они подписали,— наш! Все, что снимала студия Довженко, все теперь наше.

— Приехали! — вздохнул я.— Кино о родной моей, о кубанской станице... которое и снимали не где-нибудь — в нашей Отрадной, оно теперь — духовное наследие Украины! А сколько там снималось наших казаков, наших старушек, ребятни отрадненской... Как с авторами — наконец? Повесть моя, сценарий, считай, Толи Галиева — он тоже кубанец, из Туапсе...

— Мы вас будем иногда приглашать,— сказал Миша с нарочитой серьезностью, но тоже явно посмеиваясь.— Скажу Сергейчиковой, что вы просились с Галиевым...

— Так и скажи, да-да. Этими словами!

Не дожили?

Потомок запорожцев — по материнской линии Лизогуб, по отцу — черниговский, я, толком не разберешь кто — то ли кубанец, а то ли все-таки, сибиряк, буду ждать теперь приглашения на свою «историческую родину».

Из за границы. Из страны, где все теперь до тютельки ясно?

С общим нашим, некогда великим и — это точно уж-неделимым духовным наследием.

Как называлась повесть, написанная в конце семидесятых годов: «БРАТ, НАЙДИ БРАТА!»

Неужели так-таки не найдем?!

Полынная слава

Не мы распоряжаемся своим творчеством — оно нами...

То-есть, речь, в конце-то концов, идет о Творце?

Казалось, куда Ему, в наше трудное и быстротечное время выше головы занятому, присматривать за каждым из нас в отдельности, но вот поди ты!

Сколько уже собирался поразмышлять об одном факте из книги Володи Гнеушева «Полынная слава», но вот вдруг только нынче готовность почувствовал, и почему, почему?

Как с атомной бомбой: все как будто не было второй составляющей, которая и должна была вызвать взрыв, и вот она нашлась, вот — готово!

Целый день вчера промучился в размышлениях примерно на ту же тему, о которой нынче пишу — о воинской доблести, о чести и бесчестии, а нынче утром, уже за обеденным столом, дожидаясь завтрака, продолжил чтение сборничка «Русская лирика XIX века» — открыл книжечку на известном — но полузабытом, как многое — стихе Дениса Давыдова, посвященном своему соратнику и так и названному его фамилией: «Бурцеву.» И прочитал эти строки:

Пусть не сабельным ударом
Пресечется жизнь моя!
Пусть я буду генералом,
Каких много видел я!

Пусть среди кровавых боев
Буду бледен, боязлив,
А в собрании героев
Остр, отважен, говорлив!

Прочитал это, и тут вспомнилось это, из «Полынной славы» моего друга: «Белый эмигрант, журналист, видимо работавший на нашу разведку, за что и был выслан из Франции в 1947 году, Лев Любимов рассказывал мне в шестидесятых годах о своих встречах в Париже со многими эмигрантами, в том числе и с приближенными к Деникину. В его рассказах чувствовалось искреннее уважение к Антону Ивановичу. Он рассказал, например,как Гитлер в начале войны пытался привлечь на свою сторону Деникина, не без основания полагая, что за этим честным русским генералом могли бы пойти немалые силы эмигрантов.

Гитлер послал к Деникину во Францию фельдмаршала фон Рундштедта, командующего группой армий «А». Тот прибыл в маленький городок под Парижем, представился, но Деникин принял его холодно (вначале вообще не хотел встречаться, но уговорил адъютант, полковник Агоев) и руки не подал. Выслушав фельдмаршала, сказал:

— Я никогда не воевал против России. Я воевал против большевиков. Но теперь, когда власть большевиков в России утвердилась и народ моей

Родины, собственно, другой власти себе, очевидно, не представляет, воевать против России я не пойду.

Повернулся и, все так же, не подав руки, ушел.

Гитлер был в ярости и не забыл этой пощечины. В 1944 году, когда в концлагере Маутхаузен ледяной ночью был выведен на мороз пленный генерал Карбышев, с которым Деникин был товарищем по Пажескому корпусу, и Карбышева обливали водой до тех пор, пока он не превратился в ледяную статую, был выведен на этот мороз и на этот бетонный ночной плац Антон Деникин. Его вывели в окружении высших чинов СС наблюдать казнь товарища. Чего хотели достичь этим Гитлер, гестапо, СС?

Когда Карбышев превратился в ледяную статую, Деникин, поправляя хорьковую шубу, в которой его привели, и ни на кого не глядя, сказал:

— Вот прекрасная смерть русского офицера.

Вот, собственно, и все.

Кое-что из истории русского офицерства и о нравственном облике нынешнего...

Саша Бир, один из «великолепной семерки», как они сами называли себя, шахтериков, сделавших свою черную революцию — это он Ельцина у Белого дома на танк подсаживал — рассказывал, как велись перед этим переговоры по рации с офицерами только что подошедших машин: «Кто командует группой?» — Ельцин спрашивает. «Полковник Сидоров»,— отвечает старший. «Приказываю вам, генерал Сидоров...» «Я полковник!» — поправляет сидящий в танке.. «Теперь вы уже генерал...»

И новоиспеченный высокий чин отвечает ревностно: «Слушаюсь!»

Зимняя сказка — 97: «Царь Черный»

В декабрьскую предновогоднюю пору, когда Подмо-сковье заметают белые снега и начинают поскрипывать нешуточные морозы, вместе с неожиданно вырвавшимся вздохом приходит вдруг воспоминание об иных краях — дорогих сердцу сибирских... Что, и в самом деле, в это глухое, с самыми короткими деньками время, может быть, красивее далекой отсюда кузнецкой тайги, раскинувшейся на синих сопках пологих отрогов Алтайских гор?

Как это ни покажется странным, вместе с памятью о тихой их красоте является сладко щемящее душу почти забытое ощущение сокровенного тепла и уюта. Казалось бы, откуда оно в тех сумеречных от стужи местах, где три

висящие возле заиндевелой двери в избу и непременно по-разному в одно и то же время показывающие температуру на дворе градусника, на каждом — своя, перед Николой-зимним дружно опускают ртуть ниже отметки «40», и треск льда на горной речке Средняя Терсь становится похож на хлесткие винтовочные выстрелы... но вот поди ты!

Может быть, всякий раз сердце твое счастливо томилось оттого, что благополучно закончился трудный, что там ни говори, денек, что вон уже они — манящие огни в окнах, рукой подать, даже если что-то случится теперь — жилье рядом, но ничего пока, слава Богу, не случилось, не подвело ни снаряжение, ни лыжи, никто не провалился под лед, не повредился, а то, что по хрусткому, по хробосткому снегу лоси опять не подпустили на выстрел, ушли, что догнать их так и не удалось — это уже другое дело.

Снег под загнутыми носами твоих «кисов», подбитых шкурой с лосиных ног широких лыж, дымно взрывается неожиданным хлопком, слышится тугое и частое биение крыльев, но, поднимая стволы вслед стремительно улетающим в сизую темь рябчикам, ты не снимаешь ружье с предохранителя — пусть себе на здоровье улепетывают, пусть!..

Из разворошенной снежной «спаночки» с рубчатыми отпечатками крылышек по бокам, кажется, еще доносит едва ощутимым теплом: успели согреться в пушистой глубине, подремывали там, и уже небось слетали к ним с верхушек елей первые птичьи сны... ничего!

Много в такой-то мороз не пролетят, каждый снова сейчас упадет на снег, ткнется в глубину, маленько просеменит и замрет в своей вновь обретенной спальне... Больше их, и точно, никто уже нынче не потревожит, никто не прервет и без того короткого срока пребывания на милой, хоть не всегда ласковой земле... Живите, птахи, живите: сколько ягод рябины в засыпанной снегом зимней тайге вокруг сельца с тихим названием Монашка, сколько еще калины и черемухи!

...Это было уже в другом месте, на Узунцах, возле крошечной речушки Абашевки, над которой на крутом взлобке и сейчас держит пасеку Анатолий Филиппович Коробов со своей неразлучной Таисьей Михайловной.

Из-за крепкого мороза мы в тот день на охоту не пошли, только и того, что на всякий случай, когда ездили в ближний ложок за сенцом, прихватили ружьишко. Когда вернулись, Михайловна рассказала, что в наше отсутствие проезжал на кошеве сосед, пасечник Гриша — пришлось медовушкой угостить: как отказать — в такой-то холод?

А еще через часок-полтора на коробовскую заимку вернулась и терпеливо стала под окнами лошадка Гриши: притащила пустые сани.

— Видать, Тася, ты его шибко хорошо угостила! — на полушутке упрекнул супругу мой друг. Она охотно отозвалась:

— А то, Анатоль Филипыч, не знаешь, что у его-то не поймешь, сколь он выпьет! — И обернулась ко мне.— Кержак он, а посуду свою не возит. Я, говорит, Михайловна, если ты не против, прямо через край из лагушка отопью... никто тут до меня не осквернил его, губами не трогал?

— Посчитала ба, сколь минут он не отрывался, а потом с тобой хоть прикинули! — выговаривал ей Филиппович.— А то вот теперь где-то обочь дороги в сугробе лежит — придется нам с Леонтьичем ехать!

— Один съездишь, зачем тебе Леонтивич? — пожалела меня Таисья Михайловна.

— Да ты что?! — нарочно удивился мой друг.— А посмотреть на Григория? Рази он такую картину в Москве увидит?

И правда: сколько лет прошло, а забыть не могу.

Сперва Филиппович запряг в сани своего меринка Мухортку, а когда стал привязывать к задку чембурок от уздечки гришиного коня, я спросил: а зачем, мол, нам две лошадки? Съездили бы на какой-то одной. А когда Гриша отоспится...

«Да ты, чай, забыл его,— горячо возразил мне Филиппович.— Наверняка забыл: он упрямы-ы-ый. Растолкай — и тут же дальше поедет...»

А холодюка был!

Тот самый колотун, который непременно случается в этих краях разок-другой в год: как припомнишь!

Когда в пятьдесят восьмом году в такие примерно холода «разморозили» отопление в нашем тогда еще совсем крошечном поселке, Абрам Михайлович Нухман, с которым, дай Бог ему здоровья, совсем недавно мы радостно обнялись на празднике сорокалетия «первого колышка» бывшей своей «ударной комсомольской», придумал такую штуку: партизанский костер.

Раскладывали его после смены, уже в сутеми, на самом людном в поселке пятачке-перекрестке, один на всех. Рядом высилась гора напиленных, толщиной в обхват, чурбаков. Хочешь — подходи, и сколько душеньке твоей будет угодно, раскалывай себе на здоровье и бросай в костер, хочешь — стой и просто глазей, как выстреливают из него ошметки огня и с гулом взвивается мощное пламя, как отрываются от него вверху искры и летят еще выше — чуть ли, казалось тогда, не к звездам...

У «партизанского костра» пели и плясали, бились друг с дружкой плечом, стоя на одной ноге в рваном валенке, качали и подкидывали один другого на спине, принимались толкаться, падали, валяли дурака одним словом, а потом расходились: кто — по палаткам, в которых было куда теплей, чем в первых домах, а кто, совсем недавно гордившийся, что ему повезло,— по выстывшим комнатам с выступившим по углам куржаком. Одни сперва пробовали и ватные штаны, и телогрейку положить поверх одеяла, другие

сразу ложились, не раздеваясь. Это так и называлось тогда: здоровый сон на свежем воздухе... и ничего! Какой завод потом отгрохали: и в доменном цехе тебе — Африка, и в конвертерном — она самая, да нигде, в общем-то не зябли: намерзся перед этим, родной, зато теперь — грейся!

Никогда не забуду, как четыре денька, пока ртутный столбик упрямо держался на сорока семи ниже нуля, мне пришлось куковать в Кемерово: дожидаться рейса на Москву. Как будто специально прижавшиеся к зданию аэровокзала, похожие сверху на снулых тайменей под тонким льдом «ИЛы» и пустое взлетное поле с двумя-тремя пульсирующими в морозной роздыми разноцветными огоньками — все это имело вид как будто космический, и ни буфетная стойка, ни заполночное застолье у друга никак не могли согреть эту бездонную пустоту, так что в конце концов мне пришлось бросить ей вызов, что называется... Поднявшись на багажную тележку в давно заскучавшем холле аэровокзала, вознес над головой зажженную путевку из толстой лощеной бумаги, на которой значилось: «ТАИЛАНД — АВСТРАЛИЯ — ИНДИЯ».

Видите, мол, как ярко горит?

Так вот, не пошли бы вы все со своею Австралией?!

Не слишком ли, однако, я задержался над уже пожелтевшими страничками из своего кагэбэшного досье: так ведь можно нынешнюю ФСБ, и в самом деле, без работы оставить!

Еще немножко терпения, так привычного для вас, родные мои, особенно в последнее время,— еще чуть-чуть.

Почти в такие же морозы, когда давно уже поселился в Москве, я приехал в Новокузнецк поездом, и, пока друзья-приятели определяли меня в одну хитрую гостиничку, я вдруг начал ощущать какое-то странное неудобство, которое мне стали доставлять купленные накануне дорогие меховые сапожки, если это название приложимо и к размеру «сорок четыре». В гостиничке первым делом сел на диван, один за другим стащил их: толстенные подошвы на обоих лопнули поперек!.. И долго я держал сапожки в руках, не зная, плакать ли мне или смеяться. Жаль, конечно, таких-то денег, еще бы, да ведь не рублем живет русский человек. И я насмешливо, чуть не со злорадством твердил про себя: вот, австрияки,— вот вам! Чуть поприжал морозец, и вся ваша изящная работа — нашему псу под хвост. Это вам, братишки-европейцы, не что-нибудь, это — Сибирь! Ферштеен?!

В этих краях солнце в ту пору часто бывает похоже на идеально сработанную в здешних кузнечных цехах, еще не потерявшую малинового цвета поковку, неизвестно каким образом над белою бескрайней тайгой прикрепленную. Ну, да ведь недаром же идет тут слава не только о металлургах, но и об этих голову «оторви да брось», о монтажниках: красиво сделано, крепко, но, как многое у нас, неизвестно зачем — проку-то от него, проку!.. Или это искусственное солнце специально предназначено прибавлять в тайге холода?

Сковал все вокруг, заворожил, лишил не только что голоса своего — лишил дыхания.

Тишина как будто нанялась сторожить всякий случайный звук, и как только неизвестно откуда и неизвестно зачем он появится, она его тут же, чтобы хорошенько различить, многократно усиливает.

Что касается скрипа полозьев, тут была возможность сделать его не только громче, но и от лишних шумов очистить: этим тишина воспользовалась на все сто. Из-под наших с Филиппычем саней несся не просто скрип, а настоящая мелодия. Если не скрипичная, то скрипучая — это точно...

И вдруг она смолкла.

Я отнял варежку от носа да ото рта: «Что такое, Филипыч?»

Друг мой неторопливо идет назад и под ногами у совсем закуржавевшей, с белыми и толстыми, как спички, ресницами Гришиной лошадки нагибается, что-то подбирает и, вернувшись, бросает на сенцо мне под бок тяжелую рукавицу:

— Верхонка Гришина!

— Потерял? — сочувствую.

— Сбросил, видать,— рассуждает пасечник.— А она выпала... жарко мужику!

Хотел было уточнить, почему друг мой так думает, но холод тут же комком затыкает рот, распирает его, как «заморозка» у зубного. И я только отмахнулся от Филиппыча: ясно, мол, старый шутник — ты все в своем репертуаре!

А он опять лошадку попридержал, опять сбегал:

— Однако, вторая!

Возле меня лежали рядком две лопатищи толстого серого сукна, из которых выбивалась баранья шерсть других рукавиц, вставленных внутрь верхонок.

— Песни, должно, кричал! — сделал предположение пасечник.

Я одними глазами спросил: почем знаешь, мол?

— Руками сильно размахивал!

Но на этом не кончилось: вскоре мой друг поднял на дороге шарф домашней вязки:

— Или он не один? — спросил сам себя.— Дак Тася сказала ба...

Я все-таки не вытерпел, отнял руку от рта:

— Почему это — не один?

— Дак, а шарф?

— Ну, не два ведь? Его шарф и есть.

— Дак у Гришки его сроду не было! — уверенно сказал Филиппович.— Зачем он в тайге?

— Может, у него и шапки не было? — спросил я через несколько минут, когда мы подобрали на дороге громадный, как воронье гнездо, старый треух из рыси.

С преувеличенной уверенностью Филиппович ответил: — Его!

— Чего ж мы тянемся? — укорил я своего друга.— Пропадет раздетый!

— Кто?! — удивился Филиппыч.— Гришка-то? Он только в силу входит!

— Это в каком смысле?

— А вот увидишь!

Опять натужно и медленно визжали полозья, опять мы еле плелись. Видимых причин для этого не было, и я снова взялся обвинять своего друга в бессердечии: мол, что творишь? Приедем, а вместо Гришки твоего там — сосулька!

Филиппович загадочно улыбался: как будто мне готовил сюрприз.

Шедшая за нами Гришина лошадка мотнула, наконец, своей засахаренной головой, уперлась ногами, и друг мой натянул вожжи, сбил шапку на одно ухо и приподнял руку в черной — явно из горячего цеха — верхонке: мол,тихо!

Теперь я услышал: где-то рядом запускали движок, он было заводился, но тут же захлебывался и смолкал: ясное дело — холодюка!

Звуки повторились опять. Филиппович, чем-то явно довольный, так и сиял:

— Эк его, эк — однако!

Я оглядел обметанный куржаком придорожный тальник, заваленный снегом кустарник по обе стороны, за которым начиналась и там и там занесенная белым черная тайга с горушками одиноких кедерок — нет! Ничего вроде не видать: ни дымка, ни постройки.

— Еще послушаем? — деловито спросил Филлипыч.— Или пойдем?

— Нам с тобой ехать надо! — упрекнул я своего друга.

— Дак, а уже приехали!

И тут на сплошь белом я увидал коричневатый, темнозеленый провал, будто бы какую дыру: ветки здесь были без снега, запотелые тальниковые прутья крупным серебром отсвечивали на каленом солнце. Вслед за Филиппычем подошел к обочине.

Гриша на спине лежал под кустом, широко разбросав ноги в валенках и тяжелые руки с могучими красными пятернями. Полушубок его был распахнут, рубаха почти до пупа расстегнута, и над волосатой грудью с

зашмыганным деревянным крестиком на засаленном шнурке возносился легонький — это хорошо было видать — как детское дыханье парок.

Густая русая Гришина борода была задрана, голова запрокинута, и по оплавленным вокруг головы краям снега я понял, почему: под нею протаяло глубже, чем под прикрытым одежкою телом... а, может, причина заключалась еще и в механическом, как говорится, воздействии?

Судя по тому, как двигалась Гришина бородища, затылок тоже не оставался без работы... как Гриша всхрапывал!

Сперва словно затягивал с жадностью в себя все, какие только в силах были пробиться через мороз, таежные запахи, потом вдруг делал последний мощный хлебок и ненадолго затихал, оценивая забранное и смешивая его с теплым своим, подогретым медовушкою нутряным духом. После начинался обратный процесс: Гриша выдыхал с таким сильным на крепком морозе шорохом и с таким неожиданно резавшим в конце тишину присвистом, что его, и правда, не хотелось перебивать.

Ощущение было такое, что кержак вел затянувшийся на века поединок с холодом и явно пока одерживал победу.

— Вот что такое пчела, Левонтивич! — восхищенно говорил мой старый, бесконечно преданный своему делу друг.— Вот что значит медок и что значит пасешник: гляди на его!

Сверху, с куста на Гришу капало: на бороду, на грудь, на рубаху. Филиппыч с сожаленьем вздохнул:

— Й-ех ты! Говорил тебе: чего нам спешить?.. Может, еще чуток обождем, куда ни то пока съездим? Тут, знаешь, однако: ежели часа через три-четыре вернуться — не токо снег вокруг гришиной спанки-то растает, уже и травка зазеленеет, и рябок начнет топтать самочек — у них аж спины затрешшат... весна придет. Это Гришка! Вон сколь в природном человеке и здоровья, и всякой силы, а...

Друг мой замолчал, и я спросил глазами: а что, мол, а — что?

Филиппович рукой махнул:

— А-а!.. То жинка с ума сойдет, то теща заест поедом. Егерь все что можно и что нельзя отберет. Бродежня придет, гости эти непрошенные — живут как у себя дома. Он бы их как мишак никудышних шавок отряхнул, да все при своей-то силе боится урон кому причинить либо вред какой. Кержацкое «опчество» разрешило ему в миру работать, а они увидали простоту... управляющий отделением с директором. А он ить тоже со своим нравом, Гришка. Может, раз в год по обещанью, но уж коли начнет уросить!.. А ежели бы к ему с добром... слышишь, слышишь?!

Что уж он там, Гриша, такое сладкое и родное вовнутрь затащил — переработка шла с таким явным удовольствием!

Как ребенок причмокнул, а потом вдруг так жалостно и беззащитно вздохнул, ну, до того беззащитно!

— Что он поет всегда? — неожиданно для самого себя спросил я у своего друга.

— А две песни у его,— охотно откликнулся Филиппыч.— И те по половинке куплета. Но душа в их... Не слышал рази, как он поет?

Лицо у него сделалось печальное и он вдруг зашелся не то в печальном крике, а не то в слезном плаче:

И-эх, ма-ши-на ты... железна-а-а-а-а-а!
Куды мила-ва... заве-е-е-е-е-езла?!

Не этот, под пятьдесят, морозец, а какой-то другой прошелся вдруг у меня по спине... как я здесь? В который раз в сибирских этих снегах! Зачем, и правда? Ну, почему?! Филиппыч словно очнулся:

— Это и вся. А вот другая. Варнацкая.

И опять он так вскрикнул, что у меня остро щипнуло в глазах:

И-й выстрел!.. па тюрьме!... за-ми-та-я-нул-си-и-и-и!
Осталась от ево!.. белье-ин да крова-а-вая лу-ин-жа-а-а!

И сердце больно сжало другое: зачем я не среди белых снегов — зачем на белом свете, зачем?!

Филиппович уже справился с собой, снова забормотал почти насмешливо:

— Обождем, может?.. Через пять-шесть часов приехать — тут, я тебе скажу, уже заимка раскинется и молодая баба в стайке корову будет доить... эх-ма! И за что нам, русакам, жить-то не дают, ты скажи? И руки связали, и на загорбок сели... ты мне скажи?!

Пять лет назад в студеном январе посреди тайги под Междуреченском расплавился снег, и в самом деле ударила в рост трава, и на обширной поляне посреди черных елей расцвели желтые цветки мать-мачехи...

Месяцем раньше, 1 декабря 1992 года в 5 часов 10 минут, именно здесь под землей раздался первый из шестнадцати мощных взрывов, и на глубине 381 метр в шахте забушевал пожар, который спасатели, как ни старались, мучительно долго не могли потушить. Из завала достали тела только двух горняков. Остальные двадцать три были навечно погребены в залитой, наконец, затопленной шахте, и живые цветы Матери-Земли возле срочно возведенного на горном отводе обелиска вскоре сменили букеты из восковой бумаги и венки из крашеной жести: от правительства России, от руководства профсоюзов, от администрации шахты и товарищей по работе... Тогда тут,

впервые в городе, вместо речей на траурном митинге над непокрытыми головами тысяч людей прозвучала панихида, и прерывающийся от волнения голос совсем молодого священника отца Василия впервые укрепил в душах давно уже подступавший вопрос: не знамение ли это? Не Божья, и действительно, кара?

Ведь именно здесь, на междуреченской шахте «Шевякова» тремя годами раньше начал разгораться другой пожар, тогда еще всесоюзный, вначале гордо именуемый: рабочее движение.

И на плечах горняков торжественно въехали во власть все нынешние страну развалившие правители, и под громкие разглагольствования о Декларации прав человека мы получили то, что сегодня имеем.

В толстой картонной папке с таким названием на обложке — «Рабочее движение» — у меня и сегодня лежит печальный номер многотиражной газетки «Знамя шахтера», который несколько лет назад дала мне в Междуреченске вдова так рано погибшего писателя Виктора Чугунова, начальника взрывного участка, не дожившего до самого гигантского взрыва в Междуреченске — это после него, действительно, стала разваливаться новая, уже советская империя.

— Может, тебе понадобится? — спросила Надя, давно уже теперь — Надежда Алексеевна.— Тот номер.

На развороте среди двадцати пяти овальных портретов погибших на «Шевяковой» горняков, как бы в рамке из них — стихи: *«Кого винить? Кто в этом виноват, что жизнь — бардак, что в разговорах — мат. Что обнищали все во много крат, что фарсом все призывы обернулись? Кто виноват, что вся страна больна, что гибнет в беззакониях она, за беды всех, на ком лежит вина. На ком вина, что парни не вернулись?!*

Там, наверху, усердствуют в речах, в их сытых ряшках — спесь и фальшь в очах, но боль и слезы у родных в глазах — на ком вина, что парни не вернулись?»

В междуреченском профилактории «Солнечный» главный врач Шавкун, бывший демобилизованный солдат, бывший бетонщик с нашей стройки, с Запсиба, белорус — светлая тебе, Михаил Ермолаевич, память! — показал мне тогда в своем кабинете большое, особняком стоявшее кресло: — Посидите, посидите в нем — историческое. Виктор Степаныч тут сидел. Глава правительства! Черномырдин. Чрезвычайный штаб днем на шахте заседал, а ночью тут часто — у меня. Очень он переживал эту аварию, прямо-таки заметно было: в такое время каждый — как на ладони!

Садиться я не стал, но долго, отчего-то очень долго на это кресло смотрел, пытался, и правда, хотя бы отдаленно представить: как оно в такие моменты в человеке соотносится — государственное и личное?.. Можно ли в такой роли, как нынче у него, сберечь душу и соблюсти достоинство — или же

остаться человеком порядочным на таком посту да в такое-то время попросту невозможно?

«Сделаем все, чтобы подобная трагедия больше нигде не повторилась.»

Если эти слова, которые он произнес, говорить осознанно и с полной ответственностью, на претворение их в дело необходимо жизнь положить!

Но с этим нынче никто у нас не торопится.

В самом начале декабря в этом году из Кузбасса пришла весть о трагедии на Новокузнецкой шахте «Зыряновская»: под землей погибли шестьдесят семь горняков.

Первым моим душевным движением было — немедленно отправить телеграмму со словами сочувствия... Но кому адресовать ее? Директору шахты Бинштоку? Генеральному «Кузнецкугля» Лаврику? Главе администрации Новокузнецка Мартину? Губернатору Кузбасса Тулееву?.. Со всеми с ними близко знаком, ко всем отношусь с искренним, сердечным уважением. Представить только, как им всем там в эти часы непросто!.. И тут писатель со своею бумажкой: прошу передать родственникам погибших...

Кому нужны эти мои ничего не значащие в штормовое наше время слова сочувствия? Да и что им там сказать? Чем утешить?

Это у этих бесстыжих людей, которые продолжают мучить больную страну и свой замордованный, уставший от бесконечных экспериментов над ним народ, заранее заготовлены слова на все горькие случаи, они к ним давно привыкли, сдается иногда — словно ждут повода их произнести...

Выходило так, что я не могу себе этого позволить: чтобы моя печальная телеграмма оказалась в одной стопе с их лицемерными посланиями.

Вы простите меня, дорогие мои земляки! Это и есть попытка искренне посочувствовать вам и попытка разобраться, что же с нами со всеми произошло: ведь начиналось это, и в самом деле, в наших краях, в Кузбассе, и нынешний столь возвеличенный «царь Борис», чудовище это, безжалостный обкомовский монстр — никуда тут не деться! — Шахтерский царь.»

Три пирога

Газета «Правда-5» напечатала «Счастливую черкеску», и рано утречком я позвонил Ирбеку: мол, выйдет Недда твоя Алексеевна собачку прогуливать

— пусть подойдет к киоску, купит номерок, а буду потом в редакции — десяток экземпляров у них возьму, для нас с тобой отложили.

Вскорости он перезвонил: «Как хорошо они это дали, а? И большой снимок, и тебя не сокращали, я так понял.»

Конечно же, я не удержался, съязвил: «Да уж не то что в любимом твоем «Коневодстве»: чего только не отрежут — глаза бы потом не смотрели!»

Что правда, то правда. Перед очередным юбилеем своего друга, перед круглой годовщиной всей группы «Али-Бек», какой-нибудь другой творческой датой — мало ли всего наберется, если в спорте, в цирке, в кино столько-то лет «возле лошадок»? — соображу очередной очеркишко, а куда его нынче отнесешь, ну, в самом деле,— куда?.. И Юра вздохнет:

— Дай-ка мне, я попробую.

И через денек-другой уже звонит главный редактор журнала «Коневодство и конный спорт» Николай Андреевич Моисеенко, страдалец: «Приедете — сами сократите или доверите...» «Вам доверяю, вам!» — с нарочитой лихостью отвечаешь, еще не дослушав. «Материал хороший — конечно, жаль по живому резать,— оправдывается на другом конце провода Моисеенко.— Но и нас поймите...» Чего ж не понять?

Другое дело, не хочется в это верить: что чуть ли не все бывшие друзья, которые считали раньше за честь для себя — напечатать в журнале хоть крохотную заметульку, в нынешние тяжелые времена от него отвернулись. Кто — по собственной, правда, бедности, а кто уже — из-за гордыни: теперь, мол, сами с усами! Каких только не появилось красочных изданий для конников: на дорогой бумаге, с шикарными снимками... И каждый тянет в свою сторону, и чуть ли не в каждом — столько заведомой чепухи. На цирковом жаргоне — «понтяры».

А старое, проверенное временем «Коневодство» от номера к номеру уменьшается между тем как «шагреневая кожа», само себя во всем и вся ужимает, чтобы оставить место для рекламы-кормилицы, но кто ее тебе понесет, если журнал все больше и больше похож на серую, как раньше пошучивали, портянку солдатскую.

Но форс держат.

«Придите,— звонят,— за гонораром...»

За «отрывки из обрывков» за свои: тоже как в студенческие, бывало, годы пошучивали.

Как-то я поддался, пошел.

Рука невольно споткнулась, когда стал писать «сумму прописью».

Спросил, не собирается ли куда Моисеенко Николай Андреич в ближайшие полчаса, спустился вниз, добавил в магазине к только что полученному

гонорару вдвое больше из кошелька, купил пару бутылок ее, проклятой, и кое-какой закуски...

У самого не густо, но как у них, бедных,— во всеми оставленном, всеми забытом «Коневодстве»!..

Ирбек, светлая ему память, любил повторять: то, как в любой из стран к лошадке относятся, лучше всего остального говорит о состоянии нравственности в ней, о высоте духа граждан — тут связь прямая, теперь это общепризнанно. Но об этом речь впереди, а пока вернемся в то летнее утро, когда «Правда-5» вышла со «Счастливой черкеской» — почти во всю полосу.

— Давай сходим к ним с тремя пирогами? — предложил по телефону Ирбек.— И правда ведь, молодцы!

— Да ладно уж,— останавливаю его, хорошо зная, как несладко ему нынче живется.— Переживут как-нибудь. Не хватало Недде хлопот...

— Она себя плоховато чувствует — ей не до пирогов, это точно,— говорит он чуть попригасшим голосом. И снова вдруг вдохновляется.— Но я вот что: попрошу наших ребят — поваров в «Узбекистане», они там прекрасные пироги делают...

— Вот, правильно! — поддерживаю я.— Закажи. И отнеси их потом домой и Недду угости — пусть маленько порадуется... помню эти «узбекистанские» пироги, помню!

— А давай тогда с тобой вдвоем соберемся и в подъезде съедим,— вроде бы на полном серьезе, даже как бы сверх меры озабоченно предлагает мой друг.— Я стопки захвачу…

Ну, ясно, ясно: издевается надо мной, над русаком все-таки. Не раз уже договаривались с ним блюсти в Москве, несмотря ни на что, «кодекс чести», для горцев и казаков — во многом одинаковый...

— Ну, пристыдил,— говорю ему,— пристыдил ты, джигит, меня — безлошадного.

Это у черкесов есть старая поговорка: настоящий, мол, рыцарь-наездник — это «острый меч, сладкий язык и — сорок столов». «Меч» Ирбека — хоть шашку он умеет держать, как никто — это, конечно же, уникальное его мастерство. Что касается «сладкого языка» — умения красноречиво и убедительно говорить, то и тут он сто очков вперед даст кому хочешь... хотя в последнее время все больше горечи в дружелюбно-насмешливых речах моего друга, все больше острого перца. Но вот насчет «сорока столов» — тут он держится из последних сил. Пригласить к друже-скому столу, позвать на «хлеб-соль», как на юге исстари говорят, для него — дело святое.

— Договариваюсь с редактором, когда они смогут найти для нас час-другой,— говорю Ирбеку.— И тут же тебе отзваниваю.

В назначенный день в редакцию, как река в половодье, на несколько рукавов разделившейся «Правды» пришел заранее и в кабинете у главного «Правды-5» Владимира Ряшина застал незнакомца — коренастого человека явно кавказской внешности.

— Саид Лорсанукаев, бывший наш собкорр по Чечне,— принялся знакомить нас главный.

— О, прекрасно! — начал я в своей обычной манере.— Тоже представляю наш Северный Кавказ — земляки, значит. Остаетесь тут пока? Великолепно. Будем есть пироги с сыром...

— Чьи пироги?» — крепко пожимая руку, спросил Саид.

— Осетинские! — продолжал я все также весело.— Сейчас сюда придет мой старший друг Ирбек Кантемиров...

Саид нахмурился, тон у него явно переменился:

— Этих осетин давно бы уже пора поставить на место!

Я все не отпускал его руку:

— Вместе с их пирогами?

— Наши ничуть не хуже,— сказал он с нарочитым пренебрежением.

Ну, старые шутки само собой: я заоглядывался, повел глазами по заваленной бумагами столешнице, по углам стрельнул взглядом и даже посмотрел под стол, слегка наклонившись:

— Где они, где?

— Приглашаю тебя,— сказал Саид.— Ловлю на слове: запиши телефон.

Записал. И глянул на хозяина кабинета: всегда деликатного и дружелюбного Володю Ряшина:

— Но пока мы тут сами в гостях у Владимира Федоровича? А?!..

Саид опять крепко пожал руку, и все же, когда я спускался вниз, чтобы встретить, как полагалось по кавказ-скому, значит, этикету Ирбека — «уважаемого старшего», на душе у меня кошки скребли... Был у меня на этот счет, был грустный опыт.

Еще давненько, поближе к концу восьмидесятых позвонил как-то младший братик Ирбека — Мухтарбек, Миша. Пригласил на представление «Золотого Руна» в недавно созданном им, наконец, конном своем театре. Поблагодарил его и уточнил на полушутке: «С друзьями прикажешь или — без?»

«Ну, что ты! — воскликнул чуть не с испугом.— Как всегда!»

С друзьями, значит. Еще одна святыня из семейной традиции Кантемировых: законы товарищества.

Из станицы как раз приехал в Москву на какие-то хитрые курсы старинный мой, со школьных времен дружок — Федя Некрасов, главный врач районной

Санэпидстанции. Вернувшийся в нашу Отрадную сразу после мединститута, он так и остался в ней, так и прикипел... Скольким мы обязаны ему — все те, кого судьба разбросала по всей России, кто дома бывал только во время отпуска да случайным мимоездом! И дело не в щедром угощении, выйти без которого от Феди почти никому не удавалось,— дело в другом. Провожая каждого из нас, он говорил: «Матери передай — пусть не стесняется, заходит...» И стареющие наши матери обращались к «Федору Ефимовичу» не только за отравой для крыс: Федя спасал их и от «грызунов» куда более прожорливых... светлая и тебе память, Федя!

Конечно, он тут же с радостью согласился пойти на джигитов посмотреть. Обрадовался и московский друг Толя Шавкута, терский казачок, прекрасный прозаик, который давно уже просил свести его с Кантемировыми.

Появился он вместе со своим однокашником из Грозного Магомедом Льяновым, инженером-нефтяником, только что вернувшимся из Ливии. Прошло уже около двух десятков лет — может быть, теперь я и не узнал бы Магомеда в толпе... Но ощущение острого и глубокого ума, удивительной доброжелательности и природного изящества до сих пор живы в памяти: как по-братски открыто, как сердечно мы разговаривали!

Что там ни говори, «агитпроп» свое печальное дело сделал: в России мало кто тогда представлял, какие грядут на нас великие беды. На Кавказе знали о них, пожалуй, больше, но говорили о них исключительно между собой. Мол, пусть-ка «старший брат» сам во всем разберется, а мы посмотрим, как ему это удастся, посмотрим... Мы с Магомедом говорили без недомолвок и с полуслова понимали друг дружку... где оно, подумаешь нынче с тоской, это взаимопонимание, где?!

Дела на Западе, говорили мы, идут совсем не блестяще: без очередной порции «живой крови» они скоро просто сдохли бы. Потому и затеян этот новый передел мира, который наверняка обернется для страны очередным тотальным грабежом... ах, если бы нашлись люди, которые это поняли и не дали бы снова обобрать Россию до нитки. Сколько годков жирела заграница на дивиденды с нашей революции да с гражданской войны? Нынче идет финансовая война, уже в прямом смысле: неужели так-таки заглотаем эту наживку с займами? Почему в таком случае не одолжить у арабов, которые не требуют сумасшедших процентов: хоть через сотню лет, сколько взял — столько верни. Само собой, что можно попасть в духовную зависимость от них: мусульмане набирают силу и своего не упустят. Ну, да на то ведь и щука в реке, чтобы наш карась не дремал...

Федя мой и Толя Шавкута тоже, судя по всему, нашли общий язык: позади нас с Магомедом то и дело слышался их общий дружелюбный смешок.

Денек стоял — лучше не бывает. Мы уже дошли пешочком до «Парка культуры», уже нашли сбитый из досок амфитеатр конников, и я пошел к Мухтарбеку за пригласительными. Вот мы прошли, вот стали рассаживаться...

— Слушай, а где Магомед? — спросил я у Толи.— Найдет нас? Билет ему не забыли отдать?

— Ему не нужен билет,— с грустной улыбкой сказал Толя.

Я еще не «врубился», как говорится. Удивился: мол, почему это?

Толя усмехнулся:

— Или ты — не кавказец? Разве будет ингуш осетинам аплодировать?

И тут до меня дошло:

— А я и забыл совсем, эх ты! А какой парень, а?

— Если бы ты поближе его узнал,— взялся мой друг сыпать мне соль на раны.— Я же не зря всегда повторяю: ингуши — «французы Кавказа»... да еще — Льяновы! Один из самых уважаемых тейпов. Родственники таких же знаменитых Мальсаговых... ты бы поверил, что он — бывший чемпион области по боксу? При этом его изяществе. Аристократ духа, да. Блестяще знает английский, в Новгороде в «Объединении» заведовал международным отделом, а потом вот поехал в Ливию, вернулся оттуда с орденом... знаешь, какой орден он получил от Каддафи? Высший их орден. Сказал ему, что с другом-писателем встречаюсь, назвал фамилию — он тебя пришел посмотреть... твой читатель!

Добил меня Толя — совсем добил.

Мухтарбек был явно в ударе, его настроение передалось не только участвовавшим в представлении джигитам, но и буквально каждой лошадке — каждой! Все трюки были исполнены высокого мастерства, каждая сцена — хоть конное сражение, а хоть пешее — была поставлена с блеском, и общий замысел — рассказать о благородстве, о силе и мужестве наших далеких предков — держал в драматиче-ском напряжении не только юную часть публики, но вызывал искреннее восхищение старших: вот оно — то из прошлого, что должны мы хранить в себе и стараться взращивать в тех, кто по нашей теплой и все еще зеленой земле идет вслед за нами...

Тем более обидным казалось мне это незаметное исчезновение Магомеда: ведь и он чтит кавказские наши ценности, я это сразу ощутил в нем, нельзя было не ощутить... когда же мы открыто и чистосердечно соединим наши усилия, неужели этого так никогда и не случится?!

Ирбеку ничего не стал говорить, когда Марик, привезший его к зданию «Правды» сын Маирбек, вручил мне отдававшую духовитым теплом большую картонную коробку и проводил нас до лифта. И как потом радовался, что ничего не сказал. Предупреди я его, и сам бы потом стал раздумывать: может, друг мой, многоопытный дипломат, применил какую-нибудь старую «домашнюю заготовку»?

Естественность, с которой произошло дальнейшее не только вызывает у меня и нынче улыбку, но, кажется временами — всем нам дает надежду.

— Саидахмед Лорсанукаев, вайнах,— сказал, протягивая руку. Саид.

— О, свои! — обрадованно откликнулся Ирбек с милейшей своей улыбкой.— Прабабушка у нас была ингушка, Цурова... бандиты эти ингуши, ох, бандиты! В сорок втором отец подарил мне велосипед: не чудо ли по тем временам — кто-то из старых друзей привез ему. Поехали к Цуровым в Пригород, и пока они сидели, беседовали, у меня на улице велосипед этот тут же отобрали... бабушка возмутилась! Подняли чуть ли не весь район: Кантемировы не уедут, пока им велосипед не вернут! А кто-то кому-то уже успел перепродать его, привели, наконец, через несколько часов, но — уже без звонка... какой же это велосипед — без звонка? Поклялись найти, и мы потом месяцами слышали: сейчас он у таких-то, обещали отдать за чашку муки, но перехватили такие-то, променяли в аул... ой, какие бандиты!

— Бандиты! — искренне радовался Саид.— Это точно, точно...

— Так и не отдали звонок, ты, Саид, представляешь? — смеялся Ирбек.

Я не удержался:

— Так с этим звонком в ссылку в Казахстан и уехали?

Оба они не обратили внимания на грустную шутку: сидели рядом, чуть не влюбленно глядели друг на дружку... наш Кавказ! Где столькое неразделимо переплелось, столькое одно в другое вросло. Как обычно над моей казачьей якобы внешностью черкесы посмеиваются: мол, наши у ваших ночевали, ым?

А тут уже и забыли о казаке вайнах с осетином, и уже не нужна им никакая «чересполосица», из-за передела которой столько-то, начиная с рокового восемнадцатого, с сабельной ингушской атаки на белый Владикавказ, пролито разноплеменной кровушки!

Пироги были — казалось, до того и не ел таких... С усмешкой над самим собой вспомнил, как однажды, только что приехав в Осетию, решил съесть пирог с сыром еще в гостиничном ресторане и как давился им потом... нет, братец! Совсем другое дело — пирог дружеский. Пирог братский!

В кабинет к Ряшину народу тогда набилось! Чуть ли не вся редакция собралась. И до сих пор — кого из тех, кто был на неожиданном празднике, устроенном Ирбеком, не встретишь, непременно скажет тебе: а помнишь, мол? Как вы к нам тогда с другом, знаменитым джигитом приходили? И как раз Саид был. Лорсанукаев.

Тогда, поглядывая на увлекшихся разговором «лиц кавказской национальности», я сказал Володе Ряшину, незаметно кивнув на Саида: какая-то у него в глазах глубокая такая печаль...

— Разве не о чем нынче чеченцу печалиться? — негромко сказал Ряшин.— Его совсем недавно брали в заложники. Чужой тейп. Бросили в подвал — услышал, кто-то хрипит. Еле разобрал в темноте: человек с перерезанным горлом. Начал бить в дверь, охранник появился: мол, в чем дело?.. А он: вы — не чеченцы. Даже человека зарезать не умеете! Передай своим, что мой

род наверняка уже на подходе, и спросит с них еще и за это... и ты знаешь: с автоматами обложили село, Саида вернули и отдали большие деньги... так сказать, отступные. А он — блестящий журналист, был один из лучших в «Правде» собкоров... что, слушай, творится и когда это кончится? Саид нашей ориентации, он широкий человек, умница... ты не ощущаешь хоть иногда за все, что происходит, русской нашей вины?»

Не то что иногда. Постоянно!

Как мы тогда с Магомедом Льяновым, будто сверяя мысли, говорили друг другу: главное сейчас — не прогнуться перед западом. Не потерять лица. На Кавказе этого не прощают!

Мы прогнулись. Мы потеряли лицо.

И чуть ли не разом потеряли вместе с этим почти все то, что героические наши предки веками завоевывали не только грохотом самого страшного в то время оружия — пушек, не только шашкой и личной храбростью, но — открытостью своей и справедливостью в дни мира, верностью давним традициям предков, которые мы так поспешно променяли на общечеловеческие ценности.

В который раз убеждаешься в точности чеченской пословицы: идя на запах шашлыка, не забреди туда, где клеймят ослов!

Такие пироги.

Как привыкли о грустных делах говорить мы по-русски.

Генералы собачьих стай

Теперь уже давно, два десятка лет назад, погиб наш младший сын Митя. Ранней осенью они шли после уроков с дружком-первачком, вслед промчавшемуся трамваю, взявшись за руки, бросились перебегать улицу, и обоих их зашиб не снизивший скорости возле школы встречный трамвай. Случилось это наискосок от дома,— я, бывает, и нынче стою у окна, глядя со своего двенадцатого этажа на перекресток, где погибли мальчишки.

Среди мучительных раздумий тех лет особенно часто посещало меня воспоминание о том, как мы с женой впервые привезли сынишку в Москву: показать врачам. Однажды после наполненного для нас тревогами и суетой, а для него — сказочными видениями дня мы зашли перекусить в уютное и недорогое тогда кафе «Охотник», что на Тверской, меж площадью Маяковского и Белорусским вокзалом, и после ужина, когда Митя протянул номерки важному гардеробщику, тот с чрезвычайно серьезным видом снял с

вешалки новенькую офицерскую шинель с золотыми погонами и шитыми на них крупными звездами и слегка наклонился над мальчиком: «Прошу вас, молодой человек!» Митя, которого дедушка, отставной подполковник, давно уже научил различать воинские звания, вспыхнул радостным изумлением: «Вы думаете, я уже генерал!?» — «Нет еще? — удивился гардеробщик.— А я гляжу, такой спокойный, такой умный мальчик!»

Сколько Митя об этом потом вспоминал!.. Как вдруг начал стараться шутливым словам подобревшего к вечеру после рюмки-другой пожилого волшебника соответствовать!

Спасаясь от нестерпимой боли, я тогда написал рассказ «Генералы мира» — о том, что не все непременно становятся солдатами жестокой войны... Как знать? Может, нашему спокойному и терпеливому, нашему и действительно умному мальчику удалось бы стать генералом мира?

Но время в России переломилось, оно обрушилось, как рушится гигантский мост в будущее, и больше остальных пострадали при этом дети, как раз они. Не их ли нам в первую очередь и спасать?.. Но государство, словно один давно запродавший душу сатане, один заливший глаза, чтобы приглушить остатки совести, мародер, принялось отнимать у них последнее... нет?

Позвонил на днях давнему товарищу, известному писателю Николаю Воронову, с которым кроме прочего связывает общий интерес к пролетарским городам: он вырос рядом с Магниткою и долго потом на ней работал; меня мой десяток лет в Новокузнецке навсегда, будто нарастяжку, приковал к сибирским стальным гигантам: Кузнецкому комбинату и Запсибу. Разговор с другом начался было с обычного — как, мол, ты?.. А ты как? — но почти тут же Коля горько вздохнул и без предисловий сказал: «Общие наши дела очень плохи!.. Может быть, мы даже не отдаем себе отчета, насколько плохи. Я тут беседовал на днях с одним серьезным специалистом по детству, как говорится, он медик по образованию, бывший тренер, а нынче крупный спортивный деятель, один из организаторов юношеских игр, которые сейчас проводит Лужков, и знаешь — что он? Он говорит, что детишки, которые съехались в Москву из провинции, не то что чуть не поголовно худосочны — у них малокровие, ты понимаешь?.. Ребятишки в нашей провинции попросту недоедают... Мы, говорит, хотели было подкормить их уже в Москве, но многие оголодали настолько, что интенсивно это делать нельзя — может обернуться для них бедой...»

Как в войну!.. Как зимой сорок третьего, когда вслед за освободившими нашу станицу изможенными, изранен-ными бойцами к нам нагрянули на своих «стударях», на новеньких американских «студебеккерах», морские пехотинцы, отъедавшиеся перед броском на Туапсе и Новороссийск. Ножами, которые через несколько дней они будут всаживать в шею или в живот, они курочили консервные банки с тушенкой, пластали бекон, кромсали хлеб, надрезали большие пакеты с яичным порошком и нарочно веселыми голосами, но которым даже мы, малышня, угадывали, что скоро

все это им будет совсем не нужно, они приглашали, они настаивали,— мол, налетайте, бойцы, налетайте, богатыри! — а бабушка бегала по комнате, вырывая у нас из рук все это неожиданное богатство: — Внучеки, не сразу!.. Внучеки, помрете — ни-зя!..

...И я стоял после грустного разговора у окна на двенадцатом своем этаже, смотрел на перекресток рядом со школой, куда он только начал тогда ходить в первый класс, и говорил ему, все еще семилетнему и вместе с тем уже так давно выросшему, ставшему совсем взрослым и все-все понимающему: «Видишь, Митя: теперь чемпионом может стать только сытый — теперь у нас так!»

Но, может, мой друг был слишком эмоционален? И слишком впечатлителен я?.. Писатели, ясное дело. Сочинители! Кому же и прибавить, кому, как не нам, пофантазировать?

Но наша взаправдашняя жизнь страшнее чуть ли не самых изощренных фантазий.

Когда на Горбатом мосту возле Белого дома уселись горняки с касками в руках и стали выкрикивать прямо-таки невообразимое на первый взгляд, на первый слух— «Ельцина — на нары!» — я начал приходить сюда: ожидал своих, из Кузбасса. Это они тогда одними из первых начинали «бархатную» — не от мелкой ли угольной пыли — «шахтерскую революцию». С тех пор прошло девять лет, идет уж десятый: не пора ли, и в самом деле, подбить итоги?

За чугунной оградой, на которой еще недавно висели две белые каски, обозначавшие, что место на жидкой травке возле деревьев занято, появилась наконец низенькая, но просторная в основании самодельная палатка из полиэтилена. Уставшие после дальней дороги и собственного обустройства шахтеры из Ленинск-Кузнецка вповалку лежали под прозрачной пленкой, и в самом деле, как в парничке, и кто-то из проходивших мимо москвичей дружески усмехнулся: «Дозревают ребятки!..»

Мы стояли возле ограды с проходчиком шахты «Кирова», усатым симпатягой Константином Бормотовым, отцом четверых детей, и при этих словах он невесело усмехнулся: «Перезрели уже — куда дальше?.. Сын-второклассник на днях подходит и серьезно так спрашивает: «Папка, а мы, наверно, скоро помрем?..» — «Да ты что? — говорю.— Почему это?!» А он как старичок: «Так ведь денег уже год никому не платят, а как жить без денег?.. Без них нельзя, еды нам не на что купить...» Верите?.. У меня с моим батькой-шахтером был один разговор: «Дай, па, на мороженое!» А он: «Не забудь гляди товарищей угостить!» Все!.. А у этого в глазах слезы — он мне не верит: «Ты скажи,— говорит,— когда помирать станем, я тогда на улицу не пойду. Чтобы с тобой и с мамкой вместе. Один я не буду — без вас все равно помрем».

А кто, и в самом деле, остался в этом жестоком мире один? Часто и при живых родителях: увечных, больных, спившихся, а то, все чаще случается, окончательно «севших на иглу»... Как быть им?!

Помню, как несколько лет назад меня поразило безжалостное зрелище в моем Новокузнецке, на той самой Антоновской площадке, которой мы так гордились, на Запсибе... В полдень я вышел из гостиницы «Сибирь», где в номере на третьем этаже все утро просидел над чистым листом, все пытаясь осмыслить, что с нами со всеми происходит, и рядом, у входа в ресторан, увидел очаровательную невесту в белоснежном подвенечном платье и с цветами в руках и с ней красивого жениха в черной паре. По обе стороны от них стояли «дружки» с лентами через плечо, родные и гости с цветками на праздничных кофтах и в петлицах, а под ногами у них над вынесенными из зала тарелками с горками мяса, картошки, хлеба сидели на корточках, стояли на коленках жадно глотавшие дармовую еду чумазые, с грязными вихрами оборвыши... «Ну, все, все?» — кричал кто-то из окружения новобрачных, и чуть поодаль я увидал парня в джинсовом костюме и с видеокамерой в руках. «Такое вроде и снимать-то грех!» — негромко сказал ему, поравнявшись, но он откликнулся деловито: «Да почему? Это теперь традиция: сначала к вечному огню, к павшим, если в городе, или к «солдату Алеше», если в поселке, а потом — покормить бомжат. Вон сколько их кругом! А этим повезло: хоть свадьба, а хоть поминки — выносят им на ступеньки. Только с собой не бери, а тут — хоть лопни...»

Видели бы это «павшие», в память о которых горит в Новокузнецке вечный огонь!.. Видели бы это они, выпрыгнувшие в декабре сорок первого прямо из теплушек в глубокий снег и сходу бросившиеся под пули немецких «шмайссеров» пехотинцы Добровольной Сибирской дивизии, телами своими заслонившие тогда уже совсем было готовую пасть Москву! Знали бы они тогда, во что она потом превратится!

Ведь худосочие российской провинции, ее нынешнее малокровие — следствие непомерной жадности и бессердечия заевшейся и опившейся, ограбившей всех и вся столицы. С горькой улыбкою вспоминаются теперь те времена на моей «ударной комсомольской», когда работяги из бригад покрикивали на трудяг на конторских: «Кровососы!» Воистину не видели мы еще тогда настоящих — цивилизованных конечно же, существующих благодаря демократическим преобразованиям и в полном соответствии с Декларацией прав человека и гражданина — нынешних кровососов!

Недавно многие газеты рассказали о мальчонке из подмосковного Реутова Ване Мишукове, который два года прожил среди бродячих собак: они делили с ним пищу, согревали его своим теплом, защищали и охраняли. Потребовался чуть ли не спецназ, потребовалось три дня, чтобы «отрешить от должности» этого маленького генерала собачьей стаи и высвободить его якобы для иной, для человеческой жизни... ну в самом деле! «Новое поколение выбирает пепси», а он, видите ли, выбрал собачью стаю!

Не сможет, что ли, на смрадных перекрестках протирать стекла иномарок?.. Не сумеет таскать на рынках вонючие ящики с подгнившим заморским продуктом?.. Поселится в конце концов на мусорной свалке — с такими же, как он, нормальными ребятишками. Но не с собаками же!

Что законом не запрещено, правда, то разрешено, как нас учил мудрец Горби, но все же, все же...

По радио уже успел прошмыгнуть глумливый комментарий: мол, первый Рим начинал с малышей, вскормленных молоком волчицы, а третий, последний-то «Рим», вон как заканчивает!

У этой истории, однако, иной смысл, и заключается он в том, как ни верти, что какой-нибудь давно лишившиися собственной будки бездомный пес куда добрей и куда понятливей этих обосновавшихся в московских респектабельных банках лощеных сук. А что касается отверженных — по всей-то России — мальчиков, из них еще вырастут такие волкодавы, под челюстями которых хряснет еще не одна волчья шея.

Само собой, что нынешнему «многомудрому» Ироду, как никому, известна его уходящая и библейские глубины история — потому-то он и торопится не только под корень извести рожденных сегодня, но и заранее накинуть прочную долговую удавку на тех, кто родится и через десять лет, и через двадцать, и через тридцать... если не изживет себя к этому времени в России это совершенно ненужное с точки зрения «мирового сообщества» дело: рожать детей.

Как не знали пятьдесят лет назад рядовые — и в прямом, и в переносном смысле — американцы, чем платили наши отцы элите Соединенных Штатов за их «студебеккеры», за яичный порошок, за тушенку, так нынешний заокеанский обыватель, чрезмерно озабоченный своими автомобилями и холодильниками, не догадывается, что на самом деле сегодня происходит.

Вот уже и мировая история переписана, и освободителями человечества от фашизма объявлены уже лишь они, а русская кровушка, обильная кровь великого советского народа,— всего лишь слабый розовый фон, на котором ярче виден их звездно-полосатый флаг. Вот они, «не потеряв ни единого солдата», как хвастал в Англии высокопоставленый военный чиновник из США, победили в новой войне, в холодной на этот раз, и займами своими помогают нам теперь обрести окончательную свободу и истинное благополучие.

Пусть западный обыватель так думает: это, как говорится, его проблемы.

Но мы-то, испытывающие все на собственной шкуре, давно понявшие, что по, чем,— мы-то что?!

Начнем ли, наконец спасать наших детей и внуков — эту единственную теперь надежду на будущее?

«План перехвата»

Листал блокнот и нашел впрок припасенный диалог:

— Где бы нам с тобой перехватить? Обедать пора.

— Ладно, ты пока разрабатывай план перехвата...

И я вспомнил свой звонок Иону Друцэ, дружелюбную нашу беседу с ним: всегда помню его добром. Тоже «крестьянский сын», он раньше моего приобщился не только к городским ценностям, но и к жизни в писательском кругу... В силу возраста раньше стал карабкаться к высотам духа и по-братски сочувственно надо мною по возможности шефствовал, тем более, что я тогда был не в лучшей форме: в дом творчества в Дубултах приезжал из Майкопа, где тогда происходили со мной дела не очень веселые...

Говорю теперь по телефону: надо бы, мол, увидеться, Ваня! Кроме всего прочего, с большим бы удовольствием отдал тебе свои книжечки — вышли тут у меня, несмотря ни на что...

А Ваня мягким своим и мирным, чуть насмешливым всегда голосом говорит дружелюбно:

— Хорошо. Тоже рад буду. Давай чуть позже с тобой перезвонимся? Вот «зеленка» появится...

Военные термины, солдатский сленг давно вошли в нашу жизнь.

Так же, как и язык зоны?

Славянский ответ

1

В восемьдесят шестом году, в начале июня, в пик зеленого буйства старых и молодых деревьев и стремительного, будто наперегонки, роста трав в польском городке Гайнувка под Белостоком я нашел, наконец, могилу двоюродного деда, мужа маминой тетки, моей крестной, «мамаши», как все мы ее звали,— Василия Карповича Карпенко, без вести пропавшего ранней весной сорок четвертого, и, хотя ждал этого момента, верил горячо, что он настанет, теперь-то непременно найду, при виде надписи на каменном столбике в самом центре ухоженного, торжественно-строгого мемориала на главной площади растерялся, не знал, какие слова сказать, что делать, и только тут, так гордящийся всегда своими прочными, и глубокими, как мне казалось всегда, корнями достаточно известный в свои пятьдесят русский писатель, разом осознал вдруг полную свою и постыдную дремучесть в самой главной, может быть, в самой сокровенной области духа и с

благодарным порывом оценил не только деликатную предусмотрительность бывших со мною рядом поляков, но всю святость их незыблемых вековых устоев — со всеми этими казавшимися до того слишком роскошными орденами, бантами, вензелями и слишком подробными надписями с именами полностью погибших, но не сдавшихся полков и батарей на табличках в костелах, с непременным девизом на стенах: «Бог. Честь. Отчизна.» В руках у меня вдруг оказался объемистый целлофановый пакет с пышными и тугими темно-бордовыми розами на крепких и длинных стеблях, и я не то что припал — я рухнул с ним на колено и горько уронил голову.

Солнце вдруг стремительно скрылось, показалось сперва, что потемнело в глазах, но нет, налетел шквальный ветер, ударила гроза, разом опустился глухой почти непроглядный дождь. В Беловежском густом лесу мы ехали сперва по главной дороге, потом свернули на узкий проселок, машина заелозила по болотам, тут же ставшим почти бесконечными... Когда остановились, наконец, на просторной поляне с вековыми деревьями, дождь также внезапно стих, мокрые кроны прошило густым уже предвечерним золотом и в удивительной тишине послышалось дробное шлепанье тяжелой капели и печальные крики горлинок... как они тосковали, как плакали!

— Здесь был большой бой в сорок четвертом,— сказал мне Миколай, высокий грузный поляк, мой ровесник, с которым у нас уже при первом рукопожатии установилось вдруг доверительное чувство явной взаимной симпатии.— Наши партизаны соединились тут с отрядом вашей кавалерии... с казаками, да. Но их предали.

Он наклонил крупную голову, задумался, словно подыскивая слова.

— То нельзя понимать, как чисто предательство,— сказал, словно извиняясь.— Шла война...борьба. У каждого своя правда. Скорее то была ловушка, был военный обман... как это?

— Военная хитрость,— подсказал мой друг Олег Лосото, корреспондент «Правды» в Польше, устроивший по моей просьбе эту нашу поездку в Белосток из Варшавы.

— То так,— сказал Миколай.— Но здесь тогда очень много ваших погибло. Наверно, и твой дед тогда — тоже здесь.

Впервые он сказал «ты», обнял меня за плечи, повел к врытому посреди поляны длинному столу из толстых, давно потемневших досок — на застеленном полиэтиленовой скатеркой краю его уже готовили поминальный ужин.

— Ты видишь, эти деревья — странные? — спросил Миколай.— То половинки деревьев, хотя они давно старые. Пушки тут все тогда смешали с землей. Была засада, где нельзя уцелеть.

Громко плакали горлинки, мы, не чокаясь, пили, чуть в сторонке одиноко стояла налитая всклень рюмка с краюшкой хлеба на ней, закатное солнце дожигало черные стволы мокрых лип.

Так вышло, что покойного отца я отчетливо различаю в памяти с сорок четвертого, когда он вошел в дверь бабушкиной хаты в черных очках, с тростью в правой руке и с растопыренной левой пятерней. «Вы тут, дети? — хрипло спросил.— Это я, папка ваш,— не пугайтесь!» Деда — все мы, и взрослые, и детишки всегда его звали Васей — помню с тридцать девятого, когда он, так и не заимевший наследника, начал учить меня, трехлетку, стрелять из ружья: первый раз, я это помню, как будто было и впрямь вчера, стволы лежали на черном, нарытом кротом холмике, а я корячился на коленках в сухой осенней траве... как я заревел, когда двустволка бабахнула!

И вот столько лет пронеслось, на белом свете не осталось почти никого, кто деда помнил, жива только мама, после которой я в роду старший — родные и двоюродные младшие братья знают Васю лишь понаслышке... дать телеграмму из Белостока маме в станицу? Или все-таки братьям?.. Пусть подготовят мать. Даже через столько лет, знаю, это известие может воскресить боль, которую ей теперь трудно будет перенести... Почему я так нескоро собрался сюда? Ах, Вася, Вася, Василий Карпович! К нам в станицу приезжал потом после войны его экипаж: от Курска на той же машине, в том же танке они докатили до Берлина, никого потом даже не поцарапало, а под Кур-ском, на Прохоровском поле их спас дед, отчаянный механик-водитель. Но не давала покоя ему, иногороднему, казачья слава! В Отрадной, когда долечивал рану, станичники уговорили перевестись в кавалерию, и дважды под ним сперва убило коня, а потом эта последняя, из-под Белостока, весточка: писем скоро не ждите, уходим на спецзадание. Вот где, выходит, оно тогда прервалось!

Меня он, и в самом деле, любил и баловал, хоть не один раз, не два подвергал испытаниям вроде этого, с двустволкой на черном крошечном бугорке: «Нажми, мальчишка, вот тут — крот выскочит!»

— Хорошо, что ты все-таки нашел его, слухай! — сказал Миколай.— Давайте поднимем теперь за боевое содружество... за неразделимо воинско братство! Тут неизвестно кого тогда больше погибло: наших партизан или ваших казаков. Давай: за русских жолнежей. За простых солдат. И за польских честных жолнежей!

Я выпил и уронил голову. Прошел по еле заметной тропинке в лес, ткнулся лбом во влажную кору большого дуба, и плечи мои тряслись, пока рядом не остановился Миколай:

— Не надо, слухай! Столько до сих пор не нашли, а ты теперь нашел, ты знаешь, где он лежит, твой дед. Станешь к нам теперь приезжать. С детьми. С внуками. Я всегда теперь буду ждать тебя, ты помни это, ты знай: Миколай ждет!

Как крепко мы тогда обнялись!

2

Поздней ночью была жаркая баня на берегу заросшей, с лунною дорожкой реки, посреди которой словно русалки плескались, заманивая к себе в воду, белотелые полячки с распущенными косами... В ушах еще звучал поэтической строкой, которую хотелось повторять, тост, только что громко провозглашенный Миколаем: «За наших прекрасных пани, за их белы ручки и за борзость наших лошадей!» Завернувшись в мохнатые простыни, мы с ним сидели поодаль в ивовых плетеных креслах, и горлышко «выборовой» в его руке постукивало о край хрустального фужера в моей.

— То не наша забава,— говорил Миколай.— Пусть веселится молодежь. А мы с тобой старые жолнежи, нам есть о чем поговорить. Солдаты, да. Вернее, дети старых жолнежей. Старые дети старых жолнежей. Понимаешь, о чем я?

Мы снова, не чокаясь, выпили за старых жолнежей.

— Слухай! — начал Миколай на какой-то особенной ноте: и задушевной и вместе как будто бы очень строгой.— Там у вас решили, наконец, поставить нашего Валенсу на место. То надо. Давно пора! Почему мы должны быть у Валенсы в хвосте, если люди так давно хотят перемен? Кажется, Горбачев это понял. Дай Бог, как у вас в академии общественных наук говорят. Где я учился... Как у нас, у поляков: помоги, матка Бозка!.. Только, знаешь, что? Слухай! Мы, и правда, старые дети старых жолнежей. Мы знаем. Мы столько видели. Главное: мы — славяне. Ты помнишь, как в войну, как сразу после нее?.. Братья-славяне. Братья!.. Никто не мог алемана остановить. А мы его уложили в гроб. Мы!

Я наклонился к нему, толкнул плечом:

— Споем давай?

— Цо?

— «Войско польска Берлин брала, русска добже помогала», а?

Горлышко «выборовой» снова зацокотало о мой фужер.

— Знаешь ту песню? Давай за нее! Нас мало, потому нам нужна большая песня. Великая, так? Берлин вы взяли. Большой кровью. Но и наша кровь была. В расчете на душу... как это? В этом смысле и наша большая кровь. Очень большая! Вообще была славянская кровь — надо помнить. Давай за славянство! Об этом и хочу сказать. Предупредить, если хочешь. Теперь говорят: вызов времени. Это так. И ответить надо достойно. Разве не понимаем с тобой? Но это должен быть славянский ответ. Наш!.. Не надо, слухай, Америку догонять. Не надо по ней равняться. Вообще забыть о ней — тьфу! О больших деньгах не надо думать. О роскоши. О долларах в банке.

То жидовско дерьмо! Согласен?.. Только нельзя: еврейско. То у нас нехорошо. То у вас в России. Вернешься, говори: еврей! У нас это оскорбление, у нас это нельзя, мы — интернационалисты, хоть знаем ему цену, потому что мы — дети жолнежей и сами жолнежи, да!.. Но тут — жид. А доллары — жидовско дерьмо. Кто хочет, пусть в нем плавает. Нам то не надо. Славянское дело едно: дух! Мы богато маем главные ценности, но часто то забываем. То гибель. То нельзя! Есть добро и правда. Совесть и независимость. Надо сплотиться вокруг этого. Это будет та самая наша солидарность. Славянская. Понимаешь? Вот должен быть наш ответ. Что крепче любого железа, пусть то сталь, бронь, все, что люди придумали. То тоже в конце концов жидовско дело. Но мы не должны пойти той дорогой. Наше дело — дух. Верность. Неколебимость. Едность. Нам надо найти свою дорогу. Помнишь? Или найду дорогу или проложу ее! И это надо каждый день помнить. Должна быть славянска дорога в обход их дерьма. Мимо богатства... жаль, нет моего старого друга. Он так говорит. Ты казак? И он казак. Польский казак. Коронный! Не знаешь, кто такие коронные казаки?!

Тогда я, и в самом деле, не знал этого.

— То те, кто остался верный польской короне, когда Богдан Хмельницкий отложился, к вам перекинулся.

Прежде чем процитировать Тараса Шевченко, я снова толкнул его плечом:

— «Москалям продал Украину»?

Он тоже подтолкнул меня: старые наши дела, хорошо, что оба знаем им цену и знаем цену себе, и цену славянству.

— Так, так. Но часть казаков осталась верной присяге. То настоящее польско дело: умереть, но остаться верным присяге. С тех пор их так и звать: коронные казаки. О-о-о, то серьезные ребята. Если поляки — порох, который надо поджечь, эти взрываются от одного взгляда. Знаешь, как их алеманы боялись? Они православные. Больно страдают, когда на месте вашего храма наши строят костел... у них душа рвется! Кто они? Русски? Хохолы — украинцы? Нет. Польские коронные казаки. Но душа у них... Она первая отзывается на славянскую беду, славянскую боль... славянскую розницу, так это? На славянскую рознь. И мой друг говорит, его Виктор, он хороший поэт, жаль, что ты у нас мало... В следующий раз приедешь, я тебя обязательно с ним сведу, нас будет троица — вода не разольет... Эх, нет его! Давай за казаков, я расскажу ему. Это он болеет душой, он теперь говорит: сейчас момент нам сплотиться! То должен быть наш славянский ответ. Знаешь: я секретарь Белостокского воеводства. Учился в Москве. Я свой. Но есть Бог. Ты это понимаешь?

На лунной дорожке в сонной реке заплескались, заперекликались звонкими голосами белотелые польские русалки, и переливчатый их смех, стихая, поплыл по течению.

— Бог! — повторил за ним я.— Честь. Отчизна?

— То так! — горячо сказал Миколай.— Запомним это: то так! Есть это — есть все. Этого немаем — ничего немаем. То наше богатство, а не жидовский банк. Не только польске — славянско: Бог! Честь. Отчизна.

3

Но мы все же врюхались в их дерьмо. Мы так за десяток лет в нем изгваздались, что тем, у кого еще сохранились остатки совести, неловко друг на дружку смотреть. За это время мы один другого купили и продали, а не участвующий во всеобщем торжище стал теперь не только смешон, но уже подозрителен. Свои сокровища духа мы променяли на все эти штучки для потных промежностей, мы как должное приняли подмену моральных ценностей другими: оральными. Мы угробили свою великую армию, оплевали старых ее солдат, унизили и растлили молодых, а наши доблестные офицеры вместо того, чтобы отдать команду открыть огонь на поражение предпочитают одиночный выстрел в висок: в собственный. Пятьсот офицеров в год по статистике: батальон!

Нас разделили и опять натравили своих на своих. Нетрезвый политик с оловянными глазами, выхвативший у изумленного дирижера палочку на чужом торжестве, отрезал ею от родины не только могилу моего деда в польской Гайнувке — сотни тысяч солдатских могил. И это уже никакая не военная хитрость, это — классическое предательство.

Какое там славянское братство?! Какое боевое содружество?!

Чужие ракеты с чудовищной методичностью долбят единственный пока не сдавшийся славянский народ, сербов, а в столице России под приглядом ну, конечно, «Отечества», под его патронажем все еще доторговывают военными реликвиями покойных воинов и униформой оставшихся без порток живущих… это, и действительно,— воины?!

А не хотели бы вы, бывшие гнилые союзнички, полностью уже присвоившие себе победу славянства над вашим же выкормышем Адольфом, ракету — другую вдруг получить в вашем сверх меры цивилизованном Лондоне? Или опять — в Берлине? А в вашем вонючем Нью-Йорке, который вы считаете теперь центром вселенной?

Стоило бы вам об этом с твердой решимостью заявить, как из-за океана, и в самом деле, нанесло бы дерьмом. Но что остается: мы у края, и только так решаются серьезные дела на поворотах истории. То был бы и впрямь славянский ответ: глаза в глаза.

Но наш всенародно-то, но так и неизвестно для чего избранный поджал обрубок хвоста и все продолжает ворковать с этим, так еще и не застегнувшим ширинку дружком-красавчиком. А мы — давно знакомое славянское дело! — с камышинками во рту терпеливо выжидаем на дне грязного болота, и нам все больше и больше нравится так лежать... Ну, а что?

Что для нас, и действительно,— Бог? Что нам Честь? Что — Отчизна?..

История пленника Фидура

Это из книжки Р. Трахо «Черкесы», изданной в Мюнхене в 1956 году — Юнус принес мне сделанную уже давно — с пробелами меж двух страниц, потому что печать на одной стороне листа — ксерокопию, переплетенную в типографии и всю испещренную им не только подчеркиванием разными цветами, но и надписями на адыгейском, просто восклицаниями либо вопросительными знаками, а также «галочками», знаками плюс и минус — вообще каких только свидетельств внимательного и пристрастного изучения не имеющую.

Итак:

«Как относились северокавказцы к русским, можно видеть из таких фактов.

Старшина Гехинского аула Моиты рассказывал:

«Я из пленных солдат взял к себе одного по прозванию Фидур (Федор). Он находился у меня три месяца. Работал больше и лучше, чем от него можно было ожидать и требовать. Все мои домашние его полюбили и обращались с ним как с родным. Несмотря на это он ничем не был утешен. Постоянно был, мрачен и грустил. Как только он не работал и бывал наедине, заставали его в крупных слезах...

Я, узнавши об этом, призвал его к себе и спросил:

— Фидур, почему ты часто плачешь? Кто тебя обижает? Может быть, тебя, помимо твоего желания, заставляют работать, или кто-нибудь тебя пугает...? Скажи правду...

— Меня никто не обижает, не пугает и не принуждает работать... А плачу потому, что надо плакать.

— Почему же тебе надо плакать? — спросил я.

— А вы,— сказал он,— почему воюете и проливаете кровь свою?

— Гм! гм! — заметил я.— Мы проливаем свою кровь из-за того, что вы, русские, не боитесь Бога и хотите уничтожить нашу религию и свободу и сделать нас казаками.

— Что правда, то правда,— продолжал он,— вот и я столько же люблю свою родину и религию и за них плачу. Если бы я не попал в плен, то скоро получил бы отставку и в своей деревне со своими родными ходил бы в

церковь молиться Богу, а здесь...— он не договорил, и слезы потекли ручьями из его глаз, и цвет лица изменился.

Сцена эта так сильно тронула меня, что... я не мог удержать слез и в ту же ночь посадил его на коня и поехал с ним до Урус-Мартановской крепости и, не доезжая четверть версты до ворот, я приказал ему слезть с лошади и отправиться в крепость, прося его говорить всем, что он сам убежал от меня.

Таким образом я, с большим удовольствием обняв Фидура, простился с ним. Он, от глубины души поблагодарив меня, как стрела пустился в крепость, а я чуть свет вернулся назад.»

Много ли похожих случаев было нынче?

Вчера вечером Лариса, вернувшаяся от старой подруги, у которой сын Алеша, прапорщик из Майкопской бригады, пропал без вести, рассказывала, как она опять сама себя взялась обнадеживать: заходил к ней человек, отрекомендовавшися работником военкомата, и спрашивал — действительно ли Алексей родился 9 августа? Попрежнему ли жива его мама?

«Это я, я,— твердила она.— Зайдите!»

Сославшись на занятость, он быстро ушел, а она, растерявшись, ни о чем больше не расспросила его... Утром бросилась в военкомат, но там сказали, что никто к ней от них не приходил — во всяком случае, об этом никому не известно...

Сосед, бывший в тот вечер выпивши, стал говорить ей, что этот человек «далеко оставил машину, зеленый «жигуль», и потом все время оглядывался...»

— Ты бы хоть номер запомнил,— корила она его

— Дык — кто ж знал,— был ответ.

А для нее начался новый круг мучительных надежд и горьких разачарований...

Вот тебе — и «Гехинский аул». Вот и — Урус-Мартан...

«Почетный гость города»

В Новокубанске были с Володей Ромичевым, с Михалычем, у мэра — Александра Васильевича Соловьева, и он вручил мне, значит, медалюшку: в кругу, обрамленном лавром, герб Новокубанска — на белом фоне казак, держащий в правой руке саженец с корешками над голубым краешком воды, а из левой не выпускающий шашку, а вверху — на металлической тоже «ленте» — большой ключ с надписью этой самой: «Почетный гость города».

Кивая на Ромичева, посмеиваюсь:

— Ну, вот: теперь я буду «почетный гость» «почетного гражданина»... а то кто там у Владимира Михалыча всякий раз останавливается?

Накануне вечером он прочитал рассказ «Издалека», который я только что закончил в Майкопе: первый читатель. Там есть строчка и о нем: как мы с ним будто поменялись судьбами... во всяком случае «местами жительства» поменялись. Не скажешь ведь: родиной.

Михалыч из Тогучина, из маленького городишка под самым Новосибирском, учился в одном классе с Мишей Черненком, еще с советских времен знаменитым своими детективами... Как-то Миша появлялся у нас в редакции, когда я в «Советском писателе» работал, с дружеским письмом от Саши Плитченко, светлая ему память: тогда мы еще не знали, что у нас есть и еще один общий товарищ. Совсем недавно, кстати, Михалыч дозвонился до своего Тогучина, через справочную разыскал однокашника, пригласил в гости, но Миша сказал ему: спасибо, но давно уже никуда не езжу...

Вот тоже деталька — все туда же, туда же. Все в дом, как говорится, все — в дом!

С Михалычем дружим с той поры, когда он был начальником управления каменщиков у нас на стройке — начальником СУ-1, где Лариса работала тогда мастером... ну, братцы!

Взял сейчас с полки свой старый роман «Тихая музыка победы», чтобы найти то место, где начальник управления каменщиков — тогда еще с другою фамилией, потому что к прямому тексту долгонько я шел, долгонько — на брезенте, расстеленном поверх недавно забетонированного ростверга на «пеньке» домны кромсает толстую, как пожарный шланг, колбасу: вот-вот начнут ростверг «обмывать» — уже несут водку, не пару бутылок — сразу ящик, народу ведь ого-го сколько!

И вот искал-искал я это место и — не нашел. Давно уже тону в собственных своих текстах, все больше — в старых романах.

Так вот, начальник этот — Володя, Михалыч, уехавший потом в родные мои края, на Кубань... братцы мои-ни! — приходится опять.— Братцы-ы-ы!

Компьютер, и в самом деле, ведь — не дурак, машина самостоятельная и — с норовом... Хотел вот напечатать, само собою, «края», а он исправляет по ходу дела, прекрасно зная уже о чем речь,— о милой моей теплой родине! Конечно же, тут — рая. Даже не один рай, а много, потому что она ведь такая разная, Кубань,— на Побережье одна, в Приазовье да в степях около другая, в предгорьях — вроде моего Отрадненского либо Горячеключевского, которое во многом — не хуже, третья... А сколько еще таких вот удивительных мест — каждое со своею особинкой, да еще с какою, с какой!

Остается опустить казацкую свою чуприну перед компанией «Микрософт» и ее бессменным главой Биллом Гейтсом?

Родные мои р а я!..

Почему же меня-то носит по белу свету, как перекати-поле под ветром? Может быть, стоит об этом порассуждать в отдельном рассказике под этим названием: «Перекати...»?

Или не стоит?

Как-то один ясновидящий сказал мне, что в конце жизни у меня будет особенно много дорог... это перед самой-то длинною.

Так что положимся на Господа, на четырех ангелов-хранителей — матушка Валентина в Суздале первая сказала мне в этом году, что у меня их четверо,— потому что святые Гурий, Авив и Самон неразлучны, недаром и на иконках они — вместе, положимся на святого Георгия, хранителя воинов, путников и мужчин. «Министра путей сообщения», как его с почтительной полушуткой называют осетины: дорожная иконка св. Георгия в кожаной, в форме подковы, оправе, которую подарил мне Мухтарбек Кантемиров, Миша,— и сейчас вот — бросил на нее взгляд, а потом посмотрел уже подольше и с благодарным вниманием — стоит на столе рядом с поднятым экраном старого, как трактор «фордзон», «ноутбука»...

— Не станем звать волка! — как советуют наши кунаки-черкесы.

Лучше, и в самом деле, напечатаем потом крошечный рассказик, связанный с этой мудрою поговоркой.

Но дальше — о нас с Михалычем: два года назад, когда в очередной раз пытался ума набраться — баллотировался в Государственную Думу кандидатом по Югу Кузбасса — я написал небольшой очеркишко под названием, стыренном у Карема Раша: «Кто сеет хлеб, тот сеет правду». Оправдывало меня только то, что Карем назвал так статью свою обо мне... вот, значит, я все себе это и присвоил, и его заголовок — тоже.

В этой статье — уже в моей, в моей — я вспоминал о том, как нас с Михалычем на всех партконференциях либо рабочих собраниях непременно выбирали в счетную комиссию, но мы тогда искренне верили, что это лишь потому, что мы с ним быстрее других спроворим за сценой, значит, выпивку — я мчался в магазин за «сорокаградусной» либо за спиртом градусом куда выше — пять шестьдесят семь за поллитра девяносто шестого... для ровесников моих эти цифры до сих пор таят магию. Только ли полных товарищества, полных сибирского братства посиделок? Или есть в этом и то, ради чего всего совершалось?

Магия огня.

Который должен был всех нас согреть, когда пустим, наконец, домну, а за нею весь остальной металлургиче-ский цикл...

С Михалычем нас этот самый огонь спаял, как спаял он многих и многих других, кто о молодости нашей об общей еще не забыл, кого она до сих пор греет не только в кругу старых товарищей но и в хладные минуты одиночества — тоже...

...я мчался в магазин, а Михалыч уже резал купленную здесь, в непременном при каждой конференции «безалкогольном» буфете эту самую «толстую как пожарный шланг» колбасу, «докторскую» либо «любительскую» — далась мне эта колбаса, но чем тогда еще можно было закусить на скорую руку?!

Дальше в моем очеркишке стояла фраза, что в это, мол, самое время, когда все члены комиссии заняты были тем же ответственным делом, что и мы с моим старым другом, штатный председатель счетной комиссии Иван Максимович Молчанов, зам управляющего трестом по быту, «шерстил бюллетени».

Русский человек задним умом крепок: потому-то в комиссии и нужны были такие доверчивые, какими мы тогда были!

Но что интересно: очеркишко мой понравился Сереже Черемнову, пресс-секретарю Амана Тулеева, и он передал его в редакцию газеты «Кузбасс». Там его тут же напечатали: слово в слово. За исключением фразы о том, чем занимался председатель комиссии Иван Максимович, пока остальные в поте лица хлеб-соль готовили...

Где «пошерстили» мой текст?

В секретариате ли Амана — отдавал им потому, что там было несколько строк и об их высоком начальнике?

В редакции ли «Кузбасса»?

Но тогда мне до тоски стало ясно, что фраза эта крамольная...

Что бюллетени, выходит, нынче — в «правовом»-то нашем государстве — шерстят с удвоенной, а то и удесятеренною силой, в чем я имел потом возможность убедиться — как раньше в Кузбассе бывало, как — всегда! — на собственной шкуре.

Но разве я об этом?

Крива дорожка ассоциаций, ох — крива!

Как заведет!

Но мы ведь о других дорожках, и правда,— в прямом смысле.

Дома у Михалыча в той комнате, где мы оставили свои вещички и где я спал обычно, когда один к Михалычу приезжал — в «наташиной комнате», увешанной и картинами внучки, которая нынче учится ремеслу на «худграфе» в Воронеже, и ее аппликациями — Лариса отодвинула в сторонку пузатый фарфоровый чайник яркой раскраски, стоявший в нише серванта, и за ним открылась прислоненная к задней стенке металлическая табличка такого размера, которые висят обычно на дверях начальников хорошей руки. Большими белыми буквами на синем фоне было написано: «Здесь живет Почетный гражданин города Ромичев Владимир Михайлович.»

— Скромный у тебя начальник,— сказал я Ларисе, прищелкнув языком. Она простодушно спросила:

— А разве это он не сам сделал?

— Ну, да,— подначил я.— Своими трудовыми руками.

— Нет... ну, сам заказал.

— Это наверняка дают сразу вместе с удостоверением почетного гражданина,— сказал я наставительно.

— Надо было, чтобы они сами сразу на забор и прибили? — спросила догадливая моя жена.— Или на торец дома... куда она?

— Вот-вот. Чтобы сразу же лично мэр прибил... своими трудовыми руками.

— Ты скажи лучше, куда ты свою медаль повесишь? — окоротила меня жена.

Что правда, то правда..

«Почетный гражданин» здесь живет.

А «почетный гость» как угорелый носится. По неизменному, в общем-то, маршруту: Северный Кавказ — Москва — Юг Западной Сибири.

На родной-то земельке и — гость!

Хорошо хоть — «почетный»...

«Один из хозырей...»

Решил перечитать «Хаджи-Мурата», и на самых первых страницах вдруг встретил:

«Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать,— сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано,— сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески.»

Вот оно!

Кавказский житель — тоже «лицо кавказской национальности» — не раз и не два перечитывал повесть и перед этим, но о сценке об этой совсем, выходит, забыл. Не вспомнил, когда начинал свои «Газыри». Но, может, к лучшему?

Теперь вот, как бы уже посреди дороги, мне — знак... Не от кого-нибудь — от самого графа Льва Николаевича Толстого. Графа не по рождению — по занятому им в русской литературе положению. По званию, которое заработал сам и только сам. Лично.

Я и хотел было сперва назвать этот малый отрывочек как-нибудь так: «Знак от Льва Николаевича». «Привет из тома четырнадцатого»... Как-то так.

Но все мне казалось, что есть тут какая-то опасность панибратства, над которой я уже давно размышляю, готовясь к работе над повестью Юнуса Чуяко о Пушкине.

Он с Пушкиным в повести — на «ты».

Потом я убедил его, что надо, пожалуй,— «вы». Несмотря на то, что у черкесов этого «вы» никогда не было, оно пришло вместе с русскими, с их традицией, с их литературой...

Говорил я горячо, и Юнус согласился.

Но вот совсем недавно подумалось, что ведь и к Господу обращаемся, говоря Ему вовсе не «вы», а Ты, Господи...

Другое дело, что — с большой буквы.

Но там, в переводе-то, «толкач муку покажет», как моя прабабушка Татьяна Алексеевна говаривала... Который выталкивает в мельничный «рукав» уже перемолотое зерно.

А тут уже и нынче все ясно.

Как и то, между прочим; что мне придется еще не один «хозырь» заряжать «записочками», на которые натолкнут размышления над страницами «Хаджи-Мурата»: такой густой текст, такой емкий! И какая на каждом слове смысловая нагрузка, как оно, всякое, самоценно!

Росток из детства

По задерневшей, уже побитой ногами тропке, специально проложенной для ходьбы посреди огородика матерью жены — единственной теперь, оставшейся из двух, нашей мамой — медленно вышагиваю днем свои

километры, которые — из-за малой длины отрезочка от калитки в огород и до ореха в конце его — не так-то просто и вышагать...

Соседский огород справа — если туда идти — почти сплошь заросамброзией, зато слева!..

Новенькие металлические столбы под виноград окрашены ярко-синим, над каждой парой столбов протянута ровная как струна арматурина, а сами лозы как будто одинаково согнулись под сильным ветром и так замерли: одна к одной сложены в пучки, перевязаны кольцами шпагата и от корня вытянуты все в одном направлении, параллельно земле... Земля взрыхлена не только под ним — всюду: понятно сразу, что каждая травинка здесь выщипнута также аккуратно, как всякая лишняя волосинка на бровях у красавицы.

Оно, конечно, понятно: справа живут молодые, мать которых, Люда, никак не может расстаться с севером... Самолетом привезла оттуда лайку, и та теперь воет, голодная, так громко, как будто хочет, чтобы Люда в своем поселке Ягодном за Магаданом ее услышала и переправила бы хоть одну-две юколки...

А над молодыми слева шефствует живущий неподалеку отец — почти мой ровесник, года на три-четыре, может, моложе. Мастер спорта по пешеходному туризму, он вроде окончательно успокоился, далеко теперь не ездит: за проржавевшей изгородью сидит на корточках и все продолжает земельку нянчить — выбирает из нее всякий, даже самый меленький камушек.

Кричу ему с дружеской подначкою в голосе:

— Миша!..Миш!

Он приподнимает и поворачивает голову.

— Миш! — продолжаю.— Может, объявили какой-нибудь конкурс на самый ухоженный участок, и ты вон как уже вперед вырвался, а мы тут ничего и не знаем?

Повожу туда-сюда подбородком: вон, мол, что тут по обе стороны от меня — и кучи бурьяна-старюки, и сухие ветки, да и вообще — чего только нет.

— Да правда что,— говорит он мироюбиво.

Иду поближе к изгороди — поздороваться с ним. Он останавливается возле саженца высотой метр, не больше: такие тонкие прутики отходят от тоненького ствола, такие яркие — ну, краснотал и краснотал, когда он только начинает наливаться тугим весенним соком на опушках в тайге да вдоль дорог — кончики торчат еще над такими сугробами!

Деловито спрашиваю у Миши:

— Персик, что ль?

— Да вот,— говорит он якобы с ленцой.— Этот посадил и еще два: один — ранний, другой поздний...

Персик все-таки!

Еще узнаю.

Но первым-то делом в голову пришло: краснотал!

Красный змей

Ветеран, бывший офицер, летчик-фронтовик, раненый-перераненый, теперь уже давно — согнувшийся дед, в станице, где он жил-доживал, вывешивал над своим домом на «майские» да на «октябрьские» праздники красный флаг...

Крошечный дом его оплел буйный виноград, давно перекинувшийся на соседние деревья, высокие кроны их сорсем загустели — выгоревший чуть не добела флаг еле виднелся не только посреди летней зелени, но и в гуще голых осенних веток.

Соседи стали подначивать: или, мол, ты «дерьмократов» боисси — у такие кущари свое боевое знамя запрятал, что его и не видать совсем?.. Оно у тебя как «у войну — дезертир у кукурузе»!

И тогда он смастерил большого «змея», окрасил бумагу ярко-алым и поднял его на седьмое ноября под ветерком над центром станицы: как сам в последний вылет поднялся.

И деда начали звать «Красный змей», кличка тут же приклеилась: не только дети стали пальцем показывать и кричать, как водится, вслед — у взрослых прозвище тоже прочно вошло в обиход: мол, а где это? Да сразу за «Красным змеем» — «у проулке»...

Он комнату студентам сельхозтехникума сдавал — однажды пришла стайка, девчат:

— Краснозмеев, дедушка, это — вы?

Хотел дед как лучше...

Пробуждение среди полета вслепую

Спасибо вечернему чайку: поднял меня среди ночи.

И посреди сна...

Будто бы вошел я в просторное помещение, амфитеатром устроенное — что-то среднее между цирком, который, конечно же, всегда живет в моей памяти, и полузабытой «Коммунистической аудиторией» старого Университета, на Моховой, 11...

Легко прошелся внизу, несильно оттолкнулся и плавно взлетел. Без всякого напряжения сделал несколько кругов, иногда, будто голубь — но не так резко — переворачиваясь, и «приземлился» среди аплодирующих моему полету людей в самом верхнем ряду...

Не знаю, что это были за люди, но аплодировали они долго и искренне, просили меня повторить полет, и я им сказал: «Сейчас я попробую… Не знаю, получится или нет — заранее на это всегда сложно ответить... Но я постараюсь. Я буду очень и очень стараться. И хочу вам сказать заранее: если у меня что-то выйдет, то это только благодаря Запсибу. Уменьем этим я обязан только ему, и все должны это знать...»

По сторонам и снизу поддерживали: мол, вон вы снизу-то как — сверху проще!

Я стоял, готовился взлететь, думал: ничего не проще, нет.

Выбирал момент, чтобы не просто камнем броситься, а сразу же взлететь плавно...

Пожалуй, сон шел цветной, потому что люди, сидевшие в цирке-аудитории, одеты были очень пестро, а на самом мне был идеальный костюм стального цвета, в котором я ощущал себя очень комфортно. Не серого — именно стального...

И точно такого же стального цвета был пятачок внизу, будто подбитый тем же материалом, из которого пошит мой прекрасный, очень ловко сидящий на мне костюм.

Полет не состоялся, потому что тут я проснулся и отправился в сени — слегка охладиться...

Вернулся и, как мне показалось, долго лежал, внушая себе: запомни, запомни сон — не заспи!

Ты ведь переживал, что давно уже не летаешь — вот оно! Оказывается, от тебя не ушло. Если бы не проснулся — и этот сон не застал в собственной башочке, пронесся — и нет его!

Оказывается, летаешь, дружок мой, летаешь — только не всегда нам известно об этих наших полетах...

И все же я его чуть-чуть не заспал...

Уже после обеда по дороге в баню вдруг вспомнил: а сон-то, сон?!

Хорошо, что все-таки вспомнил!

И стало весело и чуть грустно: вот как сидит в подсознании Запсиб!.. Всем, всем ему обязан — даже этими тайными ночными полетами.

Слепыми.

А потом вдруг подумал: а цвет-то костюмчика, милый, на тебе был — стальной!

Не какой-нибудь, нет...

Теперь вот думаю: костюмы у бывшего генерального директора Айзатулова у главного нашего сталеплавильщика — тоже стальные в основном... Он-то одевается так осознанно?

Может, подсознание под него, под «стального Рафа»- то и сработало?

Под Рафика Сабировича. С легкой моей руки — Западно-Сабировича.

С внезапной грустью вспомнил Гагру поздней осенью и зимой, долгие прогулки с Юрой Казаковым — светлая тебе память, Юрий Павлович, и Царство Небесное!.. Вспомнил его дружески-сердитое наставление: «Забудь свой З-за-падно-Сибирский завод... З-забудь это слово — З-запсиб, и станешь хороший русский писатель...»

Станешь тут, как же!

Четвертый анекдот

Летом 90-го в «Литературной газете» вышла полоса под крупно набранным, пугающим честной народ заголовком: «ШАШКИ К БОЮ ГОТОВЫ: ОСТАЛОСЬ НАЙТИ ВРАГА.» Само собою — о казаках, собравшихся рубить головы с пейсами.

Основой полосы была полная искажений, подставок, многозначительных недомолвок и откровенной брехни беседа со мной, в ту пору — «московским атаманом».

Кое-кто из старых знакомых после этой беседы перестал со мною здороваться. У тех, кто знал меня ближе, появился повод для бесконечных подначек.

Только Михаил Андраша, известный писатель-юморист, увидал в неоднозначном моем положении перст судьбы и предложил немедленно использовать это положение в практических целях: «Представляешь, как после этого пошел бы составленный тобой сборник казачьих анекдотов? Есть такие? Если нет — тебе предоставляется блестящая возможность их

сочинить. И ты не только ответишь своим обидчикам, но и вообще многое прояснишь и заставишь людей смеяться... Тебе ли объяснять, что такое — во-время улыбнуться?»

Дело было в Голицыне, в уютном Доме творчества, где я корпел над переводом романа «Сказание о Железном Волке» своего кунака Юнуса Чуяко, адыгейца. Уже погромыхивало в Абхазии, я спешил, но живший в одной из соседних комнат Андраша был неумолим.

«Придумал — нет? — первым делом спрашивал, входя в комнату.— Пойдем погуляем: может, что-нибудь на ходу придет...»

Заставил меня в конце концов вспомнить старый анекдотец о том, как казак со своим дружком проводит день до вечера за столом с выпивкой и щедрой закуской, которую жена его подает посреди своих, которым конца не видать, тяжких хлопот. «Почему бы тебе не помочь ей?» — спохватывается увидавший, как она бьется с многочисленными детьми да с обширным хозяйством, друг казака, его собутыльник. «Да ты что это? — удивляется казак.— Вдруг завтра война, а я — не отдохнувши?!»

«Думай еще,— настаивал Миша.— Думай!»

Через несколько дней сказал ему:

«Молодой казак жалуется старому: не могу, дед! Глянешь, что творится вокруг,— и руки опускаются!» «Это ничего, внучек! — отвечает дед.— Лишь бы почаще опускались да в каждой бы руке — по нагайке!»

«Спецанекдот для Киселева, так! — тут же определил мудрый Миша: автором нашей залихватской беседы был киевский собкорр «Литературки» Владимир Киселев.— Поздравляю тебя: пошло дело. Но ты не расслабляйся: думай дальше.»

— Это тебе персонально,— сказал я через несколько дней.— По просьбе трудящихся, так сказать: может ли еврей стать казаком? Да, может, если обрезание ему шашкой делали...

— Годится,— одобрил Миша.— Давай-давай, я кажется, почти договорился с издателем...

Потом мы разъехались по домам, и мне пришлось брать билет уже до Майкопа, потом... Сколько всего потом при быстротечной теперешней жизни произошло!

О нашем с Мишей Андрашой договоре вспоминал лишь иногда, и то — как бы краем сознания, самым краешком...

Но вот на днях раздались короткие и настойчивые телефонные звонки, я снял трубку, и нарочито вкрадчивый голос осторожно спросил:

— Я правильно попал? Это Исаак Моисеевич? Батька Кондрат вас еще не разоблачил?! Ви — по-прежнему кубанский казак Гарий Немченко?

— Ах ты, старый антисемит! — радостно заорал я.— Здорово, Илюша!

— Наш агент в Иерусалиме донес,— сказал он там чрезвычайно серьезным тоном,— что на днях вам стукнет шестьдесят пять, но, несмотря на это, у вас по-прежнему не имеется казацкой шашки... неужели-таки это правда? Встречайте в таком случае кемеровский поезд, начальник в десятом вагон, звать Валерий Александрович — он вам от нас вручит.

От бессменного, значит, постановщика всех мало-мальски заметных в чумазом нашем Кузбассе праздников и непременного их ведущего, от фонтанирующего, даже когда спит, поэта и пародиста, талантливого хохмача, старинного кемеровского дружка, «морозоустойчивого сибирака» Ильи Ляхова — шашка первому московскому атаману, а?!

Но ведь и шашка — первая.

До друга Илюхи, до Ильи Яковлича, никто ведь подарить так и не удосужился: все на себя цепляют казачки, все — только о себе...

Лишь фантазер и пересмешник Илюха мог от сердца оторвать: для товарища... Или в том и дело, что она ему — ни к чему?

Был бы жив Миша Андраша!

Постскриптум:

Этот коротенький рассказик я, растрогавшись, написал еще до того, как встретил потом кемеровский поезд.

Вместе с завернутой в белую бумагу и хрустящий целлофан шашкой начальник поезда передал мне конверт, в который вложены были стихи:

Наш возраст
никуда никто не денет,
о прожитом нисколько не жалей.
Казак без шашки —
как...
еврей без денег.
Особенно
в столь славный юбилей!
Мы Немченко
давным давно узнали:
ты и сегодня к подвигу готов!
Размахивай
клинком кузнецкой стали,
руби по я...цам
клятых литврагов!
Как прежде,
молодым шагай сквозь годы,
у власть имущих

блага не моля,
наш юный
юбиляр седобородый!
Будь счастлив!
Обнимаю!
твой Илья.

Был бы жив Миша!

Бросок в Ставрополь

По междугородной позвонил мне в Майкоп отец Сергий и говорит: а не хотели бы вы проехать со мною в Ставрополь?... А что там, батюшка, спрашиваю, будет-то?.. Он помолчал, разглядывая, видимо, какую-то присланную ему официальную бумагу: «Будет вот что. Организационное заседание межконфессионального миротворче-ского совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе — вот что будет. Владыка Исидор наш слегка приболел — благословил меня от епархии поехать... Из Майкопа на автобусе доберетесь? А тут сядем в машину...»

Все понял, но начинаю юлить, жалкий человек: а я-то, мол, какое отношение — к этому заседанию, батюшка?

— Проводит сам Казанцев,— отвечает он с миролюбивым терпением.— Разве это не шанс?.. Саша набело перепечатал на компьютере ваше письмо ему. Подпишете и — отдадим. На этот раз — прямо в руки.

Так не хочется отрываться от стола, тем более, что работа пошла, втянулся, наконец-то,— ну, батюшка! Десятка полтора лет назад, когда познакомились в родной моей станице Отрадной, «выйти за ограду храма» звал я его, а он упирался чуть не в прямом смысле: у нас, мол, это не принято — завлекать, человек сам должен к Богу прийти, это сектанты и стучатся в квартиры, и ловят народ на улице...

Тогда в Отрадной сперва уговорили его сняться в документальном фильме «Хранитель»: в рясе и в клобуке батюшка поднимался к полуразрушенному храму св. Георгия — единственному, что осталось от древнего Шоанского монастыря, расположенного высоко над осетинским селом Коста Хетагурова в Карачаево-Черкесии: над православной «Осетиновкой». Потом вместе с режиссером Игорем Икоевым, успевшим снять уже второй фильм о наших местах — «Где Ложкин прячет золото...» — упросили батюшку прийти на просмотр и сказать коротенькое слово в кинотеатре, который — обычное

дело! — находился в здании бывшей Рождество-Богородицкой церкви. После, заметно смущаясь, он прошел в районном Доме культуры в президиум и сел рядом со своими недавними гонителями из райкома партии: от неожиданного соседства тоже потупившимися...

Затем раздался его звонок в моей квартире в Москве: это, мол, верно, что вы вошли в число учредителей университета в Отрадной и приедете на открытие?.. В таком случае тоже, пожалуй, соглашусь.

Вскоре его перевели в Армавир — благочинным округа и настоятелем Свято-Троицкой церкви. Когда там увиделись, он повел к фундаментам неподалеку от храма:

— Догадаетесь, что здесь строим?.. Не университет, правда,— и руками развел: куда, мол, нам до Отрадной! — Институт всего-навсего. Православный.

К середине 2001-го, когда мы сидели летом в нашей квартире в Москве и вели неторопливый, с моими долгими вздохами, разговор о родной Кубани, основанный отцом Сергием Токарем Армавирский Православно-социальный институт, имеющий теперь статус государственного, уже успел сделать три выпуска и вел восьмой набор студентов: на три факультета. Хлопот у батюшки-ректора было хоть отбавляй, но он собирался взять на себя еще одну, новую заботу: только что Владыка Арсений, глава канцелярии Святейшего Патриарха, благословил отца Сергия основать училище, которое должно готовить войсковых священников, и батюшка созванивался теперь с большими армейскими начальниками, пытался договориться о встрече...

Само собой, я радовался успехам своего земляка и, смею верить в хорошие дни — соратника, но, когда стал ему рассказывать о своих делах, в голосе у меня наверняка послышалась грусть... Хвалиться мне было нечем.

Надо сказать, что в Москве северокавказцу из русских вообще не так-то просто живется. Хоть горцы и обижаются на это, само собою дурацкое — «лицо кавказской национальности» — но тем не менее они сплочены диаспорой, объединены непременно работающим в столице представительством, да и вообще, вообще — с молоком матери приобретенной родовой привычкой к взаимопомощи, которой русским остается только завидовать... Сам ты никому не нужен, и москвичам — в первую очередь. У них, видите ли, свое представление и о Кавказе, и о его многочисленных проблемах... деваться некуда! Еще в прошлом веке над чиновниками, много лет на Кавказе прослужившими, посмеивались — не вынесли, мол, никаких знаний об этом уникальном крае кроме того, что жареный фазан очень хорош под кахетинское... Что скажешь тогда о современном чиновнике? Предшественники его по сравнению с ним были просто гигантами!

И что тогда говорить о москвичах, за пределы Садового кольца ни разу не выезжавших, но тем не менее имеющих свое «видение» Кавказа?... Стригут

библиотечную «ксеру», из которой по принципу «детского конструктора» составляют свои якобы глубокомысленные компиляции... эх! Сколько раз вставал я и уходил с посвященных нашим южным проблемам писательских собраний: не то, чтобы скучно было — стыдно!

Как-то уже приходилось рассказывать: к 70-летию профессионального джигита Ирбека Кантемирова, циркового наездника, народного артиста СССР, дал о нем в московскую газетку статью, в которой кроме прочего написал, что по дружескому уговору мы с ним, несмотря ни на что, пытаемся жить в Москве по горскому этикету... Утром спешу в киоск, покупаю десяток экземляров — юбиляру в подарок, а дома открываю газету и в изумлении долго молчу... Вместо «по горскому» в статье стоит: по городскому!

Еле дождался начала рабочего дня, звоню в редакцию, а они мне: думали, у вас опечатка — решили поправить. А что, есть такой этикет — горский?.. А скажите мне, вопросом на вопрос отвечаю: есть такой в Москве у нас нынче — городской? Это не по нему ли шестнадцатилетняя кроха должна идти по улице с откупоренной бутылкой непременно в левой руке, а сигаретку держать — в правой?!

Два года назад Ирбек Кантемиров неожиданно скончался вдалеке от Москвы, в городишке на Юге, где навещал на конном заводе последнего своего скакуна, тоже давно — «пенсионера»... Знаменитого на весь мир наездника похоронили в родном Владикавказе на Аллее Героев, там теперь стоит памятник ему...

Своим товарищеским долгом я посчитал подготовить книгу рассказов об этом удивительном человеке — хранителе высоких горских традиций. Работал над ней и заранее печалился: куда я с ней пойду?.. Кто и на какие шиши ее издаст?

Сошлось так, что почти готова была еще одна «кавказская» моя книжка, а тут вдруг прислал свою ну, прямо-таки очень «сырую» рукопись Чуяко: помогай, кунак!

Отказал бы — не до того. Но случай-то, и в самом деле, особый: «Милосердие Черных гор, или смерть за Черной речкой» — повесть о Пушкине. Святое дело!..

Но... кабы только святым Духом и питались мы нынче. И в железнодорожной кассе билет бы получали за «Христа ради»...

Когда-то считалось, что профессия писателя по нер-вным перегрузкам сродни шахтерской... И уж коли черная не только от угольной пыли «шахтерская революция» первым делом самих горняков ниже прожиточного минимума давно опустила — какое дело ей до писателя!

— Невостребованность, батюшка, не одного меня угнетает,— многих,— говорил я отцу Сергию.— Не только в Москве, где много наших земляков

пером добывают хлеб насущный,— то же самое и на Кубани, и на Ставрополье, и в горских республиках — я ведь нет-нет да вижу кого-то из друзей: беда общая! Я даже не о себе: мне еще как-то удается держаться. И даже не о нас обо всех. О положении дел на Северном Кавказе: хотели бы помочь, да не нужны... Что может быть печальней?

— А не хотели бы написать обо всем об этом Казанцеву? — немного помолчав, предложил мне вдруг мой собеседник.— От его встреч со священническим кругом у меня осталось впечатление, что настойчиво ищет и духовной опоры, и хочет помощи... Благословляю вас на такое письмо пока я, а там с Владыкой Исидором поговорю — не сомневаюсь, он тоже благословение даст...

И вот вышагал я в раздумье как бы положенные перед таким непростым делом километры... И неделю потом не отрывался от письма, которое должен был, я на это надеялся, прочитать державный человек — хлебнувший на Кавказе лиха генерал-полковник Казанцев...

Написал давно выношенное: что «войной кавказскую проблему не решить: на смену обоюдно кровопролитной осаде давно уже должен придти мозговой — штурм, основанный, как на достижениях информационных технологий, так — и это не менее, а, может быть, еще более важно — на традиционных для Кавказа духовных ценностях». Что оно-то и должно быть восстановлено в первую очередь — нарушенное духовное пространство. Что для этого необходима не только четкая культурно-нравственная концепция, включающая как новейшие наработки, так и веками проверенные старые (создание кадетских училищ, где совместно обучались бы представители разных народов, в том числе горцев и казаков, и где непременно преподавался бы один из кавказских, в зависимости от места расположения училища, языков, а также основы арабского и турецкого (тюркского). Что необходима самая широкая пропаганда лучших из тысячелетних традиций кавказского этикета — рыцарского «кодекса чести.» Что надо учесть опыт аталычества и ученичества — канства для детишек и молодежи, форму которых наверняка можно приспособить к современным условиям. Что надо поощрять на государственном уровне побратимство и куначество среди взрослых...

Посчитал нужным включить в письмо и конкретные предложения по своей, «писательской» части: возрождение переводческого дела на государственной основе. Создание общего для Северного Кавказа журнала с объявлением в первом же номере миротворческого литературного конкурса. Поощрение специальными премиями: « Кавказская премия Пушкина», «Кавказская премия Лермонтова», «Кавказская премия Толстого», а также премиями национальных горских просветителей — какая, не удержусь, откроется плеяда полузабытых Россией, занятой нынче совсем другими проблемами, блестящих имен!

На основе конкурса можно начать издание современной «Библиотеки народов Кавказа», которая включила бы в себя также произведения, давно здесь ставшие классикой: вспомним лишь «Последнего из ушедших» абхазца Баграта Шинкубы или «Из тьмы веков» ингуша Идриса Базоркина — а сколько еще можно назвать достойных авторов, сколько прекрасных книг?!

Написал я об этом обо всем и копию отправил батюшке в Армавир. В подмосковном сельце под Звенигородом, где в то время работал, получил вскорости из Ростова короткое извещение из управления Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе: мол, ваше письмо находится на контроле... Но сколько же ему находиться там? Да и дошла ли, и правда, моя «грамота» до адресата или так и блуждает в администрации по кабинетам помощников?

И вот — оторвавший меня от работы звонок от батюшки из Армавира.

С другой-то стороны: назвался груздем — полезай в кузов. Делать нечего — надо ехать!

Армавир встретил мелкой осенней мжичкой, но когда выехали на трассу и взяли курс на Ставрополь, дождь припустил такой, что «дворники» батюшкиной «самары» едва справлялись с потоками на лобовом стекле... Саша, сопровождавший нас старший сын отца Сергия, сидел позади, а я на переднем сиденьи рядом с батюшкой то и дело наклонялся влево и вправо, пытаясь всмотреться в хорошо знакомые места, в которых столько лет не был. По обе стороны от нас простиралась та самая «Долина Ажитугай», описанная Султаном Казы-Гиреем в одноименной его повести: в 1836 году Пушкин напечатал ее в том же номере своего «Современника», где было опубликовано его «Путешествие в Арзрум» — в Майкопе я только что сидел над текстами того и другого.

Там и тут вдоль дороги встречались отмытые дождем легковушки и мокнущие возле них кучки овец. Сперва показалось странным, что при обилии техники, на которой можно не просто гонять по равнине — и в самом деле, стадами скотину гнать, отары стали такие крошечные, но вот рядом с лежавшими около «жигуленка» овцами промелькнула вздетая на крюк туша... выходит,— придорожный сервис: хочешь — клади в багажник живого барана, хочешь — уже освежеванного...

Невольно головой качнул, и батюшка понял это по своему:

— Хотите сказать, что в такую погоду хороший хозяин собачку дома оставит, а я вас вызвал,— сказал с нарочитою виной в голосе.— Не жалеете, что поехали?.. Помню, как-то сказали о себе: массовик, мол,— затейник. Я тогда посмеялся, а нынче и сам себя на том же ловлю...

О чем он, я хорошо понимал. Признался как-то, посмеиваясь: когда, мол, в восемьдесят восьмом впервые вытащили в президиум — шел, ноги подкашивались, сердце стучало так — казалось, и в зале услышат, а нынче приходится по нескольку раз в день и на собраниях бывать, и открывать

двери важных кабинетов, а то и за столом сидеть после крестин в доме у «новых русских» — и что же? Как так и надо. Нынче без широкого общения, и в самом деле, нельзя. Так что спасибо, мол, «киношникам» за ту «отрадненскую прививку»!

Кого только нынче он, и правда, не окормлял: как-то в Москве повонили домой бойцы-рукопашники. Мол, можно зайти? Письмо вам — от отца Сергия... Чуть ли не первым делом спросил теперь о них в Армавире, и батюшка разулыбался: «У них все хорошо. Дали им большое помещение, так они, знаете, что?.. Давайте, говорят, отец Сергий, в одной из комнат откроем церковь? Пришлось маленько охладить: не торопитесь. Устройте там пока библиотеку с православными книжками, в храм ко мне почаще заглядывайте, поститесь и причащайтесь — готовьтесь потихоньку... представьте, стали чаще ходить!»

Дорогу к Епархиальному управлению батюшка нашел в Ставрополе безошибочно — это на обратном пути пришлось нам немножко поплутать...

Но тут придется сделать небольшое лирическое отступление... О сибирском товариществе. Можно?

Три десятка лет назад, во времена якобы всеобщего безбожия, жена Ивана Григорьевича Белого, секретаря парткома с нашей «ударной-комсомольской» в сибирском Новокузнецке, Роза Каримовна, подарила мне старую, семнадцатого века, икону: «Огненное восхождение святого преславного пророка Илии». Сказала, не вдаваясь в подробности: «Вы это любите — сыновья домой принесли. Отобрала у них — еще затаскают...»

Икона эта была с нами, когда мы вскорости перебрались в Майкоп, была в Краснодаре и среди других висит теперь в «красном углу» рабочего кабинета в Москве... Все эти годы я постоянно возвращался в Сибирь, подолгу там живал и несколько лет работал «инженером лаборатории социологии» на родном своем Западно-Сибирском металлургическом, на Запсибе. Так вышло, что мне пришлось стать одним из инициаторов восстановления полуразрушенной церкви в старинном селе Ильинском: сперва уговорил бывшего генерального директора комбината Бориса Александровича Кустова завернуть к ней вместе со всем своим всесильным кортежем, когда мы ехали мимо... Потом, когда он, отзывчивая душа, удивился разору, царившему в храме и вокруг, я и воодушевлять его на доброе дело принялся, и слегка подзадорил... Храм во имя пророка Илии, старинного покровителя Кузнецка, восстановили стремительно — да в какой, в какой красоте! — и только потом уже, когда его торжественно освятили и когда через день после этого молодой настоятель отец Михаил нас с женою в нем обвенчал, все, все у меня в «ударной- комсомольской» моей башочке сложилось: и зачем икона пророка Илии, старинного покровителя Кузнецка, была мне давным-давно подарена, и почему в моем гостиничном номере лежит теперь благодарственная грамота Кемеровского Владыки Софрония и подписанный им собственноручно новенький том Библии...

«Не мне, не мне, но — имени Твоему», как верующие наши предки говаривали.

В сияющем храме, пропахшем увядающими листьями березы и ладаном,— дело было на Троицу — мы с женой и с друзьями, «поручителями» нашими, полукругом стояли после венчания напротив ильинского батюшки, в который раз восхищаясь великолепием всего восстановленного и устроенного заново, и он сказал, тоже умиляясь:

— Эх, видел бы все это Владыка Гедеон — теперь он в Ставрополе, а тогда был нашим Новосибирским Владыкой, в Кемерово епархии еще не было... Когда первый раз вошли сюда вместе с ним, все разбито, разрушено... На полу телята лежат... Один подошел к нему, голову вытянул и — смо-отрит. Владыка положил ему руку на шею, погладил, а у самого в глазах — слезы...

— Владыка Гедеон — казак, батюшка,— сказал я тогда отцу Михаилу.— Мой кубанский земляк. Если удастся когда-нибудь быть с ним рядом — непременно подойду, расскажу ему...

Мог ли я, ответьте, такою возможностью теперь не воспользоваться?!

В Епархии было не протолкнуться: священноначалие с Северного Кавказа, гости из Ростова, Волгограда и Астрахани...

— Попробуем попасть, попробуем,— утешил меня мой армавирский друг и духовный наставник.

Подвел к секретарю Владыки:

— Тут не совсем обычное дело, отец Леонид — пожалуйста, выслушайте писателя.

— Где это было — еще раз? — переспросил секретарь обремененный заботами наверняка посерьезнее моих.

— Сибирь, отец Леонид,— заторопился я.— Новосибирская Епархия. Храм Ильи под Новокузнецком...

У него был вид опытного царедворца — положение, как говорится, обязывает,— и тем не менее, одной только интонацией отделяя нас с батюшкой от остальных желающих к Владыке Гедеону попасть, он негромко сказал:

— Подождите, пожалуй, гм...

До начала общего нашего мероприятия ставалось всего-ничего, Владыка все занят был предстоящим своим выступлением, и помощники его уже поторопили остальных отправиться на заседание: в приемной остались лишь мы с отцом Сергием.

— Наверное, не удастся нам,— вздохнул батюшка.— Отец Леонид наверняка хотел бы вам помочь — сам из Иркутска...

— Иркутянин? — переспросил я. И заступил дорогу готовому войти в кабинет Владыки секретарю.— Отец Леонид!.. Неужели мне останется передать Валентину Григорьичу Распутину, что сибирское товарищество в Ставрополе уже умерло?!

Эх, как у него блеснули глаза!

И какой молодой голос, что-то радостное объяснявший Владыке, послышался потом из-за плотно прикрытой двери...

Владыка вышел уже во всем облачении. Глаза его тоже сияли далекой молодостью.

Сложив ладони для благословения, я торопливо принялся за свой сбивчивый рассказ, но он не стал класть руку на мои, лодочкой, а поднял правую и всей пятернею хорошенечко шлепнул по голове... не помню, и правда, более сердечного жеста, будто соединившего в себе общее наше сибирское прошлое с кавказским настоящим! Нет, правда: Владыка словно заботился, чтобы благословение его подольше оставалось в писательской башочке — он будто вбил его и слегка попридержал. Зафиксировал.

«Самара» наша потом едва поспевала за «мерседесом» Владыки, мест в небольшом зале уже не было: не только за громадным «круглым» столом, но и на креслах второго ряда, и на стульях вдоль стен. Распорядители едва успели найти нам с батюшкой два местечка недалеко от входа, и вот уже заседание началось, и сказал свое краткое вступительное слово Полномочный представитель Президента Казанцев, заговорил Владыка Гедеон... но почему в зале слышится и полушепот, и разговор погромче?

Еще раз оглядел всех, кто только мог мне быть виден: епископы в рясах и клобуках, муфтии — одни в высоких серых папахах и цивильных костюмах, наши, другие в халатах и тюрбанах — татары с Волги. Раввин с ермолкою на самой макушке... Похожий усиками на Лермонотова молодой генерал в голубой форме юриста. Несколько человек за столом были в обычной штатской одежде, самый молодой из них дружелюбно поглядывал на батюшку, и батюшка, ответив ему на уважительный кивок, тихонько сказал мне: «Выпускник наш. Армянская церковь.»

Речь шла о вещах серьезней некуда: Межконфессиональный миротворчесий Совет создавался на постоянной основе, надо было определить будущий состав его и рабочую группу. В розданных участникам документах предлагался проект заявления о строгом осуждени «экстремизма и терроризма во всех их проявлениях» и каких бы то ни было попыток придать ему межнациональную или религиозную окраску... а в зале все упорно продолжали бубнить, что такое? Неужели даже в такой высокодуховной аудитории... и вдруг я понял: в разных концах работали переводчики, усердно толмачили что-то на ухо хорошо одетым господам с лицами как бы сладко-приятными и в то же время малоприметными, как бы со стертыми в длительных поездках по разным странам и континентам чертами: пасторы!

Кто только не значился в списке участников: кроме представителей традиционных верований — и «евангелисты-пятидесятники», и «Адвентисты Седьмого дня», и «христиане-баптисты»... Вообще-то, если на то пошло, то слово могли бы получить и они, тоже как бы давно свои, куда денешься — «российские», как нынче принято... Но-вслед за сановитыми священниками и муфтиями объявляют сперва германского пастора Освальда Вутцке, «генерального уполномоченного евангелическо-лютеранской церкви по Северному Кавказу», а вслед за ним следует: американец Нэд Кларк Арнольд, представитель «церкви Иисуса Христа святых последних дней по Южному региону»...

Не знаю, что при этом подумали остальные из участников высокого собрания, а мне, грешному, представлявшему тут давно известную на Руси организацию «Сбоку припека», опять вспомнился бессмертный наш Александр Сергеевич: «Сколько их, куда их...» Ну, с немцами понятно, еще от государя Петра Алексеевича, но американец, который рассказывает, что у президента Буша на приеме, где тоже осудили терроризм, среди руководителей двадцати шести религиозных объединений и он, значит, присутствовал... Хочет, чтобы и у нас их было не меньше?

«А-енасын»! — как черкесы говорят.

Примерно: «Надо же»!

Но мало, мало того, что обоим дали слово — когда объявили перерыв, то они первыми нашего Виктора Германовича и «ограчили», оттеснив своих, которые, по привычной скромности своей терпеливой жались сзади... Но батюшка с папкой, где лежали общие наши письма, сам упрямо пробирался вперед и меня подталкивал: «Давайте, давайте, не стесняйтесь — никто за нас этого не сделает!»

Развязал, значит, руки старой сибирской школе. Вернее сказать,— язык.

И я почти закричал:

— Да что же это?! Опять переводчики с немецкого да английского, а если с адыгейского переводишь — никому до тебя и дела нет?! Непр-р-раильна!

Симпатичный человек средних лет с бумагами в руках тоже взялся, дружелюбно посмеиваясь, подталкивать к Полномочному представителю. Батюшка сделал отчаянную попытку представить меня: мол, с благословения Владыки Исидора еще три месяца назад послал вам письмо.

— Не получал! — по военному коротко отрезал Казанцев.

— Да как же, как же?! — зачастил я, называя фамилии московских заместителей Казанцева.— И Слепцов вам должен был доложить, и Акульчев обещал...

— Писателям на Северном Кавказе журнал нужен,— взялся помогать батюшка.— Который бы всех объединил...

— Нужен такой журнал, Виктор Германович? — перехватил я.— Обращаюсь не только как к большому чиновнику. Не только к державному человеку — еще и — к колеге нашему, который тоже умеет перо в руках держать... нужен?!

— Нужен! — как бы приказал Виктор Германович с напором уже не только начальственным, но и сердечно-дружеским, словно солнышко из-за туч пробившимся и сквозь озабоченность делами куда боле важными, и сквозь хлопоты нынешнего заседания.— Делайте!

— Библиотека народов Кавказа нужна!?

— Нужна!

— Кавказская премия Пушкина? Лермонтова?.. Толстого?!

— Все верно!

Этот, с бумагами в руках человек, который как бы одним сочувствием своим явно помогал в разговоре, сказал простосердечно:

— Надо было сразу ко мне, это по моей части,— и руку протянул.— Епифанцев. Сергей Николаевич. Заместитель Виктора Германовича по делам культуры в том числе…

...Отец Сергий звал в Армавир, у него переночевать, но я заторопился обратно в Майкоп: за рабочий стол, где ждала рукопись моего кунака-черкеса. Повесть о Пушкине.

Подошли с батюшкой к Майкопскому Владыке, к Пантелеймону, и он посочувствовал: что бы вам в начале не подойти? А теперь «экипаж» укомплектован: беру с собой краснодарцев на ночлег... И тут же попридержал меня: а давайте подойдем к нашему муфтию — у него наверняка должно быть местечко.

За руку, что называется, подвел к высокому и стройному адыгейцу в темносерой папахе... Привыкший иметь дело с наездниками братьев Кантемировых — и покойного Ирбека, и брата его, ныне здравствующего Мухтарбека, чья — давно подаренная мне — иконка святого Георгия, покровителя путников, и теперь лежала в нагрудном кармане моего пиджака,— невольно отметил и стать молодого муфтия, и красоту мужественного и в то же время приветливого лица: настоящий черкес, ей!

Снова мчались по тем же местам теперь с ним, председателем Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края, муфтием Инвером Шумафовым, и в нас обоих, не сомневаюсь, жило это чувство: кому-то из участников нашего высокого заседания надо еще добраться до дома — только потом начнут они претворять в жизнь общие миротворческие планы, а мы — вот оно, душевным разговором начали это доброе дело уже по дороге...

Объединяло и то, что были мы с уважаемым муфтием земляки: родом он из аула Урупского — Отрадная моя всего лишь тридцатью километрами дальше.

Спросил о провожавшем нас батюшке — мол, кто он и откуда? — и я вдохновился, ну еще бы!

— Расскажу вам, уважаемый Инвер, одну историю... Было это в восемьдесят седьмом, когда батюшка начал перестраивать в Отрадной нашу Рождество-Богородицкую церковь. Райком запретил ему помогать, дело совсем стало, и он решил поехать к соседям, к ставрополям, как у нас: вдруг чем да разживется. В первом же ауле, в Мало-абазинке, зашел в лавку... что там тогда? В сельмаге. Лопаты да хомуты. Селедка да пряники. Стоит он, голову опустил. Продавщица с кем-то из своих раговоривала, потом спрашивает: а вам — что? А батюшка: нет, видно вы мне не поможете. Мне кирпич нужен. Цемент нужен. Лес. И признался: священник я. Церковь в Отрадной строю. Тут подходит к нему черкес уже в возрасте, который разговор этот слышал: почему не поможем?.. Сколько тебе цемента, батюшка? А кирпича? А леса? И когда тебе привезти — назначь время... Но самое интересное, уважаемый Инвер: рассказывал мне об этом не батюшка. Рассказывал тот самый черкес, который тогда помог ему...

Сидевший рядом с водителем муфтий еще повернул голову, чтобы взглянуть на меня:

— Он сам рассказывал?

А я на мгновенье смолк...

Когда соберусь об этом удивительном человеке написать, в конце-то концов? Один из тех, чьим должником себя считаю — давно!

В Мало-абазинке, где со старшим сыном, Сергеем, и с моими двоюродными братьями, его «дядьями», искали вчерашний день, как можно сперва подумать,— то место, где жили когда-то в ауле наши предки по маме, Лизогубы, нас подвели Ахло Яхьевичу Гогушеву: «Он может знать. Он все знает.»

Кое-что он, и правда, знал: а ведь сколько лет с тех пронеслось, с дореволюционных времен — сколько лет!.. Но он всегда любил слушать, что старшие рассказывают — всегда.

И когда мы уже, постояв под раскидистым орехом на краю бывшего «лизогубовского плана» — широкого и длинного огорода, на котором чуть не половина аула до сих пор сажала кукурузу и сажала картошку,— засобирались домой, Ахло Яхьевич спросил:

— А это вы не знаете, как я помогал вашему батюшке в Отрадной церковь строить? Вам рассказать?

Он тоже сперва прикрыл тогда глаза и задумался, потом, словно прогоняя воспоминания, качнул головой, и голос его чуть дрогнул:

— Рос почти сиротой. В такой бедности!.. Врагу не пожелаю. А по нашим законам, знаешь, просить нельзя,— обращался ко мне, как к старшему из отрадненцев.— Да и нечего просить, аул совсем маленький. Тоже люди чуть ли не мрут — голод! Чтобы свои не знали... не дай Бог!.. сбегу с горы в вашу Отрадную. Вот иду: голодный, оборванный... А старые жители... не эти, что потом понаехали — законов горских не знают. Казаки. Это, говорят, мальчишонок,— черкес. Абаза. У их нельзя просить. Помрет — не попросит. Давай покормим хуть чем, а то, и правда, помрет...

Русский знал Ахло не хуже меня, и так чутко передавал теперь интонацию старой моей, уже давно ушедшей... эх, навсегда ушедшей станицы, что я и тогда чуть не заплакал от благодарности к нему, и нынче вот, когда пишу эти строки, признаться, слегка разнюнился...

Сколькое мы не сумели сберечь!

Сколькое так бездарно теряем и нынче!

Ну, я-то русак, да еще писатель — мне это простительно: нюнить...

А он тогда подобрался, глянул орлом — хоть тоже глаза блестели от слез:

— Это что ж теперь?! Тот мальчишка Ахло да не помог бы Отрадной?! Это райком стариков не понимал: потому они и проиграли. А у нас да у черкесов...

Когда я рассказал потом отцу Сергию о разговоре с Ахло, он явно растрогался:

— Да что вы: мы не успевали потом принимать этот кирпич. Как начали везти — и днем, и ночью! По самой дешевой цене. А, бывало, у меня денег как раз нет — ведь на старушечьи пятачки строили! А он: потом отдашь, когда будут отдашь, отец!.. А «отец» тогда — чуть не втрое моложе...

Передал теперь, как мог, эту историю муфтию, и он сперва помолчал, а потом снова повернул голову:

— Американец-то этот... как его церковь?.. Никто не против, пожалуйста. Но с другой-то стороны: это ведь не только наш неуспех. Мусульман. У православных тоже отобрал верующих. Хоть сколько, а — отобрал. В успех это не запишешь, разве нет?

И опять меня согрело: оба хорошо знаем, о чем говорим.

Никак нам на Кавказе порознь нельзя: чем дальше мы друг от друга, тем шире щель, в которую какая только неожиданная беда не проберется!

Майкопская «волга» стремительно неслась сквозь дождь, поспевая за еле видными во тьме красными огоньками впереди, обходила их иногда рывком, а иногда упорно и долго, тянулась рядом с мокрыми боками идущих словно напролом тяжелых рефрижераторов и все-таки обгоняла, сваливала уже перед ними направо, на время уступая встречную полосу.

Сидевший за баранкой молодой черкес, откидываясь слегка, двигал плечами, которые от такой езды наверняка затекли, поводил, снимая напряжение, головой, и я думал: приедем в Майкоп, первое, что сделаю — с разрешения уважаемого Инвера похвалю его. Классный водитель у муфтия, классный, настоящий джигит... может быть, это тоже знак?

Всем нам.

Одна ведь у нас дорога, одна.

И, действительно,— общая. И с благодарностью думал в который раз о пригласившем меня на это мероприятие в Ставрополь, в город Святого Креста, армавирском батюшке, отце Сергие... Верно говорит: никто за нас ничего не сделает.

Только сами.

«Черная грязь»

Юнус притащил мне десятка три, а то и четыре книг о Пушкине: завез постепенно на своей бывшей когда-то кремовой старой «волге». Все они — с пожелетвшими закладками, с подлинованными чуть ли не сплошь абзацами и — с почеркушками возле на них — на адыгейском и на русском...

По книгам видно, что работал он долго и добросовестно... Но со мною, например, так: коли подчеркнул — то чуть ли не тут же и забыл.

Наверное, и у него то же вышло.

Листал репринтное переиздание «Разговоров Пушкина» и вдруг наткнулся на давно и напрочь забытое: осталось лишь ощущение, что уже когда-то читал, это точно... А, может быть, оно возникает оттого, что на самом-то деле — всего лишь слышал это название: Черная Грязь... Черногрязская...

Вот этот малый отрывочек:

«Н. И. Тургенев, быв у Н. М. Карамзина и говоря о свободе, сказал: «Мы на первой станции к ней».— «Да,— подхватил молодой Пушкин,— в Черной Грязи».

Только и всего.

Господи: но сколько за этим!

Свобода наша, действительно, застряла в черной среднерусской грязи, обильно политой кровью. В том числе и его — Пушкина.

Размышлять об этом, отталкиваться от этого, исходить — как «от печки» танцевать — можно, и правда, бесконечно... но почему упустил это из виду жирно подчеркнувший строчку черным Юнус?

Тем более, что роман называется «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой»!

Как там? «В черном-черном гробу... лежал черный-черный...»

И вот: и то, и другое черное — горы, и река... А как же русская грязь-то между ними?

Как можно не обыграть это?

Вчера сидели с ним долго, и в этом как раз я его мягко упрекал: не сделал работы, которую именно черкес и должен был сделать! Ну, что лезть в Альфреда де Кюстина и гадости повторять вслед за ним?..

А ты вспомни — тем более, что дедушку Хаджекыза из романа своего, из «Железного Волка» вспоминаешь, сочинителя песен, джегуако— ты вспомни, что Пушкин ведь тоже в каком-то смысле «джегуако», в том числе и на Кавказе — певец русской славы... и тогда простишь ему, двадцати двух лет отроду, ты — теперешний шестидесятилетний дядька-черкес, русской мамкой — нашей культурой — вскормленный, простишь ему, наконец, «пылкого Цицианова» чуть не потопившего в крови Кабарду...

О многом мы вчера говорили, в том числе и о непродуктивности, что ли, этого бесконечного ковыряния в своих исторических болячках... Ты, говорю ему, прав: ты сделал то, что должен был... Сказал правду, на чем ты все настаи-ваешь. Историческую. Но после этой правды, говорю, мне, русскому, который помогает тебе — кто-то из молодых в лицо плюнет, потому что они это прочитают и сделают именно такой вывод: как были урусы сволочами, так и…

Невольно вспомнил, как на обсуждении «Железного Волка» в областной библиотеке, где было сказано столько хвалебных слов, что хватило бы на всю, говорю, вашу писательскую организацию вышел, помнишь, молодой парнишка, красавец, и сказал длиннющую речь на адыгейском — что он, не видел, что в зале половина русских, которые его не понимают,— в том числе и так называемый «переводчик», имеющий, в действительности, дело с подстрочником?..

А, знаешь, мол, какую умную речь он сказал? — Юнус говорит.

Тем более обидно, говорю, если мальчишка толковый... Ведь что выходит? Я выкладываюсь, чтобы твой роман прозвучал достойно, а потом выходит загордившийся именно этим — что роман удался!.. что не кто-нибудь — писатель-черкес, как уверяли там, сказал новое слово в российской литературе... и вот он выходит, и — «моим салом меня по мусалам»...

Неужели в итоге мы с тобой служим именно этому, а не родству и братству?

Это, все-таки, пожалуй, и есть та самая наша русская всемирность... пусть даже ударит по мне?

Но не по всему же русскому.

Иначе — зачем?!

И вот он поехал домой, а я, чтобы отвлечься, взялся за это якобы легкое чтение — «Разговоры Пушкина», и тут же наткнулся на самое главное и на самое болевое: свобода наша — «в Черной Грязи».

Вот поведет Кадочников бровью...

В редкостную свободную минуту, субботним вечером сел с пультом в руке у телевизора какое-никакое кинишко поглядеть, но по всем девяти каналам подряд гнали только мордобой или смертоубийство. Ну, это нынче как бы нормальный ход, ладно. В глаза вдруг другое бросилось: какую кнопку ни нажимал, какой ни включал фильм, «оптом и в розницу» один другого метелили исключительно раскосые умельцы, знатоки восточных единоборств да те немногие счастливчики, все больше само собой — благородные американские парни, которым всеведущие учители-сэнсеи тысячелетние свои, нажитые таинственной Азией секреты по доброте душевной открыли...

Глядел я, глядел, и чуть слезы не навернулись. От обиды, естественно. И от зависти.

Что же это такое, подумал: без черного пояса к драке теперь и близко не подходи? Неужели никто уже и по физиономии не погладит друг дружку без всяких затей — по-простому, по-нашенски?

Нет, правда: как родному кваску-то не взыграть? Ведь если вдуматься, и тут — потеря национальной памяти, беда! Вон с каким остервенением последние ее остатки вышибают из доверчивого зрителя непревзойденные мастера джиу-джитсу, ушу, кунг-фу, айкидо, тэквондо, му-... тьфу ты, какие там еще виды остались?

Почесал я — знаменитый русский прием! — в затылке и не без печального юмора подумал: а сколько бы времени, любопытно, понадобилось кубанским моим землячкам, краснодарским рукопашникам, чтобы из всех телевизионных программ, значит, где по мере возможностей деликатненько, а где с треском вытряхнуть и придуманных сценаристами многомудрых наставников-сэнсеев вместе с их успешно постигающими вековые тайны учениками, все схватывающими на лету молодыми американами, и — суровую монастырскую братию с противостоящей ей совершенно беспардонной гангстерской шатией, и всех остальных умельцев... Ну, сколько?

И кого они для столь почетного — в международных рамках, что там ни говори! — мероприятия отрядили бы?

Невысоконького и ладного Игоря Манаенкова и долговязого Бориса Голуба, двух курсантов, двух всеобщих любимцев, которым чаще остальных предлагают «поработать» в показательных схватках и сам Кадочников, и его главные помощники, два подполковника с кафедры УПД — «Управление повседневной деятельностью» — Краснодарского ракетного училища: тоненький, совсем тростинка Андрей Смирнов в интеллигентных своих очечках или Николай Андреев — высокий синеглазый атлет с удивительно мягкой, прямо-таки детской улыбкой.

Или как раз они и пошли бы: старая школа, как говорится?

А, может, все вместе земляки попросили бы устроить это образцово-наказательное выступление самого основоположника рукопашной школы — в том виде, в каком она нынче существует — Алексея Алексеевича Кадочникова? Патриарха. Великого Мастера. Говорю это с полной ответственностью: великого.

Во время дружеского разговора несколько лет назад он пригласил меня на предстоящий семинар бойцов-рукопашников: лучше, мол, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Назвал дату, и я искренне огорчился: не смогу! Открытие семинара совпадало с престольным праздником в родной моей Отрадной, и я уже дал слово приехать в тот день в станицу.

«Причина уважительная,— серьезно сказал Кадочников.— А если на недельку начало перенесу?»

И поглядел весьма выразительно: не пропадут, мол, мои хлопоты? Приедешь?

С какой благодарностью постоянно вспоминаю столь щедрую уступку Кадочникова моему любопытству! И с какою виной — то обстоятельство, что так и не смог пока отдариться: достойно написать об этом талантливейшем человеке и о его верных соратниках. Другое дело, что яркие, будто в далеком и доверчивом детстве, впечатления тех незабываемых дней, открывших для меня новое знание не только о наших физических возможностях — еще больше о духовных и нравственных, определенно вошли в мои плоть и кровь и сами по себе стали упрямо проявляться в характерах и в поступках героев новых повестей да рассказов: так мы устроены. Но только ли профессиональная это особенность?

Возможность общения с людьми самобытными и самодостаточными — бесценный дар, который судьба нам, слава Тебе, Господи, нет-нет да преподнесет, и непременная обязанность каждого потихоньку раздавать потом его остальным, делиться с кем можешь, это так.

Но в случае с Кадочниковым есть свои, непреодолимые пока для меня препятствия. Сколько после о нем ни размышлял, все бесповоротнее

убеждался в том, что ему открыт смысл неких откровений, о которых мы в торопливости жизни даже не подозреваем — не то что не ведаем. Как же мне об этом глубинном в нем, этом сокровенном написать, если я не понял многое даже из окружающего его внешнего?

Внешне все выглядело, действительно, как на заправском семинаре.

Возле одной из стен просторного спортивного зала стояли вперемешку обыкновенная орясина, пастушеская ярлыга, дубинка, рогатина, лопатка, топор, прочий «сельхозинвентарь» и здесь же — алебарда, секира, палица, щит, меч, кривая турецкая сабля и казацкая шашка. «Оружейный ряд» заканчивался парой пистолетов и видавшим виды «калашниковым»... Все, в общем, чем на протяжении веков сражались и воины-профессионалы, и те, кто брался за косу или за вилы «в свободное от работы время» — в силу жестокой необходимости.

За всем этим разномастным арсеналом следовали схемы и плакаты, в том числе «Эволюция оружия»: обширный круг, начинавшийся головой оленя с ветвистыми рогами и заканчивавшийся тоже «калашниковым».

В порядке небольшого отступления надо, пожалуй, сказать, что я к тому времени только вернулся из Ижевска, где помогал конструктору знаменитого на весь мир «калаша» работать над его книгой «От чужого порога до Спасских ворот». Знавший об этом Кадочников не раз теперь принимался сожалеть: «Эх, повидаться бы нам с Калашниковым! Ты понимаешь: на одной интуиции он создал идеальное оружие для рукопашного боя. Рычаг, захват, зацеп... все это в его гениальной машинке есть, любой прием можно провести... эх, кое-что еще Михаилу Тимофеичу подсказать бы!»

Кадочников на полуслове замолкал, но в серых его выразительных глазах ясно читалось: и не надо, мол, этой трескотни, не надо выстрелов... зачем лишний шум?!

Неподалеку от плакатов на столах у стены стояли приборы и приспособления, которые вдруг напомнили давно, казалось, забытое — школьный физкабинет... ну, точно, точно!

Кадочников взялся спрашивать стоящих вольной шеренгой слушателей своих — мол, что это, кто внятно объяснит? — и в зале повисла напряженная тишина, прерываемая только нарочно, как потом понял, жесткими вопросами Алексея Алексеевича: зачем, мол, тогда здесь собрались, зачем издалека сюда ехали, если никто не знает физики даже в объеме средней школы?!

Уж если кто знал ее меньше всех остальных — это я, грешный...

Физику преподавал нам Александр Николаевич Смирнов, бывший царский офицер, один из первых в России специалистов по авиационному вооружению, крупный ученый, сосланный в станицу по делу Тухачевского и получивший в Ленинграде после реабилитации пенсию генерал-полковника. Высокий и статный седой красавец в добротном габардиновом плаще, у всех

на виду торжественно шествующий по праздникам с белым узелком в руке и с цветами в церковь, со всеми по дороге с таким достоинством, с таким доброжелательством раскланивавшийся, как он приподнимал нас в школе над буднями... что позволял себе говорить нам, что нам — светлая, светлая память, Александр Николаевич! — внушал одним только своим благородным видом. Подававших надежды, ставших потом серьезными технарями однокашников отдельно собирал по вечерам в физкабинете, а на уроках все больше рассказывал о своей питерской юности в дворянском кругу, об учебе в Академии Генерального штаба, о русской доблести во время «Великой войны» — так называл он тогда и «первую германскую» тоже.

С постепенно выздоравливающим после ранения на фронте моим отцом, снявшим, наконец, черные очки и выбросившим палку, они дружили, и Александр Николаевич сказал мне: «Тебе, я понимаю, эта наука не пригодится — можешь на моих уроках читать книжки.» Сам эти книжки и приносил, но когда их было на уроке читать, если все сидели с открытыми ртами, слушали его бесконечные рассказы, которые сегодня, по прошествии стольких лет, слились для меня в один: рассказ о несгибаемом, куда бы его ни бросала судьба, нашем соотечественнике... Но вот с физикой-то у меня, с физикой!..

Словно по иронии судьбы и открытостью лица, и благородством осанки, и независимостью во взгляде Кадочников так был похож на моего давнего учителя!

В одном конце просторного зала оба подполковника — Смирнов и Андреев — буквально играючи — так, по крайней мере, со стороны это виделось — с изяществом в почти неуловимых движениях обламывали и словно приручали давно ставших багровыми, набычившихся «качков» из банковской охраны и молодцов из частных «секьюрити», в другом черной работой деловито занимались сразу понявшие, что к чему, молчаливые «спецназовцы», вокруг помогавших офицерам курсантов ракетного училища здесь и там табунилась явно зеленая молодежь с горящими уважительно глазами, а я только в изумлении во все и во всех вглядывался, и у меня было ощущение, что прикасаюсь к тайне, которую вряд ли когда-нибудь смогу отгадать... или таким как я в нее достаточно верить?

Одновременно и, как бы неотделимо от посылов точной науки, Алексей Алексеевич говорил ведь семинаристам и об истоках русского богатырства, о забытых секретах наших предков, среди которых трудно бывало отличить Иванушку-дурачка от многоопытного поединщика, рассказывал об умевших в одиночку постоять за себя и за Отечество посреди тьмы врагов суворовских орлах, о казачьих традициях, обильно подпитанных секретами горцев, о печальном опыте последней войны, будь она неладна,— чеченской...

Видно, в глазах у меня это читалось: ну, как, мол, это все, о чем слышим, возможно — как?! И младшие соратники Кадочникова взялись меня

подзадоривать: «А попросите Алексея Алексеича показать — пусть он движением руки... на расстоянии... уложит четверых-пятерых.»

Попросил.

Кадочников, слегка наклонившись, тыльной стороной ладони повел к полу, и стоявшие в нескольких метрах от него семинаристы упали, словно подкошенные.

Я, как маленький, клянчил: «Ну, как это объяснить, Алексей Алексеич,— как,как?!»

«Физика,— ответил он с убежденностью, которая судя по всему должна была передаться и мне.— Все подзабыл? Простая физика. В объеме школы. Вернешься домой — найди учебник.»

Так-то оно, наверное, так... Но не особенно склонные шутить люди мне потом в Москве рассказали, как Алексей Алексеевич, давний консультант закрытых военных училищ — есть за это и старые награды и новая тоже есть — нередкий гость особых воинских подразделений и советчик, ну, скажем, той части спецслужб, которая отечественный опыт признает и хоть что-то в нем понимает и ценит, так вот, Кадочников однажды на глазах у полутора десятков высших чинов «пропал», натурально исчез — нет его, а после четверти часа поисков всем присутствовавшим на ограниченной площадке генеральским миром также таинственно посреди него возник... ну, какая физика, братцы?!

Там, в зале временами мне начинало казаться, что в некоторых случаях меня просто разыгрывают.

«Вы не стесняйтесь,— сочувственно говорил Виктор Завгородний, исполнительный директор «Школы Кадочникова».— Чего не понимаете — спрашивайте... да вот: попросите Алексея Алексеевича, пусть бровью поведет...»

Я, и правда, не понимал: «И что будет?»

«А увидите: то же самое, что и тогда — когда он рукой...»

Бочком-бочком отошел от него и, улучив минутку, пожаловался подполковнику Андрееву: «Николай Васильевич! Он надо мной подшучивает? Завгородний? Попроси, говорит, Кадочникова бровью шевельнуть...» Андреев пожал плечами и с мягкостью, ну, просто удивительной для человека, только что стремительно уложившего тут чуть ли не половину зала дружелюбно улыбнулся: «Ну, почему — шутит? Правду говорит.»

Вернувшись в Москву я чуть ли не первым делом пошел в Российскую национальную библиотеку, бывшую «Ленинку», разыскал в каталоге книжечку, о которой упоминал на своем семинаре Алексей Алексеевич. Похожая на брошюрку, тонюсенькая, выпущенная издательством ДОСААФ: «Готовься к подвигу». Автор ее, Герой Совет-ского Союза Владимир

Николаевич Леонов всю войну «от звонка до звонка» прошел разведчиком, был диверсантом. Вместе с подготовленными им бойцами-рукопашниками наводил на немцев не то что страх — ужас. В самом прямом смысле. Однажды своим полувзводом разоружил и взял в плен двухтысячный гарнизон считавшейся неприступной островной крепости. Гитлер после этого объявил Леонова своим «личным врагом». Вдуматься: не летчика, предположим. Не танкиста. Одинокого воина, который «руками пашет» на тяжелой, на кровавой ниве войны.

Своих боевых соратников разведчик научил, и в самом деле, непостижимому. Во время дерзкого поиска одному из них, серьезно раненому, в помещении с единственным выходом пришлось стеречь больше семидесяти сдавших оружие немецких солдат. Стрелять было нельзя, пленники это поняли и время от времени всем скопом бросались на своего стража, но почти тут же, оставив под ногами у него двух-трех изувеченных, отступали... ну, и что тут удивительного, ну — что?

На Востоке, не однажды слышал русский боец Леонов, есть мастера нашим не чета. Когда объявили войну Японии, он в каком-то смысле обрадовался: может, сведет теперь судьба и с настоящими соперниками!

И вот она долгожданная встреча, вот...

Человек, в художественном письме неискушенный, об этой драматической минуте воин пишет не только буднично и скупо — как бы даже и скучновато. Взвод его увлекся атакой, а сам он маленько приотстал, и тут перед ним возник он, долгожданный! Настоящий-то боец. Самурай.

Для начала, пишет Леонов, японец трижды подпрыгнул, потом как юла завертелся. Мол, я наблюдал за этим во все глаза, так было интересно, что дальше, но он снова взялся подпрыгивать, и я подумал, что у меня нету времени смотреть: идет бой. Ткнул поэтому самурая кончиками пальцев под сердце и побежал догонять своих...

Не было у бойца времени!

Это у нас его теперь — завались.

Все равно заводы стоят.

Поэтому сиди и смотри.

Всю эту лабуду подряд.

На всех, какие есть, телевизионных каналах.

Все равно поля зарастают.

И окончательно стирается память о самоотверженных ратниках. О настоящих бойцах. О чудо-богатырях, какими считал своих «ребятушек» великий Суворов.

У Кадочникова она не только жива, память. Ею, как понимаю, он как раз-то и жив. Она — его стержень.

В сорок втором под Краснодаром горстка солдат и несколько офицеров с семьями попали в окружение, выход был один — рукопашная. Женщины пошли рядом с бойцами. Шестилетнего сына Кадочниковых Алексея второпях привязали к седлу и умного коня потрепали по холке и шлепнули по боку: спасай! Но осколком гранаты на ним перебило ремни, седло перевернулось, мальчишка повис вниз головой и все понимающий коняшка уразумел, что далеко уходить нельзя. Тоже пошел вслед за бойцами и остановился посреди яростной схватки, терпеливо ждал, пока бой закончится. Мальчишка под брюхом у него выкручивал шею: смотрел, как возле коня дерется, не подпуская немцев, отец.

А мы теперь у «ящиков» как закодованные сидим и пьем, часами пьем это якобы «крутое» азиатское пойло.

Вот и подумал я горько в который раз: собрался бы Алексей Алексеич с силами — повел бы, наконец, строгой бровью!

Или нужна тут другая бровь? Облеченная государственной властью. Д е р ж а в н а я.

Что ж: характер у того, на кого нам остается теперь надеяться, виден. Исстари это считалось на Руси главным для рукопашного бойца: характерника.

Добытый в юности «черный пояс» не помеха, а преимущество. Опыт прежних побед и поражений наверняка поможет понять, как это делается свято хранящими тайны ратного искусства предков славянскими мастерами: и — рукою издалека, и — всего лишь бровью.

А Кадочников, коли появится вдруг необходимость проконсультировать, и тут помочь, в лепешку, не сомневаюсь, готов будет расшибиться.

Радеть Отечеству ему не впервой.

Что такое «адыгэ хабзэ»...

В селе Первомайском, куда на нескольких машинах приехали на встречу избирателей с кандидатом в президенты Адыгеи, с Хазретом Совменом, я подошел к «эфендию», как в старину писали, который назвался Нурбием, и мы с ним очень дружелюбно разговорились все о том же: молодежь ускользает от нас через щель, которую сами мы создаем своими разногласиями... довольно, хватит! Не будет единства между православными и мусульманами, и мы пропали: вон сколько заграничных сект на глазах уводят наших внуков, вон какая беда пришла на кончике шприца или в

сигарете с дурман-травой... Остановить это можно или немедленно, сейчас, говорил муфтий, или — уже никогда.

Тут подошел к нам один из краснодарских черкесов, средних лет человек в модной кепке и с ярким, в основном зеленого цвета, шарфиком. Они заговорили по-адыгейски, но эфенди тут же обернулся ко мне: «Не уходи, не уходи, побудь рядом, сейчас мы договорим...»

Легонько привлек меня к себе левой рукой, какой-то миг подержал, а потом все помавал — другого слова не могу подобрать, это подходит более всего — ею в мою сторону, словно постоянно приближая к себе, словно удерживая какой-то нитью невидимой... Удивительное дело, я ощущал ее почти физически, эту нить, мне радостно стало с ними стоять, а он все находил меня — вернее, какую-то из моих невидимых оболочек, которю сам я все-таки достаточно ясно ощущал,— находил этим движением в мою сторону какой-то своей оболочки, в этом случае — невидимого продолжения руки, ладони, пальцев...

Когда черкес-краснодарец отошел, Нурбий взял меня за локоть, привлек, приближаясь одновременно сам.

Говорю ему:

— Нурбий, мне кажется, сейчас я чуточку больше понял, что такое «адыге хабзе»... Вы разговаривали с другим, но этот постоянный жест в мою сторону, который меня как бы деликатно придерживал... великое это дело!

— А как же! — обрадовался он.— Как же: так надо!

Высокий, стройный, с мужественным сухощавым лицом и выразительными карими глазами. Высокая папаха из каракуля очень шла ему.

Когда настала пора идти в зал, мы пошли рядом, я слева — невольно, без отчета себе в этом, а потом хотел уступить ему дорогу в дверях, говоря — вы, мол, лицо духовное, так положено! — но он стал сперва меня пропускать, потом взял под руку:

— Давай вместе!

И мы вместе переступили порог.

Что было на этой встрече — особый разговор... или?

Или надо все-таки несколько слов сказать сразу? Потому что в душе, давно привыкшей к рутине подобного рода встреч и собраний, вдруг были задеты струны, которые сразу отозвались и неожиданной радостью, и такой застарелой болью!

Когда перед началом собрания, меня Совмену представили — мол, русский писатель — он живо откликнулся: «В Красноярске у нас — Астафьев, Астафьев! Хорошо его знаю!»

«О-о, Виктор Петрович!..» — только и сказал я сердечно.

Но из этого пока вовсе не следовало, что адыгеец Совмен — сибиряк... Зато потом!

Показали фильм о его живущей самобытным, строгим но справедливым уставом старательской артели, которая добывает золото почти на Крайнем Севере, недаром называется «Полюс», затем он стал о себе рассказывать, и тут-то я, тоскующий по Сибири в Москве, а на юге — тем более, отчетливо увидал, что человек этот — в доску, как говорится, свой, что черкесское происхождение не только не помешало ему стать самым настоящим чалдоном, а даже как бы этому способствовало... Старому воробью, которого на мякине вроде не проведешь, стало как мальчишке казаться, что и знаю его давно, очень давно, и из всех в зале присутствующих по многим причинам сопереживаю ему чуть ли не больше остальных...

И золото на купола храма Христа Спасителя, и помощь университетам по всей стране — все это как бы само собой разумелось: почему бы и не помочь, если есть у человека такая возможность?! Потом он не то что просто — прямо-таки простодушно заговорил о том, какие деньги собирается для начала дать погрязшей в долгах республике, и тут...

... и тут у меня неожиданно остро щипнуло глаза, комок к горлу подступил: вот, и правда что,— сын родимой своей земли!

А ты, милый, а — ты?!

Ярко вспомнился этот разговор со станичным начальством, когда я прямым текстом обвинил его в распродаже родины, которую называем малой и больше которой для меня, где бы ни жил, нету — ну, так устроен!..

Сказал в глаза, а мне вдруг спокойно отвечают: а где в это время были вы?.. Да, нам тут было непросто, приходилось принимать всякие решения, мучительно искать выход, но разве вы помогли нам? Вы сперва где-то в Сибири околачивались, большая стройка — ну, как же, как же!.. Жили-поживали потом в свое удовольствие в Москве... а чем вы помогли-то этой самой родине, о которой теперь так печетесь, ну — чем?!

И вот через столько лет я вдруг впервые ощутил всю горькую правду этого упрека... Господи! — подумал.— Благослови тех, кто может помочь своей земле не прекраснодушными речами, не рассказами и статьями в газетках, но делом, делом! Защити и сбереги их! Спаси и сохрани!

Сидел, прикрыв ладонью глаза и безмолвно, но очень горестно плакал... о своей ли уже потерянной для русских станице? О себе ли, из-за ненужности давно потерянном не только малою родиной, но и большой...

Но вернемся, однако, к адыгскому этикету, который слабостью своей душевной я тогда, само собою, нарушил... разве черкес должен плакать?

Даже если он приписной, как говорил обо мне старший друг и наставник Аскер Евтых, светлая память ему на земле и покой в райских садах над нею...

Когда все уже выходили из зала — Нурбий заспешил чуть раньше, я шел один — по привычке уступил дорогу перед дверью напиравшему сбоку адыгейцу лет тридцати пяти — сорока, и он прямо-таки с чувством глубокого удовлетворения юркнул перед мной... А мне вдруг сделалось грустно, застарелая печаль сдавила сердце. Наверняка еще грела память о деликатности муфтия, и я не удержался, сказал юркнувшему уже в спину:

— Учат-учат меня черкесы, что старшему непременно надо первым пройти, а я все забываю, сибирская привычка срабатывает: пропускать молодых...

Нет, правда,— о, эта привычка, принесшая мне в свое время в Адыгее столько проблем!

Пропустить впереди себя того, кто моложе, значит — потерять лицо.

А у меня в голове всегда было другое: проходи, парень, проходи — уж я-то, не волнуйся, пройду! Привычка опекать молодых, обретенная на нашей громадной стройке.

Комплекс замыкающего, как назвал я это впоследствии, и который однажды, когда был на чемпионате мира по хоккею в Германии, еще в Западной — это где-нибудь еще в восемьдесят третьем — заставил меня пережить несколько веселых и вместе с тем горьких минут...

К этому времени я уже достаточно хорошо знал себя, а потому, пропуская впереди себя кого-нибудь из этих волчар — поездка в составе группы тренеров и судей была наградой за рассказ «Хоккей в сибирском городе» — говорил:

— Давай-давай... Ну, комплекс у меня. Замыкающего...

Все шли, будто мимо дерева, ребята — палец в рот не клади! Но с одним у меня постоянно возникал как бы некий спор за право пройти последним, и в конце концов он отвел меня однажды в сторонку и негромко сказал:

— У тебя, и правда, мля, комплекс или... ты — тоже, но меня забыли предупредить?

— Что — тоже? — невольно повторил за ним вслед.— О чем забыли предупредить?.. Говорю тебе: комплекс!

— Знаешь, что? — сказал он.— Идти ты тогда в задницу со своим комплексом. И не мешай мне работать, понял? Тут я — замыкающий... или объяснить еще как?

Ну, вот. Оказалось, что я своим «комплексом» мешал человеку в «загранкомандировке» исполнять элементарные служебные обязанности...

А здесь, в Адыгее, выходит, на нарушение «кодекса чести» сам сперва провоцирую, а после укоряю... Сам виноват: держи ухо востро и тут.

...И уже когда перечитывал этот «газырь», вдруг понял, к чему относится заголовок. Вернее — к кому.

Опять подумал, что не мы повелеваем словом, очень часто — оно нами.

Ведь вся похожая на добрую сказку судьба черкеса Хазрета Совмена, который мальчишкою из-за вспышки пороха, подложенного одкашниками в папироску, чуть было не лишился глаз — читать Джека Лондона начинал по книгам для слепых — а после, когда добрые люди вернули зрение, отслужил во флоте, один-одинешенек, аульский романтик, поехал Сибирь посмотреть, Север, поступил в старательскую артель, чтобы заработать на обратную дорогу домой, неожиданно для себя втянулся в изнурительную жизнь золотодобытчика, хлебнул всякого, но, словно жар-птицу, в конце концов «поймал фарт», еще в советские времена стал уже знаменитым, не раз отмеченным уважительным вниманием премьера Косыгина промышленником, а потом рачительным хозяином «Полюса», миллионером и щедрым, уже легендарным в России жертвователем — ведь это и есть жизнь согласно «адыге хабзе».

Кодекса чести горца.

Не знаю, трудно теперь сказать, прав ли Михайло Васильич Ломоносов в отношении всей России, но что «богатство Адыгеи будет Сибирью прирастатъ» — это вроде бы точно!

Облака плывут...

Вышел утром поглядеть на восход, он обещал быть красивым: на востоке уже залегла багровая полоса зари. Разгорится, думаю, вот будет красотища!

Но когда глянул в небо над головой, увидал нечто любопытное: оно было такое, небо, словно недавно по нему прошел мощный пароход... дизель-электроход, что там нынче? Корабль, одним словом.

И вот он прошел, этот корабль, уже превратился в точку где-то вдали, а за кормой все тянется треугольная полоса... Во все небо!

Наверное, пронесся какой-нибудь верховой ветрище?

Во всяком случае, очень похоже, что ты на дне и видишь над собой эту морскую «борозду»...

Вспомнил, как это бывает в Отрадной, когда ты стоишь внизу, в станице, а над тобой несутся облака, несутся стремительно, ветром раздерганные, а в разрывах меж ними видны звезды — тоже как на дне. Но там — на дне долины...

Когда-то в Новокузнецке с помощью Вити Райха и Лени Рамзанова я создавал для себя картотеку с «иглой поиска», и там у меня был раздел: пейзаж, описание природы, что-то такое...

Подумал: для этой картотеки.

А, может, давно бы стоило открыть для того же файл в своей этой машине, в компьютере?

Целый день

Интересное дело: вышел потом в середине дня, глянул вверх — небесная борозда, так похожая на морскую, за кормой корабля, шла уже в ином направлении — да такая ясная, так хорошо различимая!

Удивился этому — кто это бороздит небесный океан? — как к вечеру вдруг появилась новая полоса — и правда, как будто кто-то там «утюжил» сферу над головой.

Вечером вдруг сорвался сильный и теплый ветер, такой теплый, что мне жарко стало в ботинках на толстой подошве и шерстяных носках, которые только что связала Лариса,— все это и спасало меня от здешней зимы.

А утром, когда пишу это, на улице лежит пушистый снег, дервья все в снегу: ночью выпал такой, что мне пришлось первым делом снег отбрасывать, расчищать двор и проделывать дорожку под окнами и чистить тропки налево-направо и одну поперечную — до шоссейки.

На улице, в общем, адыгская сказка, черкесская: теплынь, и все в снегу, он как бы всего лишь новый антураж той картины, на которой аулы с дымком очагов над крышами, кони и всадники... То самое, что отзывается светлой печалью в щемящем сердце и заставляет снова задуматься: кто я?..

Прапамять опять проясняет картинки прошлого...

Станица, в которой родился? Отрадная?

Стоящая на месте бесленеевского аула.

Аул? В котором жили Лизогубы и который назывался-то: Лизогубовская Грушка, хутор Лизогубов, Лизогубовка? В котором давно ждет меня в гости кунак Ахло Гогушев, умница и добряк...

Черкесский аул вообще, существующий больше в воображении, так щедро подпитанном рассказами прабабушки и мамы?

И еще: опять это так похоже на картинку хорвата Ивана Генералича, знаменитого примитивиста,— «Оленьи сваты», так, по-моему, она называется.

Тяга к оружию — понятие эстетическое

У черкесов: ну, точно-точно!

Юнус сказал мне, что в майкопском музее есть «винтовка Хан-Гирея», и я удивился: почему же мы до сих пор ее не видели?

Он там договорился, и мы пошли.

«Научная сотрудница» Хариет, моя тезка (по адыгски — Радость, из чего я заключил, что Гарий — примерно то же самое, вот как!) принесла из хранилищ эту винтовку... скажу я вам!

Верх изящества.

Длинная, тонкая — хотя калибр будь здоров — со слегка изогнутым ложем... Ствол кованый, граненый, ложе из полированного — наверняка потом — еще и руками Хана, и всех, какие были еще, владельцев — самшита, не уступающего железу как бы и на вид, и на вес... Накладка на ложе из белой кости. Крошечная мушка на дуле, а на казенной части — прицел, представляющий собой некое подобие игольного ушка, через которое надо увидать мушку. Конечно, отсюда — точность выстрела, должно быть, потрясающая. На щечках ложа инкрустация из легкого металла, вероятно какого-то сплава, в котором наверняка есть кроха серебра: адыгский орнамент.

Но все это я разглядел уже потом, а сперва Юнус предостерег:

— Скажи: «Бисмиллях»!

Я глянул вверх и сказал.

Но вот какая штука: насколько по руке оно сделано, это кремневое ружье. Держишь, как приходилось обычно держать, учитывая силы, создающие равновесие,— так вот, держишь в сомкнутой ладони и — не хочется отдавать. До чего же ловко лежит в руке!

Я вспомнил, как Миша Кантемиров, Мухтарбек, достал из своего «циркового» сейфа — вернее у него театрального, он — создатель конного театра,— так вот, достал шашку и протянул мне.

— Полюбуйся. Это «гурда».

Взял шашку и что-то такое испытал...

Легонькая, в ладони лежит как влитая, но тончайшее лезвие играет, ходит слегка-слегка, вызывая и память какую-то в тебе, и как бы вполне понятное

нынешнее твое разумение, говорящее: как удобно, как красиво, какая вещь в твоей руке... поет!

Да-да, потому что она сама по себе издает тихонький звон... А когда Миша ею махнул!.. Так и взрезала воздух шипящим тоненьким свистом.

Вспомнил об этом, рассказал о «гурде» Миши Кантемирова.

Потом я оставил для библиотеки музея четыре тома своих — не мог этого не сделать, потому что эти женщины Хариет, Зоя, жена Шамсудина Хута, написавшего великолепную книжку «Несказочная проза адыгов» слепого ученого, соседа Юнуса по старой квартире и еще одна, Галина Барчо — так вот, все они наговорили мне столько благодарных слов за то, что «хорошо пишу» об Адыгее... Читали, это определенно; знают — это видать...

И так у меня опять стало хорошо на душе: люди, которые не знают этих подводных течений в Союзе писателей, не знают всех этих хитросплетений, интриг и взаимных обид — насколько эти люди лучше нас, во всем этом погрязших... прости нам все это, Господи!

Утром я позвонил Юнусу: а что же мы с тобой не спросили, откуда это ружье? Чье оно? Может быть, это знаменитый «ереджиб»?

Он перезвонился с Зоей Хут: черкесское ружье. Судя по изяществу и орнаменту. У турецких ружей гораздо тяжелее приклады.

Но к чему я это все: как такое ружье бросить? Как такое ружье, которое так ловко лежит в руке, оставить без дела, ей? Без работы...

Тут же невольно вспоминается старинный джигитский укор молодому горцу: «Бездельник! Он хочет добывать хлеб потом, а не кровью!»

С грустной улыбкой думаю, что это также одна из причин затянувщейся в прошлом веке Кавказской войны: любовь к прекрасному, эх!..

Недаром же когда-то Юлий Цезарь вооружал легионеров золотыми мечами: чтобы не бросали в бою. Так и тут : ну, жалко расстаться с таким ружьем, жалко!.. И надолго без дела оставить — тоже жаль...

А «Несказочная проза адыгов», подаренная Шамсудином, давно стала для меня настольною книгой: в московской моей квартире стоит на одной из ближних полок, что называется — под рукой...

«Свойство чиновников...»

Вчера с Божией — это явно! — помощью и с помощью, не сомневаюсь самого Александра Сергеевича — прямо-таки ощущал это, когда удавались лучшие страницы — закончил работу над переводом «Милосердия Черных гор...»

Утром стал было разбирать книги, чтобы раздать их: какие — Юнусу, какие — в библиотеку... Нашел том Толстого с «Хаджи-Муратом» и со своею вкладкой как раз под этим обозначением: «свойство чиновников».

И не могу не выписать этот абзац Льва Николаевича:

«Николай (царь — Г. Н.) был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал также, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников сос-тояло в том чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.»

Ну, вот: добросовестно исполнял.

А кто у нас-то эту обязанность добросовестно исполняет?

И почему бы не перенять нам этот монарший опыт?

Ведь таким образом можно было бы решить проблему призывов в армию — и весеннего, и осеннего, и — любого...

Каких амбалов и мордоворотов получили бы наши на треть, а то и всего лишь на четверть укомплектованные части вместо всех этих «птенчиков», которых потом надо в госпитале докармливать хотя бы до какого-то относительно приемлемого веса и состояния здоровья вообще, о чем с такой болью рассказывали мне морские врачи во время нашего похода с миротворцами в Грецию — на «Азове».

И если армейские «деды» стали бы чиновничков поколачивать — было бы за что, было!

«Фильсуфы»

Это все плоды эвакуации моего бивуака в Майкопе: стал вытаскивать закладки из книжки «Шаги к рассвету»... о, где ты наш Ковалевский! Которого мы с Олегом Дмитриевым доводили до белого каления на лекциях по русской литературе... Это он делил доску на две части и писал: «Путь к закату.» «Путь к восходу.» Обозначая тем самым «прогрессивное» и «реакционное» в литературных течениях. Так и тут.

В этих «Шагах...» в рассказе Адиль-Гирея Кешева «На холме» сразу встретился мне отмеченный мной «фильсуф» — на аульский лад переделанное «философ»...

Ну, как не посвятить этому словечку «газырь»: ведь все мы — большие «фильсуфы», хоть живем в разных аулах — кто в Пчегатлукае, а кто — в Москве...

Письма из дома

Вместе с пухлыми, как им вроде бы подобает по чину, центральными газетами, почта приносит еще одну — легонькую, с ладошку величиною «районку», перетянутую бумажной ленточкой с нашим адресом: «Сельскую жизнь» из родной станицы Отрадной.

Весточка с Кубани... Как бывало,— из дома.

Как они там?

Начал с передовицы и тут же опустил голову...

«Факт, когда председатель колхоза «Путь Ильича» Ю. В. Касьянов на центральном отрадненском рынке стал на колени перед механизатором, торговавшим носками и прочей разной мелочью, с просьбой вернуться в тракторную бригаду, действительно имел место.»

Ну, вот, подумал: горячий привет тебе от твоего коллеги Коли Ляшко, от старого дружка, подписавшего статью с таким беспросветно-горьким началом...

Попробовал представить эту картину: как опускается в посыпанную лузгой от семечек — «подсолнечных» да «тыклушных» — базарную грязь далеко не сентиментальный человек...

Может, и у него слезы брызнули — как у меня, когда попытался всего лишь вообразить это...

Вошла Лариса, увидала, что я, нахмурившись, отвернулся, спросила с участливым юморком: мол, что, отец,— «плохо пишут»?

С Федей Некрасовым, светлая ему память, с Борисом Чепурным, крепкого тебе, Боря, здоровья, была когда-то любимая станичная шутка: стоит поскучнеть либо опустить голову на миг — а тебе тут же чуть не с хохотом: «Что — плохо пишут?»

Тогда смеялись до слез, потому что на самом-то деле редко из дома «писали плохо», а теперь вот — ну, куда хуже?

Парад мешкованов

Подняли нас в половине четвертого. Я ворчал, но наш гостеприимный хозяин теперь был неумолим: «Умные-то люди там уже с вечера!» И я поверил ему, когда в предутренней рани начал различать очертания несметного скопища больших и малых автобусов, грузовиков, легковушек, тяжелых мотоциклов с колясками и мотороллеров с кузовами, «муравьев», между которыми нам потом еще очень долго пришлось пробираться к самому торжищу.

«Там будет половина России,— говорил нам накануне Иван Васильевич Семенов, преподаватель военного дела, ставший недавно казачьим атаманом.— Там весь Азербайджан и вся Армения. Хоть городишко наш небольшой, здесь главная меховая ярмарка!»

Про себя я, надо сказать, посмеивался: «Городишко, ишь!» Город Лабинск. Давно ли ты была станицей, Лабинка? Давно ли приезжавшие к нам на «пятом ЗИСе» с расхлябанными бортами и деревянными скамейками поперек и проигравшие моим землякам-отрадненцам твои футболисты катили потом от нас под свист и улюлюканье, волоча по пыльной дороге прицепленные мальчишками полутораметровые бодылки татарника с крупными, размером с воробья, репяхами?

Обобрала она с себя наши репьи, давно обобрала!

Чего только и впрямь не было теперь на здешней ярмарке-«меховушке»: лоснящиеся от доброго ухода, упитанные самцы и самки всех, какие только бывают у нутрий, оттенков, молодняк в клетках и в корзинках, в мешках и за пазухой, отлично выделанные шкуры, висевшие по три-четыре десятка в ряд на специальных стальных булавках в руках у продавцов и шкуры-сырец ворохами, но главное — десятки, сотни, тысячи полноценных, в три уха, капелюх и шапок-«обманок»: врасклад на брезенте под ногами, на чувалах, набитых шапками же, на сумках, на пальцах — по три-четыре ушанки у какого-нибудь умельца на пятерне... Были тут конечно же и сопутствующие, как говорится, товары, и был самый разный корм. И правда, давно уже не видел я такого масштаба ярмарок!

Явно довольный Иван Васильевич говорил как бы с сожалением:

— Это мы, считай, уже к концу пришли.

Тут просто нельзя было не пошутить:

— На разбор шапок?

— Да нет! — отвечал он серьезно.— Самый-то «разбор» — темной ночью. Утром надо налог платить, так тут все в кромешной тьме. У перекупщиков каких только нету фонарей, чтобы не надурили. А в это время они уже разъезжаются. Кто по Северам, кто — в Сибирь, а кто — на Дальний Восток.

Под знаком нутрии прошел у нас и богатый обед, и поистине царский ужин. Тут надо сказать, что к Ивану Васильевичу мы приехали вместе с моим другом Михаилом Ждановым, живущим в Брюсселе кубанским казаком, отец

которого вместе с генералом Шкуро уходил когда-то из этих благословенных, родных ему мест: корень их был в расположенной неподалеку от Лабинска предгорной станице Упорной. Еще недавно Михаил Антонович, Мишель Антон Жданофф, был профессиональным каскадером, один из последних в Европе казачьих джигитов, но после травмы и долгих путешествий из госпиталя в госпиталь любимое дело пришлось ему оставить. Говорил он с заметным акцентом — родился и вырос в Бордо, во Франции,— но в речи его то и дело встречались стародавние словечки, слышанные еще от настоящих, всамделишных казаков, ровесников отца, работавших на конюшнях, на ипподромах, на киностудиях чуть ли не всего света, эх!.. Само собой, что в дорогих для него, заветных местах друг мой жадно прислушивался к цветистой речи соотечественников, выросших дома, и то и дело просил меня то или другое малопонятное выражение ему растолковать.

Он-то меня и озадачил, когда сказал: «Спросил соседку Ивана Васильевича, чем внук ее занимается, она мне ответила: мешкуит!.. Мешкован стал. И так горько заплакала! Кто это, мешкованы? Может, это бандиты?»

Хозяева наши были заняты домашними делами, и мы не стали их отвлекать. Не только заинтригованный, но как бы даже уязвленный незнанием родной речи, в которой считал себя, что там ни говори, мастаком, я тут же сам отправился к соседской меже, окликнул аккуратную старушку с вилами в руках: косынка шалашиком, давно выгоревшая цветная кофточка и такой же передник на темной юбке-«завеске».

— Ой, и говорить стыдно,— пригорюнившись, начала она нараспев,— и молчать больше не могу, сердце рвется. Это ж надо до такого позора дойти, надо так опуститься! Ну, так оно недаром же говорят: дурной пример — он заразный. Вот Толик-то мой и заразился. А как было? Ко мне подружка приходит жалиться. С другого края. Она и старше, и больная совсем — в чем душа... Когда скажу ей: сиди, сама до тебя приду. Так нет! Опять шкандыбает лить слезы. Сосед у ней — ну хамлет и хамлет. Друг ваш, говорит, были нынче на ярмарке, тогда видели, сколько к нам со всех концов мира съезжается. Раз есть что покупать, так это ж значит, что люди трудятся? А этот умняга взял моду, идет до моей подружки, она почти нищая: «Дай, Карповна,полсотни, дай, соседочка, не откажи!» Она, бедная, дает. Тогда он пустой мешок под мышку и на ярмарку. Купит там зверька, а то и двух подешевле — и в мешок. Отойдет чуть в сторонку, тут же продаст — покупает уже три-четыре, а то, глядишь, целый выводок... Ой, да это надо на его посмотреть: мы с ней один раз нарочно ходили, чтоб на его только глянуть. Прости меня, Господи: ну такая ряшка жадная да бессовестная, такие глаза у него бесстыжие, да прямо горят каким-то огнем, а сам вьется, дергается, ломается — ну сатана и сатана! Только и жди: штаны треснут и сзади хвост выпадет. То кричит, то пришепетывает. То сам себя в грудь бьет, то другого хватает за грудки, и все руками оттак, руками... Кого хочешь улестит, кого хочешь обманет. Одного догонит, от другого сам убежит, недаром же говорят: как вор по ярмарке. Один уже не справляется зверьков

таскать, так ему эти ж пьяницы уже помогают, не один-два, а целая рота. Ему ж главное — до конца базара успеть продать все обратно. Пачку денег — вот такую толстую, потом в карман, пустой свой мешок опять под мышку и в центр. В один момент, куда ему надо, все пораспихивал: он уже два дома перекупил да продал, сейчас уже третий... А Карповне потом несет только десятку: «Можно, соседочка, остальные потом?» Не успеет еще все отдать, как перед новой ярмаркой опять к ней в калитку стучит: «Где ты там, Карповна-а? Да одолжи мне, будь добренькая, выручи». Она говорит: «Убила бы, кабы не грех». А он чуть не на коленки да руку у нее целует:«Вот ты у нас труженица! Вот терпеливая!» А то ж нет?! Откуда он, говорит, только взялся такой, что стыда нету: армянин — не армянин, грек — не грек, русский — не русский... Нынче разве поймешь? Да как же, Карповна жалится, ему не стыдно: живу на пенсию, хорошо, что куры да поросенок, но у меня сколько внуков, и все без отца, а он половину нутрий на ярманке в свой мешок пересажает, а потом опять до меня. А это как-то жалилась она мне, все плакала, а мой внук услышал: из армии как раз, дома баклуши бил. И что бы вы думали?.. Тоже как-то пустой мешок под мышку: «Дай мне, бабуля, пятьдесят...» Ах ты ж! Чего только не говорила ему, как не срамила: и что надо сперва своими руками у грязи, чтобы потом продать... Как раньше: в черных руках — белая копеечка. И никто не стыдился. А ветром торговать — разве, говорю, это не грех? Так и не послушал. Я не даю — занимает у соседей. Как тот умняга. И тоже теперь мешкует. Да кабы один: сколько уже таких, как он, развелось! Когда и скажу его дружкам: «Да хоть бы штаны себе купили, а то все в джинсах латаных. А они: «Ладно, бабуль! Хуть погуляем».

Поздним вечером Миша Жданов посмеивался за столом: «Какой там грек, соседка говорит, это придумал! Какой турок! Наверняка смекалистый казачок. Тут теперь у вас, как во всей Европе. Как в Бельгии. Там-то уж какие мастера ветром торговать! Но казаки приспособились тоже, не пропали: кто казака обманет — тот и три дня не проживет! А в России этого и действительно не хватало: свободы проявить сметку. Теперь свобода пришла. Лишь бы только при этом, и правда, что люди не разучились работать! Вот тут и закавыка».

Теперь-то, надеюсь, ясен смысл этой маленькой истории, случившейся лет семь-восемь назад в кубанском городе Лабинске.

Разве нынче это не самая распространенная на родине профессия — мешковать? И занимаются этим все: от меняющего премьеров, словно зверьков в мешке, гаранта Конституции до мальца, расковырявшего напротив дома в асфальте ямку и под проливным дождем потом мокнущего в надежде, что вот-вот в колдобине засядет шикарный «мерс» и новый русский, не отрываясь от баранки, протянет другой рукой стодолларовую бумажку: «Братан, вытолкни!»

Заводы и фабрики все больше стоят. Который год мы сообща не можем распродать все вылежавшее мыслимые и немыслимые сроки заграничное дерьмо, которое сами же, на своем горбу, привезли из дальней Америки либо из ближней Турции. Наши сильно сдавшие не только от голода — от стыда за нас всех школьные учительницы за тридцать, за пятьдесят рублей в день стоят у лотков с памперсами и у щитов со складными зонтиками и темными очками, а вечером работодатели из Закавказья требуют от них иных услуг — в счет зарплаты. На недоуменные вопросы падающих с ног от усталости на улицах столицы — само собой столицы «Отечества — Всей России» — пожилых женщин: «Неужели, мол, вокруг мало молоденьких девчат?» — тридцатилетние, в самом соку «работодатели» отвечают, в простодушном ужасе выкатив глаза: «Заразят!»

Извращенцы с НТВ, не моргнув глазом, скажут вам, что это означает всего лишь то, что в нашей «обновленной России», которую они еще недавно чуть ли не хором называли «этой страной», неуклонно растет уважение к старшим... Но они ничего не могут поделать с лицами, которые мы с вами в надежде выудить хоть слово правды каждый день вынуждены наблюдать на экране. Какой парад мешкованов! Самое время учить детишек физиономике — умению распознавать христопродавцев по глазам, по лицам, по жестам... Когда на экране вьется и пришепетывает кто-либо из сильных мира сего, разве вам не казалось, что у него вот-вот «штаны треснут и хвост выпадет»?

Полно среди мешкованов и казаков, избравших свой, особенный способ этого всеми столь чтимого теперь занятия: в президиуме какого-нибудь очередного, собравшегося на свой съезд в жарком августе политдвижения исходить потом — непременно в папахе и обязательно в бурке. Раньше казачок всегда пахнул лошадкой — такое дело, а как же? Но нынче любая партия должна припахивать казачком, иначе какая же это партия?! Работа, само собою, не бей лежачего: только на это казачков и хватило. Зато другие!

Совместные компании, холдинги и консалтинги, счета в иностранных банках, оффшорные зоны... Личный самолет, бронированный джип, охрана из ребятишек-спецназовцев. А спроси: чем занимается-то? Разве не самый точный ответ: «Мешкует!»

У рыночников-то, у всех этих элегантных и чистеньких «гарвардских мальчиков» есть конечно же другое обозначение этого: бизнес. Но чуткое ухо народа-словотворца давно уже различило в этом чужом слове некий неблаго-звучный оттенок. Правда, тут начинается всем известное: на вкус да на цвет...

Нравится тебе — называй себя бизнесменом, дилером, банкиром, олигархом. Но разве по сути своей ты, братец, не мешкован?

И я все вспоминаю своего брюссельского друга, спрашивавшего меня и с интересом, и с неподдельным сочувствием: «Может, это бандиты?»

Скорее всего...

«Ряженый»

Перед открытием научной конференции «Мужское начало в традиционном и современном обществе» стояли в одном из просторных залов Центрального музея на Поклонной горе, когда поодаль прошел высокий казак в черкеске, с кинжалом на поясе, но без папахи: прошел медленно, почти торжественно, чуть ли не церемониальным шагом — прямой, словно, и правда что, «аршин проглотил», с видом независимым и даже как будто строгим...

— Кубанец,— сказал я тем, с кем рядом стоял, глядя казаку вслед.— Землячок... Это кто же-то?

— Не знаете его? Адвокат. Яцына. Олег Иванович.

И то, как точно и с подробностями было сказано, словно совместилось с образом незакомца: это, мол, не кто-нибудь. Не хухры, как говорится. И не мухры.

Не исключаю, что я невольно вздохнул.

Сам форму надевал дважды: первый раз — на примерке в ателье в Краснодаре, когда еще в 90-ом, еще в мифической роли «московского атамана» тоже решил пошить себе гимнастерку и «гали» из черного сукна — тогда чуть не все кубанцы ходили в этой паре с уголком красного шеврона на левом рукаве рубахи: знак готовности к самопожертвованию... эх!

Вечная вам память, погибшим в Абхазии, в Чечне или, как Саша Берлизов, в Приднестровье, вечная память — искупившим фанаберию, хитрованство, излишнюю доверчивость и душевную простоту, а то и непроходимую глупость многих других, кто донашивает либо давно уже доносил похожую пару с нашивкой, к столь многому обязывающей...

Надеть форму хоть раз после примерки я не успел — «отобрал» казаковавший младший: его как раз «кликнули» областным атаманом...

Второй случай: пришлось надеть военно-полевую офицерскую форму без каких бы то ни было знаков различия, когда покойный иеромонах Иннокентий Просвирнин — светлая память, отче! — дал мне послушание отслужить молебен на Куликовом поле, тоже в 90-ом году. И — все.

Потому-то, не исключено, я невольно вздохнул: завидую уверенности, с которой облачаются в казачьи доспехи другие, но сам не могу почему-то себе этого позволить...

Казак был явно младше меня, но я первый подошел к нему поздороваться да познакомиться: уважение к форме! Тут выяснилось, что родители его когда-то жили в Отрадной, там старший брат родился, но потом они переехали в

Армавир... потом в Новороссийск, в Краснодар... далее, как говорится,— везде.

В зальчике амфитеатром, где началась конференция, сели вместе. В руках у моего соседа была полиэтиленовая сумка, из которой он достал потом невысокую кубанку, разгладил на коленях, определил в сумку снова проверял, видно, как там шапчонка себя чувствует. Нет-нет да принимался он потихоньку расспрашивать меня об Отрадной, и я сказал ему: мол, у меня с собой четыре моих тома, которые вполне могут послужить учебным пособием по нашим краям — в них все больше об отрадненском Предгорье, так вышло...

После конференции определил он четыре моих тома в сумку, где перед этим лежала папаха, пошли мы к остановке автобуса, чтобы доехать до метро.

Перед спуском к станции у Киевского вокзала он вдруг спохватился было: не успел на воздушке покурить. Тут же махнул рукой, мол — потерплю до своей конечной, но я, то и дело ловивший направленные на него любопытные взгляды, из солидарности сказал ему: давайте здесь — все лишнюю минуту поговорим.

А как на него, и правда, глядели!

Кто — с явной насмешкой, кто — с нарочитым изумлением, а кто и с откровенным восторгом... Вот парочка прошла, и она дернула его за руку, он перестал что-то говорить, обернулся, оба, замедлив шаг, долго глядели... Вот потеплел глазами и поправил ус пожилой человек с клюкой... Вот двое молодых кавказцев, которые по вошедшей недавно в моду полупрезрительной привычке никому дороги не уступать, прямо-таки наткнулись на моего земляка, оба недовольно фыркнули — ну, прямо-таки как бродячие коты перед породистым псом...

За снующими мимо можно стало заметить остановившихся широким кружком зевак: но ведь было, и правда что, на кого поглядеть!

На Олеге Ивановиче добротная бекеша с выпушкой и с высоким стоячим воротником из такого же серого курпея, кубанка самую малость заломлена, но малость эта как бы даже очень расчетливо говорила о столь многом! Хромовые сапоги чищены до блеска, а за широким офицер-ским ремнем нагайка смотрится вовсе не как безделица...

На визитке Яцыны, которая лежала в моем кармашке, над символическим щитом значилось: «Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург». Пониже фамилии с именем-отчеством уточнялось: «Вторая Московская юридическая консультация». Такой вот «адвокат», значит...

Продолжая наш разговор, спросил у него: как понял, мол, земляк «имеет место быть» не только в Москве — еще и в Санкт-Петербурге, и в Твери... Мол, сам такой: одной ногой на Кубани, другой — в Сибири. Используя знакомую нынче не только вам, но, благодаря стараниям средств массовой

информации — всем и каждому, терминологию, Москва, мол,— всего лишь «пересылка», да только ездить становится все накладнее, скоро совсем невозможно станет: вы-то как — выживаете?

— В Тверь мы сразу после Кубани переехали,— неторопливо заговорил Олег Иванович.— Там я и заскучал. Более того: болеть начал. А потом вспомнил: а что же я с собой землицы-то не захватил? Земельки кубанской. Ай-яй! Пришлось специально в родной Краснодар съездить. Набрал там. Привез. И по углам в квартире в картонках поставил. Посыпал под кроватью. Про запас маленько припрятал... И хворь — как с гуся вода.

— Помогла родная земелька? — спросил я с интересом.

— Да ведь первое средство,— сказал он неторопливо, и серьезное, как бы даже задумчивое лицо его улыбка тронула: возникла в серых глазах, русые усы шевельнула, ушла в уже полуседую ухоженную бородку.— Недаром ведь раньше-то: если покупали корову навывод... в другую станицу. В другой хутор. То непременно брали немного землицы с хозяйского двора, посыпали в своем сарае. Не только рядом со стойлом, но и на дно яслей обязательно. Под ноздри. Тогда она не будет болеть. И молоко не упадет. Как давала, так и будет давать... А вы не знали?

Стыдно сказать: не знал!

Может быть, раньше слышал, да потерял это знание в торопливости городских дней.

А ведь корова у нас была: по настоянию двоюродного деда в последнем письме с фронта и на его аттестат купили в сорок четвертом, когда уже пришел с войны мой отец, в черных очках и с палочкой. Он потом доставал сено, давал деньги на все, связанные с коровой расходы, а у нее кроме клички Марта так и оставалась до конца торжественное, как отчество, да уж больно жалостливое всегда: «Васина память.» Это как прикипело. Уже недавно младший мой братик, которому тоже теперь за шестьдесят, как бы ни с того ни с сего вдруг сказал мне полушутливо, называя на станичный манер: «Мы, братка, с тобой гордимся, что на этой мраморной доске в школе наша фамилия трижды повторена: все такие умные, все медалисты... А я тут как-то раздумался: дело-то кроме прочего в том, что все мы на переменке бежали «до крестной» молочка выпить — хорошо, что рядом жила. Коровка нам крепко помогла. «Васина память»...

Я бы до этого скорей всего не додумался, но он врач, братик, и мне было радостно и горько сознавать это: что «Васина память» с коровьим веком не кончилась, а живет в печальном размышлении опытного специалиста о нынешних, из бедных семей, школьниках, лишенных не то что кружки домашнего, только из-под коровы-кормилицы молока, но, сплошь и рядом,— кусочка хлебушка... знали бы, и правда, они, лежащие и на родных русских кладбищах, и в далекой, совсем чужой теперь стороне, как наш дед Василий

Карпович — в Польше, которая «Берлин брала», а Россия наша «добже помогала» ей, эх!

— Недаром ведь раньше у казака на груди висела ладанка с землицей своего двора,— сказал Олег Иванович, и мне показалось, что он не дым выпустил, а тоже отчего-то вздохнул.— Забываем обычай... забываем!

А у меня ведь есть маленький рассказик, написанный не так давно и потому, может, не разонравившийся — «Своя земля и в горсти спасет». О том, как угнанная в Германию и умиравшая на чужбине от голода и тоски молодая женщина узнала, что недавно вернувшийся с русского фронта ее хозяин получил в награду за службу вагон кубанского чернозема, и попросила подружку украсть для нее «хуть жменьку»... Как дышала она родною земелькой, как нюхала, как растерла, смоченную слезами, ее по лицу, а наутро ей вдруг стало легче, неожиданно для себя приподнялась и поняла: выжила!

Историю эту в одной из соседних с нашей станицею рассказала мне о себе пожилая женщина, с которой мы столько проговорили потом о нашей Кубани, о щедрой ее земельке, но вот поди ты: тема эта, пожалуй, неисчерпаема — нет ей конца...

Сколько вдруг нахлынуло!

А ведь могли бы с Олегом Иванычем разминуться, если бы не его казачья форма...

Нынче всех одетых в традиционную одежду — под одну гребенку: мол, ряженые!

Тем радостнее различить вдруг посреди шутовства осознанное, неколебимое служение... ты подумай, подумай!

Или окончательно решил, что с тебя «Газырей» твоих достаточно, а черкески не надо?

Газырь от Александра Дюма

Не знаю, «раскусит» ли великий романист, что такое «газырь» на страницах последующих, а в начале своего «Кавказа» — записок о путешествии 1858-го года в наши и прилегающие к нашим края — сообщает о газырях, как о патронах: «Невинный русский тулуп, наивную калмыцкую дубленку сменила черкеска серого или белого цвета, украшенная по обеим сторонам рядами патронов.» И далее на нескольких страницах тоже говорит о «патронах».

Но не в том суть. Главное— во многом объясняющее и то, что происходит в России и на Кавказе поныне — проницательный француз ухватил и выразил с присущим ему изяществом:

«В России все зависит от чина: это слово означает степень положения в обществе и, мне кажется, происходит от китайского. Сообразно вашему чину поступают с вами или как с презренной тварью, или как с важным господином.

Внешние признаки чина состоят из галуна, медали, креста и звезды. Носят в России звезду только генералы. Мне сказали перед отъездом из Москвы:

— Странствуя по России, там, где не найдете ни куска хлеба в гостиницах, ни одной лошади на почтовой станции, ни одного казака в станицах, прицепите какой-нибудь знак отличия — или в петлице, или на шее.

Подобная рекомендация мне показалась смешной, но я скоро убедился не только в ее пользе, но и в необходимости. Поэтому я повесил на мой костюм русского ополченца испанскую звезду Карла III, и тогда, действительно, все переменилось: видя меня, спешили не только удовлетворить мои желания, но и даже предупреждать их. Поскольку в России за немногим исключением одни только генералы могут носить какую-нибудь звезду, то меня величали генералом, не зная даже, какая на мне звезда.»

Вот.

А мы хотим, чтобы нынешние атаманы да казачки не разукрашивали себя галунами да не цепляли бы на грудь все, какие можно и нельзя, ордена!

И правда что,— кто он? Человек или тварь дрожащая?..

И снова я вспомнил, как дома у Толи Заболоцкого — не только шукшинского оператора, снявшего в том числе и «Калину красную», но прекрасного фотохудожника, хорошего, как выяснилось, прозаика, самодостаточного художника вообще — увидал великолепный снимок знаменитого скульптора и сказал ему:

— Ты дружишь со Славой Клыковым, часто бываешь у него. Не мог бы ты его однажды спросить: откуда у него звание генерал-полковника «казачьих войск» и что это за казачьи войска?

Толя понимающе улыбнулся:

— Да я пытался... Но как только начинаю об этом, он гонит меня из дома.

Это всеми-то и вся обласканный Клыков!

Что тогда остается нашим растущим как бурьян на станичном выгоне «возрожденцам»?

Трикитания

По дороге в Новокубанск, в автобусе «Майкоп-Ставрополь» вдруг вспомнил Горячий Ключ, вспомнил магазинчик «Санги», в котором я чрезвычайно серьезно спросил продавщиц: а не писателю Владимиру Санги он принадлежит?..

— Что вы, что вы! — замахали они ладошками.— Это сокращенно «сангигиена» — вот что такое «Санги»...

— А я-то думал,— говорю им,— что это друг мой разбогател!..

Вспоминал потом Володю, свое знакомство с ним, при котором он простодушно и в то же время значительно сказал:

— Нивх я, нивх... Нас осталось несколько тысяч.

Поскольку был тогда я парень — палец в рот не клади, тут же сказал ему: да что ты, мол?!.. А я — пивх. Нас, настоящих пивхов осталось и того меньше...

Были мы в одной поездке с Витей Вучетичем, с Вучем. Ему эта история очень понравилась, и он тут же придумал мне славное и звучное имя: пивх Гагарий.

А нынче вот размышляешь: такой поток пития хлынул на родину, что «пивхов» скоро, и действительно, останется куда меньше нивхов.

Вот размышлял я об этом, размышлял, вспомнил, что потом уже, в очередной раз горько пошучивая, обозначал свою национальность так: самусан. Самусаны, мол, мы. Сами с усами... И больше всех остальных не терпим лапши на ушах.

Вспомнил об этом своем любимом треугольнике Северный Кавказ — Москва — юг Западной Сибири, который сердечный друг Слава Победоносцев называет «ареалом обитания», и тут мне вдруг в голову пришло, что это — те самые «три кита», на которые опирается и творчество мое, и вся моя жизнь, и что страну, в которой я проживаю, можно называть Трикитания... разве, и правда что, плохое название?

Тем более что в нем так и слышится скитание, от которого и произошло название скифов.

Очень полюбил я свою Трикитанию, очень...

А нынче неожиданно пришло в голову, что не только о древних скифах может напоминать это слово, но о здравствующих и процветающих ныне китайцах... не Трикитая ли, а?!

Собственно Китай — первый, Сибирь — будущий второй, а мой-то «ареал» как раз и есть — третий.

Или хватит с нас одного?

Или, во всяком случае, двух — и точно?

«Из ряда вон...»

Сегодня ранним утром, 26 ноября, пил чай и слушал передачу новокубанского радио. Речь шла о тех людях, которые преспокойно пропивают себе те первоначальные деньги, которые им дали в порядке компенсации за убытки во время июньского потопа, и не торопятся нести справки на получение второго «транша» — основного, который поэтому может быть отозван...

«Из ряда вон вопиющий факт!» — сказал об этом выступавший по радио чиновник.

К характеристике новокубанских «пивхов»?

Белые стихи о Черных горах

Все не давали мне покоя красивые, полные достоинства лица погибших в клубе ЗИЛа чеченок: они будто придремнули. Как будто сладко уснули...

Не надо общих рассуждений о терроризме — это всего лишь штрих.

Но вот напоминал о себе. Тревожил душу.

А я как раз мучительно размышлял о «пушкинском» романе Юнуса и неожиданно родился стих, который, думаю, наверняка в него ляжет: именно как присланный писателю-черкесу московским кунаком его белый стих — «ПОЯС ШАГИДА».

Как могло получиться,
что рыцари Кавказа
стали надевать ожидающим их невестам
не пояса верности,
но — пояса шагидов?
Или невесты надевают их сами,
и они-то как раз и есть
пояса верности
нашему седому Кавказу?
И как получиться могло,
что на глазах русских рыцарей
Кавказ —

«наборный пояс России» —
пьяная тварь
чуть не в миг
превратила
в один почти сплошной
пояс шагида?!..

Размышления о «наборном поясе России» начались десяток, а то и полтора десятка лет назад, во всяком случае в «Кавказском этикете» они уже есть, а в книжке небольшой этот очерк вышел в 1994-ом году...

Взял с полки майкопской этажерки тонкое — майкопское же — издание: «Короли цепей». Приходится самого себя цитировать, но что делать?

«В прошлом веке, в начале нынешнего Кавказ называли наборный пояс России... Но мало, мало, я теперь убежден, задумывались мы о том, к чему это нас обязывает. Недаром ведь снять пояс означало предаться отдыху, праздности и безделью, а надеть его, препоясать чресла, как в старину писали,— быть готовым к неустанному служению в дни мира и в дни войны. Быть сильным. И быть бдительным.

Сам, спасибо добрым людям, понял это давно. И очень хочу, чтобы умом и сердцем сознавали это дети мои и внуки.»

Подумать теперь: какая с тех пор перемена в размышлениях!

Выходит, с развязкой «кавказского узелка» мы нисколечко не продвинулись — более того, более...

Кое-что о бездельниках...

Предыдущий «газырь» вызвал одно невольное воспоминание.

В 1997-ом, когда был в Ижевске на 50-летнем «юбилее» АК-47, многих и многих по всему миру лишившем и громких юбилеев и скромных дней рождения автомате Калашникова — мы поехали якобы «на охоту», на самом деле — в загородный охотничий дом, где приехавшие из Москвы киношники-документалисты хотели снять сцену охоты знаменитого коструктора — Конструктора, как он любит, чтобы его называли.

Только что вышла книжка «От чужого порога до Спасских ворот», которую я помогал делать Михаилу Тимофеевичу: режиссер фильма — как я убедился потом, успешно совмещавший эту профессию с актерской,— только что сказал Конструктору, что всю ночь сидел над ней и несколько раз к глазам его подступали слезы...

Как-то очень быстро мне стало ясно, что фильм будет таким же показушным, какой была эта «охота»... Первой, надо отдать ей должное, это раскусила охотничья собака, по-моему, это был хороший гончак. Как радостно собирался он на «охоту»!.. С каким недоумением тут же возвращался: для того, чтобы киношники могли сделать дубль.

Потом он поверил снова, что охота все-таки состоится, опять радостно заскулил, кинулся вперед... но ведь им нужен был всего-то навсего проход Конструктора с охотничьим ружьем и с собакой.

Несколькими дублями бедного пса окончательно задергали, и даже кусочки колбасы и ломтики сыра не могли подвигнуть его на продолжение съемок... другое дело — люди!

Профессионалы, само собой.

Продолжали снимать свою бодягу, а мне сделалось не то что скучно — тоскливо.

С удовольствием откликнулся на предложение попариться и в баньку собрался задолго до того, как была истоплена — посмотреть, как егеря ее готовили да заодно с ними «потрепаться»...

И вот шел я, начал было спускаться по лестнице, ведущей из нашего коттеджа, и тут оказался вровень с окном, за которым продолжалась съемка: теперь Конструктор сидел в кресле возле уютно игравшего пламенем камина, а перед ним стоял тянущий к нему руки режиссер:

— Не так, умоляю вас, не так!.. Давайте еще раз.

Отступил вглубь комнаты, а Михаил Тимофеевич прерывающимся своим тоненьким голоском снова, я так понял — в который раз, начал:

— На Кавказе старый джигит говорит молодому: «Бездельник! Ты хочешь добывать хлеб потом, а не кровью!..»

— Опять! — вскинул руки картинно страдающий режиссер.— Вы неправильно говорите текст,— и упал на колени перед Калашниковым.— Умоляю вас, произнесите правильно... как там? — и выкинул вверх ладонь.— Бездельник!.. Ты хочешь добывать хлеб кровью, а не...»

— Да нет же! — тоненьким голоском перебил его Калашников.— В том-то и суть: для него пот — это безделица для джигита, а вот кровь — кровь как раз и есть дело... он им столько лет занимался... столько лет людей убивал. И хочет теперь, чтобы молодой тоже...

Продолжавший стоять на коленях режиссер залепил вдруг себе ладонью в лоб:

— Ах, вот оно!.. Да-да, вы правы, ну, конечно: простите меня, простите! — и, поднимаясь, уже командовал левой рукою оператору.— Еще раз — эта сцена...

И Калашников с явным подъемом начал опять:

— На Кавказе старый джигит говорит молодому...

Я пошел по ступенькам, плечи у меня тряслись от смеха: задница! — думал о московском режиссере.— Как же ты всю ночь читал книгу?.. Что в ней, выходит, видел?.. Чего рыдал-то?!.. А Калашников, Калашников-то — а?!.. Как без всяких сомнений и будто свое, давно выстраданное старую кавказскую поговорку пустил в дело в очень подходящий момент... и — что это?.. То ли в нем кавказские корни отозвались? Отраденские. Потому-то вставленная в текст «литературным записчиком» древняя черкесская хула в адрес «современной» той жестокой поре «молодежи» — давно любимое мной присловье — тут же стало родным и ему... или тут другое? Ох, понял я это, слишком хорошо уже понял, что оружейному конструктору деталь из чужого образца к своему приспособить — дело обычное... как так и надо!

Сколько раз жаловался Конструктор на Галила Узиль-Блашникова, «создателя» израильского «узи»... А потом как-то увидал у него цилиндрический — на шестьдесят, что ли, патронов — магазин, и Михаил Тимофеевич, словно предваряя возможный мой вопрос, пожаловался:

— Подарили за рубежом... не выбрасывать же. А Виктор, не спросясь, тут же — к своей конструкции... там и автомат, правда. Говорю: не для дела. Напугать если — только и того... сыплет, как горох, а толку, толку!

«Островитяне»

Для начала две цитации Александра Дюма:

«Нынешние черкесы — один из самых воинственных народов Кавказа — именуют себя адигами. Корень этого слова «ада», что переводится как остров.»

И через полторы сотни страниц:

«Но где, но как, но далеко ли шла Кавказская стена?.. Весть между двумя намазами(т.е. около шести часов) перелетала по этой стене от моря до моря! — говорили мне татары. Теперь мы не знаем вести о ней самой — и, признаться, это не много делает чести русской любознательности.

Как бы то ни было, этот образчик огромной силы древних властей существовал и теперь дивит нас и мыслью, и исполнением. Подумаешь, это замыслили полубоги, а построили великаны. И сколь многолюдны долженствовали быть древле горы Кавказа! Если скудные граниты Скандинавии названы — следует латинское название — как же не дать Кавказу имени колыбели рода человеческого? На его хребтах бродили

первенцы мира; его ущелья кипели племенами, которые по ветвям гор сходили ниже и ниже и, наконец, разошлись по девственному лицу земли, куда глаза глядят, завоевывая у природы землю, а потом землю у прежних пришельцев с гор, вытесняли, истребляли друг друга и обливали потоками крови почву, над которой недавно плавали рыбы и бушевал океан.

(Тут придется вставить в строку примечание А. А. Бестужева-Марлинского, чьими текстами стремительный в работе Дюма пользуется, не исключено, что — дословно: «Когда одни выси Кавказа были видимы из-под воды — они необходимо походили на цепь островов, и вот почему, полагаю я, кабардинцы, древнейшее племя Кавказа, называют себя адеге — т. е. островитяне.»)

Положим, что персидские или мидийские цари могли волей своей двинуть целые народы для постройки этой стены; но вероятно ли, чтобы сии народы могли жить несколько лет в пустыне малонаселенной, лишенной избыточного землепашества? Вероятно ли, чтобы гарнизоны крепостей и стража стены, всегда ее охранявшие, имели продовольствие из Персии? Не правдоподобнее ли положить, что горы сии, тогда мало покрытые лесом, были заселены многолюдными деревнями, золотились роскошными жатвами и что для сооружения этого оплота от северных горных и степных варваров употреблены были туземцы? Не правдоподобнее ли... но что такое подобие правды, когда мы не знаем, что такое — сама правда?..»

Как это сходится с «Кавказской Атлантидой Платона», написанной кабардинцем «московского разлива» Володей Боловым, и в самом деле — титаном (они, по его мнению некогда населяли Кавказ, а мы сегодняшние — по выбору, кто этого заслужил, вернее — доказал это горбом своим либо башочкой — потомки титанов, то-есть как бы титаны тоже... титанята?).

И как это любопытно в применении к нынешнему «островному» положению и Кабарды, находящейся в окружении подпертых Ставропольем республик, и еще больше — к собственно Черкесии, прижатой Ставропольем к Краснодарскому краю и ограниченной с горной стороны Карачаем. Но больше всего это относится к Адыгее, находящейся теперь посреди Краснодарского края, со всех сторон — словно, и в самом деле, «окиян-морем» — им окруженной.

Невольно вспомнил, как на недавних республикан-ских торжествах в Адыгее Пшимаф Шевацуков, профессиональный историк и профессиональный военный, полковник по званию, вместе с которым мы в девяностом начинали в московских землячествах — он в адыгейском, а я — в казачьем, громко сказал с трибуны, что Кубань, словно родная сестра, крепко-крепко обняла Адыгею...

Как у него при этом голос зазвучал!

Тоном своим сказал куда больше...

Но что делать?

Во всех нынешних пламенных разговорах о великой Черкесии, в горячих мечтах о ней есть, видимо, то же самое, что имеет место у нас, когда упоминаем Святую Русь... Какая-то вполне понятная составляющая народной мечты, без которой-то и жить было бы скучно и грустно...

Вернее, не народной, а больше — национальной, привнесенной в народное сознание и развитой в нем теми, кого принято считать современной интеллигенцией адыгов-черкесов.

Но — опять же! — что делать?

Если сообща хотим выжить.

По отдельности — наверняка не получится.

Не дадут.

«Лемносский бог...»

Листал первый том Пушкина, нашел «Кинжал», и на этот раз первая строка стала мне — как привет из недавнего прошлого: из того солнечного утра, когда наш «Азов» вместе с двумя другими «десантниками» — большими десантными кораблями, БДК — стоял неподалеку от Лемноса... Тогда я тщательно пытался отыскать в памяти, что так или иначе связано было с этим островом, но все было отодвинуто на задний план казаками, их лагерем на острове, их оставшимися тут могилами...

Потом увидал невдалеке четвертый корабль, с вечера его не было, спросил у главного штурмана, у Евгения Геннадиевича Бабинова, что это за судно...

— «Шахтер»,— сказал он.

Я сперва не понял, переспросил удивленно:

— Что за шахтер?.. Причем тут?!

— Спасатель,— пояснил он. И улыбнулся.— Там сауна, скажу я вам... Может, сходим?

Но я уже зациклился на названии корабля... да что же, мол, это такое? Уходишь за тысячи километров от Сибири, а Кузбасс — вот он все равно, рядом!

Может быть, и в самом деле надо было «сходить» на корабль-спасатель?.. Для разговора, как говорится. Чтобы сравнить кроме прочего сауну на нем с парилочками на шахтах вокруг нашей «Кузни», эх!

Но меня тогда увело в рамышления о Кузбассе и о казаках, которые сперва били шахты, а потом на них же работали: сначало сосланные сюда в первые годы совет-ской власти, а после — те, кого привезли в Кузбасс из австрийского Лиенца.

Тогда мне вдруг открылось, почему Ирбеку Кантемирову так нравилась шахтерская публика на представлениях осетинских джигитов: кто же, как не эти истосковавшиеся под землею по вольной воле казаки и мог по достоинству оценить мастерство наездников?!

А теперь вот «Кинжал» Александра Сергеевича тоненько кольнул уже иным размышленьем...

Где Александр Сергеевич видел бурку?

Это четверостишие помещено в первой книге пушкинского десятитомника в разделе «Ранние стихотворения, незавершенное, отрывки, наброски»:

Теснится средь толпы еврей сребролюбивый,
Под буркою казак, Кавказа властелин.
Болтливый грек и турок молчаливый,
И важный перс, и хитрый армянин —

В примечании сказано, что «в наброске описывается Старый базар в Кишиневе.»

Так ли?

Опубликован он в разделе «1821», а пятью страничками раньше — под рубричкой «1820» — помещен стих «Я видел Азии бесплодные пределы», о котором в примечании говорится, что это — «первое известное нам стихо-творение, написанное после высылки из Петербурга, на Северном Кавказе.»

Но тут я должен воздать должное моему кунаку Юнусу: все десять томов «худлитовского» издания 1974—1978 отмечены следами самой скрупулезной над ними работы — в особенности, разумеется, то, что относится к Кавказу и ко всему тому, что непосредственно с ним либо с завоеванием его связано, но не только, не только. Чуть не каждая строка в переводе письма Чаадаеву в последнем, десятом томе жирно подчеркнута некогда черными чернилами, которые, расплывшись и разделившись тем самым на несколько цветов радуги, сделали текст совершенно непреодолимым для глаза...

Вот оно — «первое известное нам»:

Я видел Азии бесплодные пределы,
Кавказа дальний край, долины обгорелы,
Жилище дикое черкесских табунов,
Подкумка знойный брег, пустынные вершины,
Обвитые венцом летучим облаков,
И закубанские равнины!

Последняя строка, разумеется, подчеркнута, и она — жирно. Правда на этот раз — карандашом: был в наших краях Александр Сергеевич, был!.. А он ведь так и представляется, Юнус: мол,— закубанский черкес.

Не логичнее ли предположить, что стих «Теснится средь толпы...» — развитие, так сказать, кавказской темы? Ведь если «еврей сребролюбивый» вездесущ, то не слишком ли далеко забрался со своею буркой кубанец? Это же касается и «важного перса».

Да и базарная ли это толпа? Не скорее ли — обобщенный этнический портрет кавказских насельников того времени?

А почему легко верится в ошибочность предположений составительницы примечаний Т. Цявловской, а то и в предвзятое ее лукавство — уж больно революционизирует она Александра Сергеевича и совсем отдаляет в небольших своих текстах от веры: как это называлось когда-то — излишняя социологизация?

И «сребролюбивый еврей», конечно же, неуместен в каком бы то ни было обществе: кроме базарной толчеи...

Ушел я краем сознания в невольные картинки былого и вспомнил Гагру, столовую дома творчества, где очень старый тогда уже, но подчеркнуто интеллигентный, в белом чесучевом костюме академик Н., главный наш «пушкинист», сидел за столом в обществе своей жены и ее — примерно таких же лет, как и сам он — любовника: также втроем они жили и в двухкомнатном люксе на втором этаже приморского корпуса, чем, естественно, вызывали много вопросов, волнующих воображение обывателя... да и его ли только?

Но я хотел о другом: о тех изменениях, которые произошли с тех пор на Кавказе.

Пушкинский стих должен был бы звучать нынче так:

Теснится средь толпы еврей сребролюбивый
И хитрый армянин, Кавказа властелин,
Болтливый грек и турок молчаливый,

И важный перс, под буркою казак...

Может быть, не совсем — в отношении формы, зато по существу...

С помощью Советов да нынешней суверенизации профукали казачки Кавказ, прокакали.

Подкрепление от Ивана Александровича

Пожалуй, слишком растревожили меня последствия потопа, которые видны были в Новокубанске повсюду... Чувствовалось, как после страшной разрухи люди с новой энергией начинают обихаживать землю, и энергия эта толкнулась и в мое сердце почти профессионального перекати-поля.

Купил на базаре у очень симпатичных пожилых армян — Павла и Анатолия (этот из Харькова, тоже гостил в Новокубанке — у Павла. Назвался он, по-моему, Сагаланом либо Сагалаком... а по-русски, мол,— Толик) два довольно больших, выращенных с помощью отводки, кизиловых деревца, стал сажать их во дворе у Ромичева, друга Михалыча, к которому приехали на его 70-летие, и тут нахлынули воспоминания о родительском доме в Отрадной, всеми нами покинутом... о двух кустах свидины — волчьих ягод, которые великий лесник и друг детства Юра Галушко то ли по ошибке, совершенной по причине постоянного «пианства», а то ли желая надо мной подшутить, подсунул мне несколько лет назад вместо кизила... жестокая шутка, боль от которой с годами ощущаю все явственней. Уже менялась погода, я как почти всегда ощутил это задолго, а в Майкопе сердчишко и еще придавило, пришло то самое настроение, при котором самого себя становится жаль...

На праздник мучеников Гурия, Самона и Авива пошел в Троицкую церковь, и на исповеди у молодого священника, который оказался — как уже потом выяснилось — тем самым отцом Василием, кому Лариса привезла из Москвы, от знакомых его, видеокассеты, разнюнился я и говорю: впервые, мол, ощутил, как это нынче стало тяжело — жить, как я, «на три дома», тем более, что такие они большие: Кубань, Москва и Кузбасс... И дело не в физических либо нравственных силах — в дороговизне билетов и в собственной материальной несостоятельности, да и не только в ней... Все труднее поддерживать тех, кто нуждается в помощи: с устройством на работу, предположим, чем я полтора месяца пытался заниматься в Новокузнецке... со всем другим, что делать для друзей и добрых знакомых раньше было, может быть, и не просто, но все же по силам. А теперь все неохотней отзываются на просьбы те, от кого что-либо в нынешней жизни

зависит... Я уже не могу быть щедрым по отношению к тем, кто живет похуже меня, и мне уже стыдно обращаться к тем, кому в былые дни помочь было для меня — проще простого...

Потом я, правда, утешился и «возвеселился». Во время причастия другой священник, уже достаточно пожилой, когда я назвался Гурием, сердечно сказал мне:

— С днем Ангела!..

Это в мои-то шестьдесят шесть... Чуть не впервые услышать это, столь трогательное, с таким участием, с такой душой сказанное, тем более, что и батюшке ведь радость наверняка: в день Гурия и вдруг — Гурий причащается, такой нынче — в смысле имени — редкий.

Но мысль о достаточно странном моем житье в трех столь разных местах и заодно — как бы и в разных временах — не покидала меня, заставляла вздыхать и возвращаться мысленно к возможным решениям на этот счет... к грустным, хочешь или не хочешь, решениям относительно «семейного очага» и «теплого дома».

А вчера, 1 декабря, сидел над статьей Ивана Александровича Ильина «Пророческое призвание Пушкина» и наслаждался удивительным текстом... проникновенным, открытым, одновременно глубоким и восторженным... правда: это какое-то парение во времени и пространстве, в продолжение которого открывается мало ведомое раньше, и такие дали становятся видны, такая высота и глубина!

И вдруг я словно нашел то, по чему давно тосковал: «Вся жизнь его проходила в восприятии все новых миров и новых планов бытия, в вечном, непроизвольно-творче-ском чтении Божиих иероглифов.»

Потом: «Эта всеоткрытость души делает ее восприимчивою и созерцательною, в высшей степени склонною к тому, что Аристотель называл «удивлением», т. е. познавательным дивованием на чудеса Божьего мира. Русская душа от природы созерцательна и во внешнем опыте, и во внутреннем, и глазом души, и оком духа. Отсюда ее склонность к странничеству, паломничеству и бродяжеству, к живописному и духовному «взиранию».

Опасность этой созерцательной свободы состоит в пассивности, в бесплодном наблюдении, в сонливой лени. Чтобы эта опасность не одолела, созерцательность должна быть творческою, а лень — собиранием сил или преддверием вдохновения...

Пушкин всю жизнь предавался внешнему и внутреннему созерцанию и воспевал «лень»; но чувствовал, что он имел право на эту «лень», ибо вдохновение приходило к нему именно тогда, когда он позволял себе свободно и непринужденно пастись в полях и лучах своего созерцания. И,

Боже мой, что это была за «лень»! Чем заполнялась эта «пассивная», «праздная» созерцательность! Какие плоды она давала!

Вот чему он предавался всю жизнь, вот куда его влекла его «кочующая лень», его всежизненное, всероссийское бродяжество:

По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот правда!..

Прав был Аристотель, отстаивая право на досуг для тех, в ком живет свободный дух! Прав был Пушкин, воспевая свободное созерцание и творческое безделие! Он завещал каждому из нас — заслужить себе это право, осмыслить национально-русскую созерцательность творчеством и вдохновением.

Далее, эта русская душевная свобода выражается в творческой легкости, подвижности, гибкости, легкой приспособляемости. Это есть некая эмоциональная текучесть и певучесть, склонность к игре и ко всякого рода импровизации. Это — основная черта русскости, русской души.»

Вот и перетекло одно в другое: не потому ли я «торчу» — а, в самом деле, живу с таким непреходящим и благодарным интересом — в Адыгее, среди черкесов... Только представить себе, как счастлив был бы такою возможностью Александр Сергеевич Пушкин!

Светлая Вам память, высокочтимый страдалец Иван Александрович!

Очаг Божий

Прогуливался ранним утром — хотя какая это рань, семь часов! — по огороду, смотрел на восход, на этот жар, который пробивается сквозь путаницу черных деревьев вблизи и подальше, малиновым светом поднимается над крышами домов, разливается все шире по обе стороны от того места, где солнышко вот-вот прожжет горизонт...

Думал опять о том, что точно также, как темная стена во время здешней непогоды, встает на том месте, где лежит моя Отрадная, так и солнышко начинает свой свет разливать оттуда же...

Думал опять о теплом доме и дающей это тепло печке, в которой дрожит малиновый жар... вот: Господь уже растопил свою печь — одну на всех нас... Если не сидишь у открытой дверцы собственной печурки, разве мало для тебя — этой?..

«На солнечном сплетении Евразии»

Так называлась в «Советской Адыгее» статья, в которой говорилось о «межвузовской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития Юга России в 21-м веке».

Вот, значит, где расположен Майкоп, где находится моя станица Отрадная, которая потихоньку становится уже армянской станицей...

Но не о том речь.

В статье есть подзаголовок «Гость Республики», под которым напечатано интервью с «патриархом российской науки» — перечисление всех его званий и регалий занимает строчек пятнадцать-двадцать — Юрием Андреевичем Ждановым.

Тем самым: сыном одного из самых близких сподвижников Сталина в послевоенное время.

Интервью в этом смысле — «матч упущенных возможностей», и тем не менее два вопроса и ответа «патриарха» весьма любопытны:

Вопрос Оксаны Гамзаевой: «Сегодня Вы перед студентами выразили сожаление, что в современной Франции нет ни Вольтера, ни Бальзака. Посетовали, что, когда были в Англии, Вам не удалось встретиться с Шекспиром. В чем, на Ваш взгляд, корни нашей нынешней бездуховности?

Ответ: «Двадцатый век оказался веком техники, и большинство талантов стремилось себя реализовать не в литературе, а именно в технике. Самая модная профессия — инженер, возникло даже выражение — инженеры человеческих душ. Несомненно, отток душевной энергии в сторону техники в какой-то степени сохраняется до сих пор, и это отвлекает часть сил от художественного творчества. Во-вторых, служенье муз не терпит суеты, а век оказался очень суетливым и динамичным, причем эта динамичность трагически надрывная — антагонизм, споры, конфликты... Дух требует всегда некоего покоя, отстраненности от будней. Это тоже не содействовало высокому развитию именно художественной культуры. И третье обстоятельство: когда все кипит и бурлит, со дна поднимается тот осадок, который не должен был подниматься. Все перемешивается, возникает духовная турбулентность.»

Все иносказания, иносказания... Все — как в «некие» времена — для чтения между строк?

Вопрос: «Знания умножают наши печали. Какие Ваши планы пока остались нереализованными?»

Ответ: «К сожалению, их очень много. Сейчас я часто обращаюсь к общественным наукам, гуманитарной классике. Недавно вот обнаружил у Плеханова интересное размышление по проблеме усталости нации. Французская нация пережила многочисленные исторические потрясения: революция 1789 года, якобинцы, якобинский террор, Наполеон и т. д.— нация устала. Любопытное суждение, и теперь я анализирую на нашем историческом примере. Война японская, германская — тоже наступило утомление. Отсюда и известная апатия, каждый замыкается в себе...»

Слишком мягко сказано?

Дальше он говорит: «Знаете, я к 80-ти годам понял, наконец, Маркса. Корю себя за то, что недостаточно хорошо знаю математику и уже никогда не узнаю. Что не так хорошо владею музыкой, бренчу любительски, но серьезно не владею инструментом. Так много не сумел и не успел...»

И тем не менее, а?..

Любопытно: почему и он, и сын Маленкова Андрей — химики?

Да и не в честь ли Жданова Георгий Максимилианович назвал сына Андреем?

«В зимний холод...»

В Майкопе третий день холодюка: наверняка достал переваливший через хребет ледяной ветрище Новороссийска... Я-то, само собою, расправил плечи. Как посмеивались наши «морозоустойчивые» евреи: «Мы — сибираки!» Вот и я — тоже. «Сибирак».

Опять весь город высыпал демонстрировать дорогие шубы: такая редкая возможность!

Адыгейцы надели русские треухи, кто побогаче — непременно из пыжика.

Как я забыл в Москве свой «пирожок» из цигейки, за семь рублей купленный когда-то в Москве из гонорара за первый роман! Почему это помню,— редактор Игорь Жданов, вместе с которым сделали эту вынужденную покупку — оказался в Москве без шапки — все говорил: «Потеплеет — выбросишь!»

Но он верно служит мне до сих пор.

Что бы теперь придумать в Майкопе?

Кунак все обещает мне черкесскую папаху, высокую, как печная труба, но ждать ее, судя по всему, еще долго...

Вспомнил отца, который ходил в кубанке с синим верхом. Вспомнил его любимую поговорку: «В зимний холод всякий — молод!»

Я ее долго не понимал, потом как-то спросил: что она означает, к чему она?

Отец не успел ответить — рассмеялась «мамаша», наша крестная: Карпенчиха.

— А посмотри на улицу: вон — Сазонович. В понедельник ему сто лет будет, в жару еле шкандыбает, а сычас, глянь: несется как змеюлат...

Подвиг — половина дела

С музыкантами и певцами ансамбля «Русская удаль» ехали в станицу Гиагинскую, где они должны были дать концерт...

Слышал их в прошлом году, очень расположился, а тут Эдик Овчаренко свел нас, наконец, с руководителем его, Анатолием Шипитько, чей портрет недавно закончил — прекрасная работа, обрадовал меня мой старый друг, очень обрадовал.

У Эдика в мастерской я и спросил Шипитько, когда и где ближайший концерт, там я в Гиагинскую и напросился, тем более, что в памяти и в душе с этой станицею столько связано...

Надо сказать, что у ребят из ансамбля — само собой, это касается и женской его части — очень хорошие лица, словно одухотворенные благородным их занятием народной культурой, атмосфера в автобусе установилась простая и дружеская.

Мы с Анатолием Васильевичем все разговаривали, искали общих товарищей, общих знакомых и, слава Богу, находили...Когда я забыл название очень дельного коллектива из хорошо знакомого мне Прокопьевска, он тут же подхватил: ну, как же, мол,— знаменитые «Скоморохи»!

Вторым планом я все размышлял о Гиагинской и, наконец, спросил Шипитько: слышал он что-нибудь о восстании Урупского полка казаков?

Нет, оказалось, не знает ничего... Даже он, родом майкопский. Не говоря уже о том, что вообще человек эрудированный, бывалый, хорошенько по России,

выражаясь словами Николая Васильевича Гоголя, «проездившийся»: десяток лет кроме прочего работал в Сибири.

Может, думаю, спросить ради эксперимента о броненосце «Потемкин»?.. Сам я так давно уже прямо-таки мечтаю сравнить два эти восстания, да все недосуг.

На этот счет промолчал, а о казаках очень коротко стал рассказывать: три самых холодных месяца — с ноября по январь — полк в полном, считай, составе скитался от станицы к станице. Где-то встречали их хлебом солью, а где-то выкатывали навстречу груженую продуктами телегу: возьмите-ка, мол, хлопцы на пропитание и с Богом ступайте мимо... Кубань бурлила: по станицам и в городах шли сходы, на которых предлагалось осудить восставших казаков, призвать их прекратить смуту.

И в самом деле, только в моей Отрадной такой сход собирали трижды, и трижды станичники повторяли одно и то же: либо в станицу должны приехать трое восставших, чтобы рассказать правду о том, что в полку происходит, либо трое станичников должны у урупцев побывать — чтобы узнать все «без брешешь».

В Майкопе жители щедро угощали казаков, но городское начальство предложило не задерживаться... На чем сошлись — в местной типографии им позволили отпечатать свое воззвание.

А в Гиагинской, продолжал рассказывать Анатолию Васильевичу, восстание закончилось. Тамошний священник сочувствовал казакам, полк занял оборону вокруг церкви, но когда по ним ударили из орудия, и снаряд разорвался совсем рядом с храмом, пришла депутация жителей: пощадите, мол, и церковь нашу, и нашу станицу. И казаки — посовещавшись в который раз — наконец-то сдались...

— Обязательно дам тебе прочитать их воззвание,— пообещал Анатолию.— Всегда вожу его с собой: на случай, если осенит, наконец... может быть, если, наконец, пробьет совесть?

Дело, и правда, удивительное: ничего дельного по сути о восстании до сих пор не написано. Когда в преддверии его 90-летия я начал разговор об урупцах с кем-то из кубанских казачьих «генералов», он поморщился: зачем, мол, сегодня упоминать — опять рознь сеять?

Какашки должны быть вместо звезд на погонах у вас, ребятки!

Вот оно, это «ВОЗЗВАНИЕ КАЗАКОВ 2-го УРУП-СКОГО ПОЛКА О СВОЕМ ОТКАЗЕ НЕСТИ ПОЛИЦЕЙСКУЮ СЛУЖБУ»:

«Граждане! Обращаемся к вам за справедливым суждением о нашем деле. Мы его делали открыто и хотим, чтобы весь народ русский знал, что как было. Мы остаемся верными слугами его императорского величества государя императора и готовы защищать нашу родину от внешних врагов до последней капли крови. Призванные по мобилизации 22 ноября 1904 г. во

время войны с Японией, готовые доказать всему миру свою верность родине, жаждущие сразиться с врагом, мы волей нашего правительства были оставлены внутри России для несения полицейской службы. Слепо повинуясь нашему начальству, мы ревностно исполняли все его приказания: били народ плетьми, разгоняли его прикладами, расстреливали безоружных граждан на улицах, топтали их конями, мы охраняли гостиницы и публичные дома, нас отдавали под начальство городовых, которые распоряжались нами в целях своей выгоды. В холод и голод несли мы службу, но без ропота молчали, думая, что этим исполняем волю государя, но когда манифестом 17 октября наш царь дал русскому народу свободу, когда всем стало ясно, что он хочет облегчить жизнь бедному люду, и когда нашему житью-каторге не стало облегчения, тут-то мы стали понимать, в чем главная суть есть. Начальство наше так устроило, что манифест нас совсем не коснулся, как будто бы мы были турки, а не такие же верноподданные государя императора, как будто бы мы были не сыны родины, не такие же граждане, как и вы, не защитники отечества. А между тем жить нам становилось все хуже и хуже, больше не было мочи выносить. Нам запрещали ходить на митинги, где говорилась правда, нам запрещали под страхом наказания собираться промеж себя, обсужать свои нужды, а когда мы заявили своему начальству, что нас кормили цвелым хлебом, что в казенных сухарях была шашель, не говоря уже за мясо и горячую пищу, то один из офицеров, Б., сказал с насмешкой, что «вы дома ели хуже, чем мои собаки едят, а тут еще не нравится казенное кушанье». Нас приравняли к собакам, не посмотрели на нашу просьбу. Нами заменяли лошадей: на нас вывозили конский навоз со двора, как это было в 5-й сотне, лошадей наших кормили прелой осокой, как это было во время пребывания полка в лагерном сборе — в станице Крымской, причем от такой пищи несколько лошадей пали, а многие позаболели. Несколько раз мы заявляли о нашей тяжелой жизни начальству, нам отвечали на наши просьбы обещаниями предать суду, отборной бранью и угрозами застрелить всякого, который осмелится пожаловаться на свое положение, нас заставляли молча оберегать те заведения, где офицеры в весельи проводили время.

Граждане! Тяжело нам пришлось, так тяжело, что и рассказать нельзя. Горько и обидно нам стало, когда после манифеста 17 октября правительство заставило идти нас против воли государя, дозволившего свободу собраний, слова, совести и союзов, когда оно заставило нас разгонять собрания, убивать народ, требующий своих законных прав, как это было в городе Екатеринодаре, а до этого в городе Новороссийске. Мы поняли, какое преступление мы совершили перед горячо любимой родиной, исполняя безумные приказания нашего начальства, а потому мы категорически отказываемся от несения полицейской службы, видя ее преступность, считая ее несовместимой с воинской честью казака.

Мы обратились тогда с заявлением о роспуске к нашим офицерам как к старшим, так и младшим, мы объяснили им, что война окончена, что нас

держат для усмирения того народа, который хочет свободы, что хозяйства наши без нас порасстроились, что многие из нас совсем разорились, что наши жены и дети голодают, в то время как мы находимся на полицейской службе. Мы объяснили им, что никто не позаботился о наших семействах, мы объявили, что хотим разъехаться по домам.

Что же сделало наше правительство?

Пошло ли оно навстречу желаниям казачества? Нет.

Оно стало упрекать нас в бунте, в измене присяге царю и отечеству, оно не хотело исполнить наших просьб, стараясь строптивостью и грубостью задавить изболевшиеся души. Но когда наше начальство увидело, что мы держимся дружно, то оно не дало нам окончательного ответа, стараясь уклониться от него, возбуждая в то же время против нас пластунов. Так, например, по приказанию генерал-майора Бабыча были вызваны для охраны наказного атамана к дворцу наши две конные сотни, в то же время около дворца стояли две сотни пластунов, которым предлагали расстрелять нас как бунтовщиков, но они отказались, так же, как и мы отказались, когда нас хотели натравить на 252-й Анапский резервный батальон.

Когда же, таким образом, коварные замыслы нашего начальства не удались, благодаря отказу пластунов, когда мы узнали, что правительство мобилизует новых казаков, быть может, с целью натравить против нас, мы сочли за благо удалиться из Екатеринодара в свой отдел.

Решили мы это потому, что не хотели крови, братоубийственной войны, которую хотело устроить наше начальство, натравив солдата на казака, казака на солдата, казака на казака, брат на брата, чтобы потом покрепче сесть на нашу шею,— мы же хотим мира и спокойствия, мы хотим счастья для всех граждан и, поняв, наконец, поведение нашего начальства, которое заставило нас избивать свой народ, жаждущий справедливости и свободы, мы присоединяем свой голос к голосу всей России и требуем:

1. Немедленного созыва Государственной думы на началах всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, так как только такая дума может внести мир и спокойствие в нашу настрадавшуюся родину.

2. Требуем немедленного освобождения людей, пострадавших за дело свободы.

3. Чтобы наш роспуск был узаконен и прочитан при станичных сборах.

4. Удовлетворить нас всеми довольствиями, положенными от казны и войска, а именно: жалованьем, ремонтными, провиантскими, приварочными, фуражными, положенными от города, железной дорогой и обмундировочными деньгами.

5. Чтобы никто из предъявивших эти требования не пострадал — за каждого пострадавшего казака встанет весь 2-й Урупский полк.

Впредь до исполнения указанных требований мы решили оружие оставить при себе.

Второй Урупский полк.

По вынуждению урупцев и в ограждение

города разрешил к печатанию

и. д. полицмейстера Ромащук.

Майкоп, типография Чернова.»

Такой вот документ...

Который раз перечитываю, и опять — комок к горлу: сколько горя и сколько достоинства!.. Куда потом в нас оно подевалось?!

То есть, дело-то ясное: и натравить брат на брата удалось — не одним, так другим.

И — сесть на шею.

Так с тех пор и сидят...

Но почти никто почему-то не знает об этом документе, в котором, будто в зерне, спрятан будущий росток такого горя великого, такой беды страшной!

А есть ли в нем надежда?

Сколько длилось восстание, сколько за это время натерпелись казаки, о чем только не переговорили-не передумали!..

То ли дело — этот чисто одесский вариант: поорали, помитинговали, угнали за границу корабль и бросили. Заняло-то все-про-все пару недель от силы. Но разговоров-то, разговоров!

О р-революционных моряках. Об этом сумасшедшем лейтенанте Шмидте: выясняется теперь, и действительно — сумасшедшем.

Но кинокартина «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна свое дело сделала.

Как говорили древние: подвиг — половина дела. Вторая половина — песня о подвиге.

Но горькую эту песню — о казаках 2-го Урупского полка — так никто до сих пор и не спел...

«Что хуже — шутка или брань?»

Пошел со своими четырьмя томами в управление епархией, но Владыки не было, уехал в Калининград, где служил до этого... Отдал книги назвавшей

себя Анастасией симпатичной молодой женщине из пресс-центра, а она отдарилась номерком «Майкопского церковного вестника», в котором и напечатана эта статья насчет шуток... строгая!

Подписана она архимандритом Рафаилом (Карелиным), и я все пытался себе представить этого бескомпромиссного батюшку: не слишком ли он, и действительно, категоричен?.. Если еще и шутку нынче у русского человека отобрать, совсем ему будет скучно.

Вот начало статьи:

«Два греха, внешне как будто противоположных друг другу — смехотворство и сквернословие — имеют много общего. Шутки и брань представляют собой карикатуру на человека. В шутке исчезает уважение к человеку как образу и подобию Божиему. А вместе с уважением пропадает любовь.

Во время шуток и смеха ум человека помрачается, он не может мыслить о чем-либо высоком и святом, он ищет в других уродства.

Первым шутником был Хам, который надсмеялся над наготой отца, а ее раньше — демон, посмеявшийся доверчивости первозданных людей. Недаром демона называют шутом и нередко изображают в одежде скомороха.

Говорят, что от шуток бывает хорошее настроение — это неправда.»

Ну, и дальше — все так же сурово и жестко.

Чего только мне в голову не пришло по этому поводу...

Чуть ли не первым делом — не доведенная до ума повесть «Муромец и нахвальщик», в которой как раз и говорится, что раньше Россию пытались взять силой, а теперь почти уже положили на лопатки пошлыми шутками…

Но ведь смех смеху — рознь!

Где ты, отец Феофил, наш мудрый советчик?

Показалось вдруг, что повесть потому-то и не удалась, что от поединка смехом, где мне и надобно было побеждать всех этих — которых еще со времен работы в издательстве «Советский писатель» очень хорошо знаю лично — мелких жуликов, перешел я на тон серьезный и очень значительный... что против Хазанова — хочешь — не хочешь — выставил конструктора Калашникова с его автоматом: хоть Михаил Тимофеевич и большой юморист,— нашел шутника!

И кто только не припомнился: и однокурсник Миша Ардов, сын писателя-юмориста Виктора Ардова, ставший потом отцом Михаилом, и многие другие знакомые батюшки...

Тогда, на факультете, у нас всякий день с того и начинался, что мы трое-четверо — Олег Дмитриев, Сашка Авдеенко (Дмитрюха и Авдюха), Лева

Лебедев, я — встретив Мишку, уединялись с ним в каком-нибудь факультетском уголке, и он выдавал нам пять-шесть новеньких анекдотов: от самого Ардова, который вел у нас семинар по фельетону, надо сказать, такой скучный, что после одного-двух занятий мы перестали ходить на него... да и зачем, правда что, если есть Миха, который еще не то расскажет...

Уважаю выбор отца Михаила, многое понимаю, но когда увидал его по телевизору — рассказывающего о том, что написал смешную книжку о священниках — живо вспомнил всех нас, давящихся в уголке смехом — на зависть остальным сокурсникам...

Не думаю, что Миша пошел в священники примерно с такой же целью, с какой Сергей Каледин пошел в сторожа на кладбище — написать повесть, которую он назвал потом «Смиренное кладбище»... И все-таки, все-таки...

Одно дело — священнослужитель, и совсем другое — мы, грешные. Не нам ли и позволено высказать, что батюшке не с руки?

И таким вот образом — как это делает архимандрит Рафаил — нас от этого, часто необходимого, дела отваживать?

В Свято-Михайловом монастыре — на праздник Архистратига Михаила — мы стояли чуть позади кружка, в котором владыка Пантелеймон с духовным окружением вел разговор с руководством турбазы «Романтика»: об окончательной — после недавнего указа президента Совмена — передаче церкви всего того, что еще недавно было в собственности турбазы. Чувствуя деликатность ситуации — глава турбазы адыг — и, видимо, желая смягчить ее, Владыка сказал: мол, понимаю вас — это ваша работа. Делайте ее, как пожелаете. Что не оскорбляет чувств верующих, пока — здесь. А то что неприемлемо для нас,— за пределами. Подальше в лесу можете открывать хоть свой Лас-Вегас...

— Аслан-Вегас,— по привычке подсказал я доброжелательным тоном, поскольку имя директора турбазы — Аслан.

Владыка быстренько, хоть он не худенек телом, обернулся, поглядел на меня, но осуждения в глазах у него не было, даже как бы наоборот.

Да и сам Аслан улыбнулся — хотя и не очень весело.

Я потом подошел к нему, обнял за плечи: вам надо, говорю, использовать этот момент, чтобы от того же, может быть, президента добиться помощи для турбазы. Мол, что делать, уходим, но — помогите нам уйти без потерь!

— Спасибо за совет,— не очень весело сказал он.

— Что делать? — сказал я.— В этом смысле мы все еще продолжаем жить в стране советов...

Что тут дурного-то, братцы?

Деликатная шутка, добрая улыбка — да они горы готовы сдвинуть. Не помню, кто-то сказал: шутка, мол, может перенести через пропасть, которую никаким другим образом преодолеть невозможно.

Я не об этой своей шутке — о шутке вообще.

В отсутствии отца Феофила и его подаренного нам в Кобякове семитомного «Букваря для верующих» — каждый такой «букварик» состоит из полутора тысяч страниц — обратимся к подручным средствам... К Ивану Александровичу Ильину, который в той же статье «Пророческое призвание Пушкина» пишет:

«Укажем, наконец, еще на одно проявление русской душевной свободы — на этот дар прожигать быт смехом и побеждать страдание юмором. Это есть способность как бы ускользнуть от бытового гнета и однообразия, уйти из клещей жизни и посмеяться над ними легким, преодолевающим и отметающим смехом.

Русский человек видел в своей истории такие беды, такие азиатские тучи и такую европейскую злобу, он поднял такие бремена и перенес такие обиды, он перетер в порошок такие камни, что научился не падать духом и держаться до конца, побеждая все страхи и мороки. Он научился молиться, петь, бороться и смеяться...

Пушкин умел, как никто, смеяться в пении и петь смехом; и не только в поэзии. Он и сам умел хохотать, шалить, резвиться, как дитя, и вызывать общую веселость. Это был великий и гениальный ребенок, с чистым, простодушно-доверчивым и прозрачным сердцем,— именно в том смысле, в каком Дельвиг писал ему в 1824 году: «Великий Пушкин, маленькое дитя. И дика кшел, т.е. делай что хочешь...»

Любопытно, что на той же полосе «Майкопского церковного вестника» над строгим нравоучением архимандрита Рафаила помещена такая же по объему статья, названная строкою из Пушкина «Что за прелесть эти сказки!», вызвавшая у меня некоторое смущение именно заголовком...

«Прелесть», если на то пошло, «совращенье от злого духа». Но тут-то — как бы и ничего, можно?

Не то же самое с шутками?

«Разбирательный образ»

Итак — новое слово в отечественном литературоведении... завидуй мне, «сопарник» мой — товарищ по парилочке Борис Андреевич Леонов!

Нет, правда: еще недавно — касалось ли дело положительного героя или отрицательного — мы говорили о «собирательном образе», соединившем в себе черты, подсмотренные писателем у многих и многих... чем больше, тем лучше? В том смысле, что герой становился полнокровней и притягательней...

О некоторых своих «сложносочиненных» образах мне приходилось писать, хотя широкой русской натуры человек — начальник стройки Платохин в романе «Пашка, моя милиция», требует, и правда же, отдельного разговора,

поскольку «состоит» их трех морозоустойчивых сибирских евреев: Бинштока, Вортмана — светлая вам, дорогие мои, память! — и Нухмана, да здравствуйте, Абрам Михалыч, хотя бы еще лет десяток, чтобы могли мы собраться на 50-летии «первого колышка» нашего Запсиба и посмеяться над нынешними его хозяевами, которые «пешком под стол» тогда еще не ходили, а, может быть, только ползали... вот так ползком, на животике и обошли трудяг современные «пластуны», любопытно, куда приведет их потом этот способ?

Но мы о «разбирательном образе»...

Так бы вот, по воле автора слившись в художественном экстазе, и заканчивали бы жизнь прототипы героев собирательных, да тут на крутом вираже времен все попадало с привычных своих полок, все раскатилось, зажило самостоятельной жизнью... интересное дело!

Как резко разбежались реальные судьбы прототипов, какие начались с людьми превращения, часто не то что неожиданные — казалось бы, и вообще невероятные!

Ярче всего это заметно в случае с дорогим мне Максимом Коробейниковым из «Вороного с походным вьюком»: то несколько старых моих товарищей, будто «сбросившихся» на образ крепкого мужика, в разные стороны разъезжали не только по стране — по всему миру, а тут они во все тяжкие пустились, вообще в разные стороны, кто куда, кто зачем... Но на меня все оглядываются... в каком-то смысле — как на маму, которую они бросили? Как на некий запасной аэродром: мало ли чем дело кончится?... как на свидетеля?

Или по-прежнему — как на диспетчера, каким для многих из них я всегда был: «А где сейчас Коля?» «Там-то и там.» «Давно звонил тебе?.. Дай-ка его координаты — вдруг буду в тех краях...»

Но не только чисто дружеский интерес слышится теперь в тоне: посидеть — выпить — повспоминать.

И куда больше — не он...

Коммерческая жилка прямо-таки дрожит и бьется в знакомых до боли голосах.

И так становится радостно, когда кого-то из них по-прежнему ощущаешь другом молодости, дружком юности...

Затык

«Киношное» слово, обозначающее временный творческий тупичок... Думал найти у Даля нечто похожее, но нет, нету.

А у меня затык случился с очередным очерком об Ирбеке. Так вроде хорошо и просто начался, а потом — на тебе...

Но и дело сложное: подошел к разговору об обычае... о том, что еще недавно называли пережитками прошлого... пережили бы они еще и это вонючее время «демократических перемен»... как вспомнишь!

— Я демократ! — говорил я секретарю парткома Белому на родном Запсибе.

— Прежде всего ты коммунист,— поправлял он, как в том анекдоте про импотента.

— Да нет же,— настаивал я.— Прежде всего я — демократ, а там уже... это ведь как черта характера, это — врожденное!..

И вот что они с этим сделали: гов...ки, у которых врожденной-то черты этой как раз и не было, врожденное у них было — лизать и ползать.

Но о другом речь.

У Даля вообще-то нет «пережитка» — в похожем значении есть «пережитье», «пережив», «переживка»... «Пережиток», выходит — родное дитя социализма?.. Которое и похоронит родителя?

А подумалось мне вот о чем: а что, если тот самый фильм — «Возвращение странника» — нам снять бы с Мишей Кантемировым, с Мухтарбеком... О возвращении на родину изгнанного в свое время обычая... Успеет ли?

Хоть что-то еще спасти?

А посвятили бы фильм Ирбеку...

Осторожно: газыри!

Три дня подряд ездил в Москву, не мог работать: все только размышлял, благо, что давалось это с радостью и светом, который помогал складывать и сплетать сюжеты. Вчера вдруг подумалось: да ведь на самом деле все, связанное с участием в выборах в Госдуму, очень хорошо ложится в третий «хоккейный» рассказ — после «Хоккея в сибирском городе» и «Хоккея и мальчика»... Господь любит Троицу!

Тем более, что главные, в общем-то, герои из «Мальчика» прямо-таки закономерно перейдут в третий рассказ... Да и назвать бы его было можно «Кого хочешь, выбирай, или Хоккей в Баварии», предположим...

Но это так, для разбега.

А почему такое название очередного «газырька» — да потому что и проза моя может точно также в «Газыри» уйти, как ушло в них, как пар в свисток, казачье «возрождение»... газырями и кончилось!.. Осторожно!

По-бере-гись!..

На этот раз — «Газырей».

Рубль от красноармейца Федора Сухова

Это я все скрашиваю себе жизнь печальной иронией...

Чаще всего рублишко-другой для попрошаек в кармане имеется, и стараюсь непременно подать сидящим на снегу таджикам: как их в Новокузнецке — «талибам»...

— От Федора Сухова! — говорю при этом негромко.— От красноармейца...

Из «Белого солнца пустыни»...

А ведь в пору заплакать.

Что я и сделал, на минуту уронив голову...

Когда вернулись из Майкопа, увидел, что накануне Жора сделал отчаянную попытку зашить торцы на срубе нашей баньки и, конечно же, не успел... Потом вблизи рассмотрел, что сделано это безобразно, и вот нынче, уже через пару недель после нашего приезда таджики переделывают работу, за которую он им тогда заплатил.

Торец за окном как раз над верхом компьютера, над экраном, и мне, хочешь-не хочешь, видно, как эти горе-плотники — один на лестнице, а другой внизу, кромсают вагонку... эх!

То ли дело второй горновой на первой домне в нашей Кузне, на Запсибе — таджик Бурхонов. Когда в мае ходили с Олегом Харламовым по литейке, и он рассказывал мне, кто из ребят в смене работает, назвал и его. Я спрашиваю: ну, и как, мол? Получается у него?..— Еще как! — Олег говорит.— Он тут с девяносто шестого года. Парень крепкий и очень старательный. Мужик артельный. (А надо сказать, что у Олега это очень высокая похвала, выше нету!) И привык, и всему, чему надо на его месте, научился. Тут живет в общежитии. А большую часть из 9 либо 10 тысяч, которые тут «заколачивает», семье отвозит в родной кишлак. Едет туда, смотрит, кто за это время родился, «делает очередного ребенка» и

возвращается на свое «теплое место» в Новокузнецк... Господи Всевеликий! Хоть этот общерусским укором не торчит на снегу!

Спрашиваю у Олега: как звать его?

— Оброр,— говорит.— Оброр Бурхонов.

— А по отчеству?

— А по отчеству — Казимирович.

Как это, говорю, «Казимирович»? Причем тут?

Да уж больно непонятное у него отчество, Олег говорит. Вот мы его «Казимировичем» и нарекли: пристало к нему, всем нравится, и ему тоже...

Сейчас вот подумал: а не для очередного ли «Хоккея» — и это тоже. Если «Казимирович» — еще и болельщик? И как бы совсем свой...

Сходил сейчас за этими двумя, за плотниками. Сказал «салам алекум», спросил, кто старший.

Коля, говорит. А по-вашему?

Куламолло. Как-то так. Из Курган-Тюбе.

Второй, куда помоложе,— Дима. Из Нурека... как строили когда-то всем миром Нурекскую ГЭС! Как ею гордились!

Пока они ели борщ, заварил им свеженького чайку. Тоже — «от красноармейца Федора Сухова»?

Зашел в столовую, спрашиваю: а Дима, мол,— как это звучит по-вашему?

Молодой говорит: Давлет!.. А старший говорит: по-нашему это — «государство».

Держись в таком случае, говорю ему. Тебе и сложней, и — легче. Мы сами по себе , а ты — государство!

Старший, Куламолло говорит: по-нашему, мол, «давлет Россо» — это «государство Россия».

А запах, скажу я вам, в столовой!

Тот самый, который держался в бытовках на фермах или в коридорах колхозных правлений, где на корточках сидели вдоль стен конюхи либо скотники... Тот самый, который так пугал гордившуюся чистотой в доме маму, когда с районной комсомольской конференции я приводил к нам переночевать какого-нибудь хуторского парня...

Не очень приятно тогда, конечно, попахивал наш «давлет», не очень...

Но насколько он был сильней.

«Общих житий начальник»...

Уже вечер, я скорее всего не в лучшей творческой форме, но разве можно на это не откликнуться: сегодня день памяти преподобного Феодосия Великого, который так и зовется — как в заглавии этого «газырька»... И правда: как все это рядом — праведное и грешное, горнее и наше земное.

«...тяготясь славой и желая отшельнической жизни, удалился в пещеру, где, по преданию, ночевали три волхва, шедшие с дарами в Вифлеем на поклонение Богомладенцу. Здесь преподобный пустынножительствовал более 30 лет, проводя время в молитве и посте. 30 лет он не вкушал даже хлеба, питаясь только финиками, кореньями и травами. Но и здесь подвиг его стал известен, и к преподобному Феодосию стали собираться ученики. Когда число учеников значительно умножилось, они стали просить святого об основании монастыря. Преподобный взял кадило с холодными углями и пошел по пустыне, моля Господа указать место для новой обители. На угодном Богу месте кадило загорелось. Здесь святой основал свою знаменитую лавру с общежительным уставом. Число ее насельников достигало 700 человек. Сюда приходило множество странников, нищих и убогих, и всем хватало пропитания, так как Господь по молитвам Своего угодника чудесным образом умножал пищу. Так, однажды, во время голода в Палестине, к вратам монастыря собралось великое множество нищих и убогих. Ученики преподобного опечалились, что им не хватит хлеба, чтобы накормить такое множество народа. Укорив учеников за неверие, святой послал их к хлебопекарне за хлебами. Придя туда, ученики увидели, что она полна хлебов, которые Господь умножил ради веры раба Своего. Подобное чудо повторилось и в другой раз в праздник Успения Богоматери.»

Ну, вот. И пусть потом начальник общежития в наше время звался комендантом... Пусть все было иначе. Но не там ли, в этой пещере, где останавливались волхвы, начиналось все то, что так свойственно было, может быть, лучшему в сломанном теперь строе... Что имело место, как говорится, и на знаменитой «Стромынке, 32» — в старом общежитии МГУ, где пытались жить, а то и жили «коммунами»... И на нашем Запсибе: в общежитии там я не жил, но из него — вдвоем с помогавшим тащить ее вещички Лейбензоном — уводил Ларису... Часто говорю о себе: я, мол,— дитя общежития... «общежитский человек». И тем самым всегда подчеркивается готовность терпеть обстоятельства, терпеть кого-то другого рядом... Славный, славный святой — спаси, Господи!

А мы: общага, общага...

Сегодня день рождения нашего Георгия, «общежительного» человека как раз.

Тимолай

Утром 4 февраля взялся листать «Букварь» отца Феофила, чтобы найти «Тимофея», но сперва наткнулся на «Тимолая»... ну, вот, даже бездушная эта машина завозмущалась — тут же подчеркнула неизвестное ей имя красной вилюшкой: мол, что за новости? «Тимофея» она, оказывается, знает, а вот...

Но чего с нее, американки-то, требовать, если и мы, русаки, не знаем?

Прочитал, значит, что «Тимолай — христианское имя, означающее с греческого — оказывающий почтение народу.» Пошел в столовую, где пили чай Жора и Лариса. Его спрашиваю — не слышал. Жена само собою — тем более. Слухом не слыхивала...

Такие, выходит, наши дела: нету у нас «оказывающих почтение народу»!

Вот если бы это означало «оказывающий почтение чужому народу»... «другому»... ну, как хотите — «Тимолаев» у нас было бы — хоть отбавляй.

Такие, такие пироги...

Хоть смейся, хоть плачь...

Началось с того, что я взялся размышлять, как мне определить жанр двух моих в чем-то похожих — несмотря на пятнадцатилетнюю разницу во времени — работ: «Последнее рыцарство» — о судьбах казачества и «Дон!.. А лучше родной дом.» — в общем о том же самом, хотя конкретно речь в ней идет о встрече молодых писателей с Шолоховым.

Очерки?

Не хотелось бы.

Слишком много души в них вложил. Страсти, печали, ярости...

Э с с е? Тоже нет.

Как Василий Петрович Росляков посмеиваться любил над Васей Аксеновым: экзерсис?

Вдруг в голову пришло: а почему бы и то, и другое не назвать плачами?

Это есть у черкесов: боевой плач — гыбзе.

Плач по погибшим героям.

И если молодая черкесская литература столькое перенимает и у мировой, и — еще больше — у русской, то почему бы русской не подзанять это у адыгов?

Мысль так мне понравилась, что я тут же разыскал «Краткий русско-адыгейский словарь-справочник», к которому время от времени обращаюсь. Стал искать — нет плача и нет глагола плакать.

Да что же это? — подумал.

Взялся листать, чтобы найти противоположное: смеяться, смех. Тоже нет!

Вот штука-то: в кратеньком, это правда, словарике есть Чехословакия и есть Чили. Но — ни смеха, ни плача.

Посмотрел на выходные данные: Адыгейское книжное издательство, Майкоп. 1955 год.

В этом-то все и дело?

Ну, так мы, выходит, жили тогда...

Как не вспомнить покойника Леню Шишко, светлая ему память, старого отрадненского дружка, «фильсуфа» станичного с его любимым стихом: «Меньше радуйся в удачах, меньше в горестях горюй: соблюдай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт...»

Не слишком ли мы в советское время блюли этот ритм?

Посмотрел, кто адыгейский словарик составил: М. Х. Шовгенов и А. М. Гадагатль.

Первого я не знал, он старше наверняка — недаром ведь с фамилией на «Ша» стоит прежде Гадагатля... А, может, фамилия его вообще для веса и для чести тому, кто помоложе, поставлена, как на Кавказе да и не только там, не только! — случается сплошь и рядом?

В этом случае ритм, который «в жизни человеческой сокрыт», тщательно блюл тогда совсем еще молодой Аскер Магамудович Гадагатль — аульчанин Аскера Евтыха, нынче — один из самых уважаемых в Адыгее ученых.

А-ей! — как адыгейцы говорят.

И все-таки эта идея, насчет боевого плача, который мне придется подзанять у братьев-адыгов, кажется мне весьма плодотворной: разве не по чем нынче нам плакать?

Также как им.

Кому вы трезвые нужны?

Десяток лет назад в станице Отрадной, под Армавиром, снимали фильм по моей повести «Брат, найди брата»: о том, как спиваются кубанцы, как страдают от этого и по сути погибают их дети. Людей, способных показать, каков был когда-то в деле настоящий казак, к этому времени в обширном нашем районе остались буквально единицы, и режиссеру студии Довженко Сильве Сергейчиковой пришлось приглашать группу каскадеров, но что касается спившихся — тут не было проблем, уж это, к несчастью, факт... Вместе мы обходили старинный наш парк, еще до революции засаженный японской акацией — софорой: считалось, что эти деревья дают ощущение покоя и радости. Теперь станичники предпочитали явно другое средство, быстродействующее, и Сергейчикова, то приближаясь к непробудно спящим, свалившим головы друг дружке на плечо моим землякам, а то на шаг-другой отступая от них, восклицала восторженно: «Какие типажи! Какие лица!»

Что правда, то правда: физиономии многих, проводящих тут дни и ночи и в зимний холод и в летний зной, давно уже напоминали фотографии каменных истуканов со знаменитого острова Пасхи. «Этого мы возьмем! — радовалась киевлянка.— И этого тоже... и этого!» Втолковать, что его приглашают сниматься в кино, удавалось далеко не всем, и каждому она вложила в нагрудный кармашек записку: мол, не забыть! Ровно через неделю, в семнадцать часов,— съемка!

Самой изощренной фантазии будет, пожалуй, мало, чтобы представить себе, как они эту неделю провели... эх, вот был бы фильм! Мало того, что отмылись, наконец, побрились-подстриглись, починили и погладили одежку: у станичников моих морщины разгладились и глаза зажглись радостным и чистым светом надежды. Как я по киношной неопытности своей за них радовался!

Тихие и торжественно-робкие, в точно назначенный срок появились они на съемочной площадке у кафе «Ветерок». Узнавая и не узнавая их, собравшиеся поглазеть на магическое действо старожилы-станичники изумленно разводили руками, и пожилые женщины вслух «ужахались»: да будь ты неладно! Неужели, и правда,— это они, наши «анцибалы»?!

И туг раздался похожий на причитание возле покойника громкий вскрик режиссерши: «Да что ж вы с собой наделали. Господи!.. Кто вас просил об этом, ну кто? Ну могли же вы хоть раз в жизни остаться людьми — так нет! Кому вы трезвые нужны, вы подумайте,— ну кому?!»

К кинокамере протолкался еле стоявший на ногах алкаш из записных, из несгибаемых. Позвякивая пустыми бутылками в старой дерматиновой сумке, заплетающимся языком гордо спросил: «А я?» И бедная Сильва, все еще не

осознавая трагикомичности происходящего, в голос заплакала: «Только один порядочный и нашелся!»

Ее-то можно было понять. И — простить ей.

Но как нам понять самих себя, давно живущих в чуть ли не поголовно спившейся стране? И разве это когда-либо нам, пропивающим уже последние крохи былой славы и былого величия, простится?!

Случилось так, что сразу после киноэкспедиции в родной станице мои старший товарищ Юрий Прокопьевич Помченко, военный писатель, честнейший, светлая ему память, и благороднейший человек, предложил мне вместе поехать в Ленинград: на курсы «по отвыканию от алкоголя и табакокурения» при трезвенном клубе «Оптималист». Его к этому времени буквально замучил эндеэртрит, ходил с частыми остановками, врачи грозили отнять пальцы на ногах, но вот на тебе: волевой человек, никак не мог расстаться с курением, к которому пристрастился мальчишкой. Я тоже был заядлый курильщик, но к рассказам друга о чудесных результатах курсов относился весьма скептически и поехал больше за компанию. В Питере давно не был — когда еще один соберусь?

Курсы вел свой брат, бывший журналист Юрий Соколов, который и жил-то совсем рядышком с ленинградским Домом литераторов: там, говорил нам, сам над собою грустно посмеиваясь, начинал пить и куролесить, оттуда его однажды увели люди в погонах, и — надолго: хватило времени и одуматься, и не только о себе поразмышлять. Потому-то, когда мы с моим другом заявили, что нам бы только бросить курить, а с выпивкой у нас проблем нет, он сказал с грубоватым дружелюбием: «Курить буду, но пить не брошу, да... Ну, что мы тут будем мозги пудрить друг дружке, мужики? Пусть каждый вспомнит то утро с похмелья, когда сгорал со стыда, когда не знал, куда девать себя, ну? У меня тут все отвыкают от того и другого вместе, а вы, видишь... Может, плюнете на свои амбиции?»

Подействовал ли призыв вспомнить «то утро» или что-то еще, но оба мы решили на амбиции плюнуть.

Кого только не собралось в ту пору у Соколова! На сцене, сперва особняком, сидел все еще потихоньку выходящий из белой горячки молодой «афганец» рядом с напряженной, как птица, готовая взлететь, исстрадавшейся матерью. Когда она, не выпуская руки, везла его в клуб, он все-таки вырвался в метро, прыгнул с лестницы на крышу вагона уходящего поезда, скатился по ней и перебежками бросился от одной колонны к другой. Остановил его ровесник, тоже прошедший «Афган»: «Очнись, братан, мы — в России!» Спасибо ему, помог бедной матери привезти сына в клуб.

Почти такой же, а то и покруче люд плотно забил небольшой зальчик. Это, скажу я вам, был паноптикум — куда моим землякам! До представленной здесь «сборной Союза» они все же недотягивали.

И вдруг: «Все взяли ручки? Все приготовились?.. Пишите: я не виноват, что я пью и курю».

Возникший в зале шепоток удивления становился все явственней, постепенно перерос сперва в полунасмешливый ропот, потом чуть ли не в возмущение... ну, как так? Столько лет слышали привычное: не скотина ли ты? Ну, свинья!.. Многие с этим давно смирились и хрюкали как бы даже и не стесняясь, уже по некоей как бы естественной свинской обязанности, а тут — на тебе! До сих пор помню яростный выкрик: «Ну, че чепуху писать?! Отпрашивался сюда, а мне предпрофкома говорит: ты погляди на себя, ты только погляди!»

А Соколов был не то что доволен — чуть ли не счастлив: «Во-от!.. Затем мы и собрались. Чтобы ты на себя поглядел внимательно, наконец. Чтобы все мы не только друг на дружку внимательно поглядели, но и на этого твоего предпрофкома, который тебя давно уже за человека не считает. И на общество, в котором живем, хорошенько поглядели. На государство, которое пить тебя приучило. Но это чуть позже. А пока пишем: «Я не виноват, что пью и курю».

Какая вдруг возникла тишина, какая атмосфера общего напряженного труда вдруг воцарилась!

И все-таки я внутренне посмеивался: и над Соколовым, придумавшим эту хитрую, «методом Шичко» обоснованную игру, и над собой, тоже попавшимся на удочку. Чего тут нового? У каждого тетрадка и ручка, каждый из нас непременно обязан записывать, а правая рука — она такая: напрямую подает сигналы в мозг. В бедовой твоей головушке начинается очистительный процесс освобождения от психологических установок, которые за долгие годы кто только тебе, и правда что, не навязывал. Вспомнить общеизвестное: «Ты что, не мужик — не пьешь, не куришь?!» И кто тут только не постарался! Родня, соседи, улица, дружки... да сколько их, доброхотов, сколько! Да что там: тысячелетние традиции — «Веселие Руси есть пити». А книги и фильмы? А телевидение?.. И Соколов пытается, видишь ли, разблокировать несчастное твое сознание. Вперед, значит,— в безмятежное, еще не обремененное дурным влиянием детство? Ну и ну...

Однако странное дело: уже в первый день, во время первого перерыва на перекур, кто-то вдруг молча отошел от общей толчеи с возникшим над нею сигаретным дымком, задумчиво стал в сторонке. Число «отказников» с каждым разом все увеличивалось, и вот уже некурящих стало гораздо больше... ясно, что слабаки! И к бабке не ходи — не гадай: ребятки «легко внушаемые». Но я-то себя знаю! Недаром же знакомые гипнотизеры всегда отшучивались: мол, ладно-ладно — не приставай. Не нарывайся.

Когда, наконец, покуривал в перерыве совсем один, то чуть ли не лопался от гордости: нас, Юр Саныч, кубанцев осибиряченных, фиг возьмешь. В очередной перерыв привычно достал сигареты и зажигалку и тут внимание мое привлек стремительно проходивший неподалеку бородатый капитан

первого ранга с массивной трубкой во рту. Вытянув вперед голову в форменной фуражке, сосредоточенно попыхивал на ходу: как будто судовая машина работала. И мне вдруг стало не только смешно — мол, сколько узлов, любопытно, дает в час? — но стало вдруг как бы неловко за него... Это теперь мы, жалкие побируши, все перепутали: МВФ!.. МВФ! А тогда это что-то значило: ВМФ. Военно-морской флот. И мне как бы даже обидно стало за русское офицерство: что же это вы несетесь, как собака с костью, «кап-раз»? Так можно и обогнать собственное достоинство!

Сломал в руке не зажженную еще сигарету, швырнул в сердцах в урну... Была последняя сигарета, которую держал в пальцах.

Дотошный соотечественник, которому уже столько лапши на уши за этот десяток лет навешали, тут же спросит: а как с остальным?

Реформы наши кого только из себя не выведут: было дело. Но тут же я, сгорая со стыда, бросался листать дневничок, который когда-то вел у Соколова, тут же принимался истово вести новый: с анализом своих печальных ошибок. И я всегда помнил: будет совсем невмоготу, сяду в ленинградский экспресс, позвоню утром в квартиру Соколова, и Юра выйдет, и обнимет, как брат... вы не смейтесь! Это надо было все пережить, все самому увидеть: как просветлели лица у наших с Помченко «однокашников» к концу курсов, как совсем уже было погибшие, совсем было опустившиеся люди преобразились, какими симпатичными и предупредительно-деликатными вдруг сделались.

Как ни странно, помрачнел Соколов. «Ты что это?» — подсел я к нему на нашем «выпускном» вечере. «Видишь ту пожилую пару? — негромко спросил он.— Помнишь, какими они сюда приехали?» Еще бы!.. Более испитых и синюшных лиц я, кажется, до этого не встречал. Теперь на них как будто играл нежный отблеск загсовской казенной печати: молодожены, и только! Я полюбопытствовал: «Чего это ты — о них?» — «Радуюсь! — сказал он печально.— У них-то как раз все хорошо. Не говорил тебе? Их сюда взрослые дети привезли. Бывает, брат, и такое: сказка со счастливым концом. Но вон те две молодые женщины, ты видишь? Матери-одиночки. У одной двое детей, у другой — трое. Обе работают на спиртзаводе. Обе воровали спирт, этим жили. Теперь они не смогут красть его. Совесть не позволит... как им-то быть?»

Я вдруг увидел среди остальных мальчика-афганца с интеллигентски-тонким и в то же время мужественным лицом, увидел, как мать его, еще не верящая, что он вернулся-таки из кошмара войны, украдкой вытирает счастливую слезу, и у самого у меня вдруг тоже перехватило горло...

Кому вы трезвые нужны?!

Кроме разве что самых близких.

«Может быть, разрешишь мне на лекциях... для убедительности, понимаешь, — подбирал слова Соколов,— говорить, что наши курсы прошли два

московских писателя? Юрий Прокопьич, убежден, согласится... как — ты?» Тогда-то я и обнял его: да если это хоть чуть поможет родине отрезветь! Не знаю, что бы и отдал. А уж это-то!

Года через два или три мне позвонил старый друг Саша Никитин, известный журналист: «Пишу большую статью о том, как спивается наша матушка-Россия. О Ленинградском клубе «Оптималист». Вообще о трезвенном движении. Соколов сказал, что на тебя можно сослаться — это правда? Все-таки центральная газета, тираж у нас — вон!» Когда-то мы понимали друг дружку с полуслова, и я сказал: «Жила бы страна родная, Саня!»

К этому времени, правда, мы с Никитиным уже по-разному думали, как родной стране жить, как вообще — выжить. Но на этом нынче кто только не сойдется: такого тотального пьянства на Руси еще не было! Не только открытого, но всемерно поощряемого. Как бы освященного ярким и самоотверженным личным примером не кого-нибудь — самого гаранта Конституции, чьи незабвенные слова о том, что суверенитета надо брать кто сколько проглотит, больше всего именно к пойлу и отнеслись: который год все глотаем — от мала до велика. Что касается жестко поддержанных якобы «правовым» государством психологических установок на всеобщий разгул — что ж: если, выбирая гнус из всех телеканалов, можно запросто открыть один полновесный мочеполовой — во главе, само собой, с кем-либо из членов телевизионной академии, ибо нормальный человек тут не справится, погибнет от рвоты,— точно так же есть возможность чуть ли не через вверх, всклен, наполнить другой канал нескончаемым потоком цивилизованного, из самых высокоразвитых стран, изысканного пития вперемешку с нашим родным «бухаловом». Может, к этому когда-нибудь и придем? Когда телевизионных академиков станет у нас побольше.

А тогда я вернулся в Москву не то что вдохновленный — буквально потрясенный, поверьте! Радостное это, овеваемое счастливыми надеждами потрясение было настолько велико, что я отложил срочные дела и тут же вновь собрался в станицу. Спасибо нашему унылому, какими они почти все стали к этому времени, райкому: там меня поняли. Пообещали выделить в районном Доме культуры зал для занятий. Я то листал привезенные от Соколова его наработки и составлял конспект будущих своих лекций, то обходил предполагаемых своих слушателей. Не тут-то было!.. Гордые станичнички снисходительно усмехались: «А чего это я пойду на твои курсы? Тебе надо было, ты и поехал в Ленинград. А я захочу — сам завтра и сигареты выкину, и с бормотухой завяжу».

Скольких из них, в том числе и очень дорогих мне людей, давно уже нет в живых!

Мне так и не удалось стать спасителем спивающихся моих земляков — ни на Кубани, ни в Сибири и ни в Москве. Знать, одного желания для этого мало. Талант нужен. И то упорство, которым наделила природа Юрия Соколова: сердечное спасибо тебе, Учитель, за все!

Об успехах Соколова, о горьких его проблемах и обманутых надеждах лучше прочитать у него самого: в его книжках.

А что же родное государство? Что — поставившие его на уши господа демократы, не то что повторяющие иезуитство поносимой ими «совдепии» — доведшие его до некоего предела, за которым начинается уже чисто физиологическое, вроде рвоты, сопротивление ему?

Пару лет назад шли по нашей Бутырской улице с моим другом, нет-нет да и навещающим родину «бельгийским казаком» Михаилом Ждановым, родившимся в Бордо сыном хорунжего из станицы Упорной на Кубани. Чего только не было в его судьбе: и французский спецназ в Алжире, где ему пришлось «кровью благодарить» Францию за оказанное некогда русским эмигрантам гостеприимство, и потомственная профессия джигита, работа на ипподромах, на цирковой арене и каскадером в кино, и травма, после которой несколько лет его отхаживали в госпитале. Но вот что такое традиционное казачье воспитание, которому горстка ушедших с генералом Шкуро офицеров не захотела изменить вдалеке от родины: друг мой никогда не курил, а что касается пития, то и «аталык», воспитывавший его мальчишкой осетин, генерал Мистулов, и «родной батька» разрешали только «две рюмочки на Пасху». Давно нет ни воспитателя-аталыка, ни отца, но живет привитое ими правило!

Так вот, шли мы, и на торце соседнего дома друг мой увидел красочную рекламу с «ковбоем Мальборо» — чуть ли не во всю шестнадцатиэтажную высоту. Под ним, разумеется, была едва различимая надпись: «Минздрав предупреждает...» — и так далее. Друг мой сперва поинтересовался, кто такой «этот Минздрав», а потом доверчиво спросил: «А ты не знаешь, когда он его предупреждал?.. А то ведь ковбой заработал рак на этой рекламе, долго потом судился с фирмой «Мальборо», выиграл процесс, но деньги уже не помогли ему. Наверное, когда Минздрав предупредил его, было уже поздно...»

Что тут говорить о питии, если на всех уровнях власти в России говорят лишь об одной «благородной задаче»: как бы деньги, вырученные от продажи зелья, да направить на образование да на медицину. Вот тогда бы мы зажили, а?!

Недавно впервые увидел на стеклянных дверях метро черную табличку с бросившимися в глаза двумя «ключевыми» словами: «водка» и «принцип». В голове пронеслось: понятно, мол, да... Лужков с его «Отечеством», а что? Ну, наконец-то!

Не выдержал, вернулся, чтобы все-таки прочитать «пламенный призыв». На черной табличке значилось: «Какую водку пить — дело принципа».

Вот какое оно у нас, «дело принципа».

Кому мы, в самом деле, трезвые нужны, ну — кому?!

«...Слезы дивно обильные»

Ночью, когда сон перебился, и я по привычке принялся размышлять о том, что не успел накануне дописать, что хотел утречком продолжить, в голову вдруг пришло, что это же самое — плач-гыбзе — как бы с полным на то основанием можно отнести и к роману Юнуса, я тут же взялся придумывать аннотацию, которую пообещал ему прислать...

Зная по опыту, что пришедшее в голову таким вот образом запросто можно потом заспать, встал и пошел в столовую, зажег свет, быстренько начеркал четыре-пять первых строк и вспомнил деда Калашникова... «деда» с маленькой буквы?.. С большой? На маленькую он наверняка бы обиделся, не привык — это, собственно, я ведь ввел в обиход «Конструктора» с большой... Но Дедом, как генерального директора Запсиба Климасенко его не называли, во всяком случае в то время, когда мы с ним общались — нет... эх, как бы я рассказал и о Климасенко тоже в той книжечке о промышленных «генералах», о «директорском корпусе», на которую Калашников уже вроде настроился. Что его потом отпугнуло? Что, хочешь-не хочешь, придется отдать должное Гродецкому, нынешнему «генералу» «Ижмаша», с которым он в контрах... вообще за директорами, за этими крупными личностями, запросто может потеряться он сам?... «Я такой маленький,— как он шутливо мне говорил, объясняя, почему обнимается с Ельциным.— А он такой большой! Схватил — не вывернуться...» И тут так?.. Так вот, Михаил Тимофеевич всегда держит на тумбочке рядом с кроватью бумагу и карандаш — записывает, что придет ночью в голову, иногда и не зажигая света. Среди ночи пришел ему в голову заголовок той книжки, что помогал ему делать: «От чужого порога до Спасских ворот». Без света и записал его — чтобы, мол, не спугнуть, а утром разбирал каракули... Если дело было, и действительно, так, если этот заголовок не был придуман заранее кем-то из его консультантов, которым он «с машинки» относил на проверку мои странички — как в ОТК, отдел технического, выходит, контроля — а «ночную» эту историю придумал для меня, как придумал много еще другого, подчеркивающего его исключительность и высоту духа... если дело было и действительно так, то что?.. Дается же другим? Почему же не верить, что ему тоже?.. Тут опять встает тот самый роковой вопрос. Кем дается?.. Если любимое число у Конструктора — 13, если что-то пропавшее он ищет, приговаривая... ну, не хочу я машину свою осквернять и звать тем самым лукавого... вот, ищет, скажем, приговаривая: «Лукавый-лукавый!.. Поиграй да отдай!» А насчет Высших сил, хитровански-простодушно посмеиваясь, говорил: «Попы пристали, я им и говорю: да, что-то такое есть, есть, конечно!»

...да не судимы будете? Прости, Господи!

Потому что тут же я подумал, что откровенный роман о Конструкторе — коли кто-нибудь решился бы написать его без всяких-яких, как в Отрадной говаривали, или «без булды» — как мы на родной Антоновке, вполне мог бы стать тем самым романом-плачем... Не только по нему самому, если не потерявшему душу окончательно, то многое из нее — на службе родному Отечеству — подрастерявшему, но по забредшему — да еще с какою гордыней! — в тупик человечеству, по заблудшему миру, в котором безжалостно убивают друг друга как раз из «калашей»... да что там плач!

С т о н.

Почему эта форма, и правда что, забыта у нас — плач?.. А вспомнить «Плач Иеремии», один из самых глубоких, самых горьких, самых печальных текстов — как нарочно открыл на нем накануне «Библию», решил перечитать. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал, как вдова; великий между народами, князь над областями сделался данником...» А знаменитый русский наш плач Ярославны?

Причем и то, и другое — не оригинал ли для кальки сегодняшних времен — мало сказать, невеселых.

Утром прочитал записанное ночью, повздыхал, поулыбался...

Неужели все эти размышления только для того и явились, чтобы в итоге родилась поэтическая аннотация к «Милосердию Черных гор»?

Но так и бывает, со мной — постоянно.

Какая оригинальная и вместе самобытная форма приходит в голову, какие рождаются литературные приемы, когда мне требуется помочь моему кунаку, какие точные и емкие образы складываются!

Как-то сказал ему: ты, мол, хоть понимаешь, что «Сказание о Железном Волке» — роман, которого у самого у меня нет, он — выше?

И Юнус не мог скрыть прямо-таки довольной улыбки: «Да, это правда!»

Снова вспомним Юрия Павловича Казакова с его «Кровью и потом»... или в том-то и дело, как и тут — не его! Это уже неотделимая принадлежность национальной культуры другого народа, ведь без нее она и не смогла бы родиться...

Но что правда, то правда: когда ты готов поделиться, когда хочешь что-то отдать другому, Господь бывает так щедр! И в самом деле: дает раздающим?

Вернулся к размышлениям о форме плача и вспомнил, как прабабушка Таня ночами уносила меня, сосунка тогда — в прямом смысле, на берег Урупа, «за станицу»: чтобы мама могла хоть часик-другой поспать... да что там! Чтобы отоспались соседи: так громко я плакал в младенчестве. «Крычал». Орал!

А подружки прабабушки — многие и постарше Татьяны Алексеевны, а, может, и опытней, хотя сама она уже столькое успела к этому времени пережить, в том числе и смерть дочери, бабушки нашей Стеши, Стефаниды

Иосифовны — так вот, товарки говорили ей обо мне: «Дажно (должно) достанется ему в жизни! Много придется плакать — чует!»

Поплакать уже пришлось, пришлось... Митя наш семилетний; тридцати четырех лет, любимая сестричка Танечка, умница и добрячка: названная так в честь вырастившей не только рано осиротевших внуков — мою маму и дядю Жору, страдальца магаданского, но и правнуков своих — меня с братцем Валерой и с Танечкой.

А бесконечный в последнее время внутренний плач по себе, заблудшему? (спаси, Господи, отец Феофил! Спаси, Господи!) А — по ровесникам, заспанным и старцами-правителями, и многими-многими писателями из «военного поколения», кто не дал нам практически реализовать себя — через нашу голову, слабость вполне естественная, они протянули руку уже своим внукам... а — бесконечный плач по родине?

(Когда слышу в метро рыдающий полонез Огинского, все вспоминаю об одном грустном «газырьке», который собираюсь назвать «Полонез Бжезинского» — о том, как вслед за славянскими своими — что там ни говори! — братьями-поляками теперь наш черед о родине плакать...)

«И даны мне были слезы дивно обильные,— как у Лескова.— Все я о родине плакал...»

Так, может, это дело естественное, что пришел, наконец-то, к плачу, как заждавшейся нас, русаков, древней и почтенной литературной форме?

Но под этой бьется другая, насмешливая мысль: не слишком легко ли, братец, хочешь отделаться? Придумал, надо же: творческий плач, который, выходит, как старый солдат — «хуражку», хочешь над бруствером выставить?.. Не-ет, брат!

Но пока... пока опять отдаем это своему кунаку.

На этот раз — в форме аннотации:

Роман-плач

«В 1955 году в Майкопе вышел «Краткий русско-адыгейский словарь-справочник», составители которого предупреждали заранее: это первая попытка, она «не претендует на полноту охвата всех существующих в языке терминов и слов». Может, потому-то и не было в словаре глагола «плакать» и существительного «плач».

Не исключено, что составители словаря рассуждали: коли настоящий черкес вообще не должен плакать — о чем ему слезы лить при родной-то советской власти?!

И только спустя много лет из глубин исторического небытия стала потихоньку всплывать древняя форма «гыбзе» — боевого плача о народных героях, защитниках национального достоинства и тысячелетних традиций горского, кавказского рыцарства.

Сегодняшний адыгский читатель уже привык к стихотворному складу плача-гыбзе. Но вот перед ним страницы неравнодушной, исполненной и пылкими размышлениями, и сокровенными перебоями сердца поэтической прозы писателя Юнуса Чуяко... Что это?

Сам автор обозначил жанр своего произведения как роман. Но разве это не тот самый боевой плач-гыбзе?.. Плач по невозвратным потерям и безымянным героям прошлого, которых всегда больше тех, кто у истории на слуху; плач по несбывшимся великим надеждам; по тишине и миру на Кавказе; по братству, которое еще недавно, и в самом деле, казалось нерасторжимым; по чечен-ским и русским мальчикам, которые по злой воле одних политиков и недомыслию либо предательству других вынуждены убивать друг друга... И еще: это плач по русскому Пушкину, обогретому когда-то знающим себе цену седым Кавказом и словно в благодарность за это возвысившему и одухотворившему Кавказ на века и века... Что это?

«Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой», которое стало естественным продолжением высоко оцененного и в Адыгее, и на Кавказе, получившего общероссийскую премию «Образ» романа «Сказание о Железном Волке» — скорбный и торжественный гыбзе-роман.

Талантливый роман-плач.»

«Война с непривычной стороны...»

Так или примерно так называлась опубликованная в дни празднования победы под Сталинградом «тематиче-ская» полоса в «МК», которую потому-то сперва отложил, а потом взял с собой в дорогу...

Как хмыл съел?

Так в Отрадной говорили о вещах исчезнувших. Хмыл — это огонь.

Обыскал все, какие можно, углы — нету!

А ведь откладывал...

Может быть, что-то я пока в размышлениях о той газетной полоске не додумал?

Потряс там меня рассказ ветерана, бывшего тогда молодым солдатиком. Их везли на фронт, состав шел медленно, женщины в поле махали бойцам, что-то кричали, а потом попадали на жнивье, и каждая задрала подол...

Как с нею часто бывает, «МК» хотела сказать гадость, а получился вдруг космос.

Раскрылись, как земля перед дождем...

Вот, едут солдатики умирать, а еще не видели женщины...

Вот что вы, милые, едете защищать — детей наших будущих... от кого они будут? Не отдавайте нас, возвращайтесь!

Мы ждем вас. Ждем...

Эпос!

Как родился адыгский богатырь Сосруко?

Нарт с вожделением смотрел через реку на Сатаней, которая сделала, может быть, то же самое — подняла подол... И семя из него брызнуло, перелетело реку и ударило в камень, который от удара семенем треснул...

Так родился богатырь.

И не только черкесский, недаром же на Кавказе столько споров о Нартском эпосе: чей?

Но пока искал эту страницу, нашел другую, тоже отложенную... о том, как завоеванное теми солдатиками, многие из которых не вернулись с войны, мы продаем?

Продолжение древних традиций?

Несколько лет назад дарил книжечку поэту Леонарду Лавлинскому и надпись сделал примерно такую: донскому, мол, казаку Леонарду от кубанского казака Гария — такие нынче наши дела!

Но вот вчера по дороге в Москву открыл «толстушку-Труд» и под рубрикой «Сенсация» увидал: «Русские корни Леонардо». И подзаголовок: «Удивительную версию о славянском происхождении великого художника выдвинул итальянский ученый».

Дальше — рассказ о том, что мать его была рабыней и «на невольничий рынок она попала в качестве трофея, захваченного во время одного из турецких набегов на территорию Причерноморья — степных районов, заселявшихся русским населением. Вполне возможно, что это были донские степи, где к тому времени уже стали обосновываться казаки». А?!

Остается ждать, что вскорости выяснится: донским казаком был и Ричард Львиное Сердце, откуда иначе это имя у пламенного марксиста, бывшего редактора журнала «Коммунист» Ричарда Ивановича Косолапова, участвовавшего в работе первого Большого круга Союза казаков России...

И хоть «донцы — молодцы, кубанцы — зас...цы», неужели не найдется хоть какого-нибудь завалящего исторического героя с моим необычным по тем-то временам именем?

Тринадцатое казачество: китайское

Это не из будущего, нет. Уже — из прошлого.

Когда собирали первый Большой круг, мне пришлось обзванивать друзей и знакомых — звать прессу. Позвонил однокашнику Тан Сю-Чже, который давно уже был корреспондентом «Женьминьжибао» в Москве, говорю ему: — Тан!.. Мол, приглашаю тебя...

Тан говорит: как интересно! Но что мне делать: ты, конечно, знаешь, что в этот же день — это то ли двадцать восьмого, то ли тридцатого июня — в Москве должен пройти съезд КПСС!

— Тан! — говорю ему.— Я был лучшего мнения и о газете «Женьминьжибао», и о ее представителе в Москве!.. Неужели не понимаешь, какое мероприятие серьезней?!

Он там похихикал, хоть юмором никогда, в общем, не отличался, потом решается: непременно заеду! Хоть на часок.

В назначенный час встретил его у входа в гудящий нетерпеливыми голосами клуб завода им. Ильича — ба-а-альшого, по иронии судьбы, друга казачества...

Сели в зале рядком, и я давай ему объяснять: что за знамя стоит за спиной у членов президиума, что за икона неподалеку от него, почему казаки так по разному одеты — у каждого из двенадцати казачеств, мол,— своя форма, кто такой ведущий круг есаулец и почему он с нагайкой... Много вопросов было у Тана, много!

Вдруг заявляет: мол, спасибо тебе, что уделяешь мне столько времени — я понимаю, что ты ведь сейчас должен неотлучно сидеть в президиуме?

Опять я ему: неужели, мол, не понимаешь, что для твоего однокашника важней? Что обо мне подумает кто-то из казаков или что о нас обо всех, о казаках, подумают с твоих слов китайцы?

Глаза у него горели, но время нас поджимало: дисциплинированный и благонамеренный Тан убежал ведь со съезда братской партии!

Пошел его провожать, тут нас догоняет Володя Осин, командир полка имени атамана Платова из «Звездного городка», давно и прочно занимающийся казачьей историей: Г. Л.! там продается книжка, за которой несколько лет гонялся,— не могли бы вы…

Смогу, отвечаю ему. Всенепременно. Но сперва давай проводим к машине нашего гостя.

Представил сначала его, потом Тана, и командир мифического полка тут же сориентировался, тут же в одном лице — хоть был он в изрядно потертой гимнастерке и видавших виды «галях» с красными лампасами, Володя-донской,— моментально превратился в торжественный и грозный казачий конвой... ай, молодец!

Открывает дверцу машины Тана, потом просит меня: мол, разрешите обратиться к нашему гостю?!

Все соблюдено, все «по-казачьи», как сказал бы бельгийский страдалец Миша Жданов: гражданин Франции Мишель Антон Идванов.

Разрешаю ему, Володя вытягивается и начинает чеканить: «Известно ли господину Тану, что кроме двенадцати российских казачеств — терского, донского, кубанского, астраханского, сибирского, уральского, семиреченского, оренбургского, енисейского, забайкальского, амурского и отдельного якутского полка в период русско-японской войны существовало также казачество китайское, состоящее из собственно китайцев, хунгузов и русских охотников!..»

И тут с Тана слетел весь его восточно-марксистский политес. Округлил глаза и широко открыл рот: «О-оу?!»

Невольно захотелось подыграть молодцу-Володе, со скучающим видом сказал Тану: «Почему я и настаивал, чтобы ты непременно у нас присутствовал!..»

— Прикажите сделать дополнительное объявление? — с чрезвычайно серьезным видом обратился ко мне Володя.— О том, что в работе первого Большого круга казаков России приняли участие китайские наши братья?!

Боже мой, Боже мой!

С какими надеждами и как красиво все начиналось!

Николай-до, или «За что бы нас любить и жаловать?»

В «Роман-журнале» напечатали очень любопытную вещь Анатолия Хлопецкого — роман об основоположнике борьбы самбо, достаточно долго жившем в Японии и обучавшемуся там восточным единоборствам русском «рукопашнике» Василии Ощепкове и его духовном покровителе, японском архиепископе Николае.

«Проглотил» в один присест — эх, как мечтает небось о подобной книжке вполне достойный ее кубанский земляк Алексей Алексеевич Кадочников!

Был внутренне готов к чтению Хлопецкого не только потому, что хорошо знаю «краснодарского Деда» и многих его учеников...

К стыду своему, всего только год назад узнал о Николае Японском — «святом, святителе, равноапостольном»: сегодня, 16 февраля — как раз его праздник. Рассказал о нем само собою наш окормитель отец Феофил. Посоветовал мне купить в церковной лавке монастыря книжечку «Николай-до». Книжка произвела такое впечатление, что, много позже читая Хлопецкого, ревниво ожидал тех строк, которые в романе ну просто обязаны быть, и речь вот о чем.

Родившийся на Смоленщине святитель Николай (в миру — Иван Дмитриевич Касаткин) был пострижен в монашество в июне 1860 года, тут же выехал в Японию, поселился в городе Хакодате и восемь лет занимался исключительно тем, что изучал язык, нравы, традиции... Чего только не пришлось ему пережить! Одна история о самурае, который выслеживал его, чтобы убить и которого тогда еще молодой священник окрестил первым из японцев и сделал незаменимым своим помощником, достойна отдельной книжки.

Но вот пройдет несколько десятилетий, и посетивший Японию протоиерей Иоанн Восторгов напишет: «Не было в Японии человека, после императора, который пользовался в стране такою известностью. В столице Японии не нужно было спрашивать, где русская православная миссия, довольно было сказать одно слово «Николай», и буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался «Николай», и место миссии также «Николай», даже само православие называлось именем «Николай». Путешествуя по стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду встречали ласковые взоры, и в словах привета и разговора по поводу нас мы улавливали слухом среди непонятных слов и выражений незнакомого языка одно знакомое и дорогое: «Николай...»

Не станем — о недоброжелателях владыки Николая: и в Японии, и — в России. Тут о другом.

Само собой, что японцы пользовались взаимной симпатией, невольно сравнивал он два народа и две страны... И тем острее во время деловых

поездок на родину и в последующих за этим размышлениях воспринимал русские язвы и болячки... Потом началась русско-японская война.

Вот запись, которая прямо-таки сочится кровью сердца:

«16/29февраля 1904.

Понедельник 2-ой недели

Великого поста.

Пала грусть-тоска глубокая
на кручинную головушку;
Мучит душу мука смертная
вон из тела душа просится.

Это по поводу того, что русский флот японцы колотят и Россию все клянут-ругают, поносят и всякие беды ей предвещают. Однако же так долго идти не может для меня. Надо найти такую точку зрения, ставши на которую можно восстановить равновесие духа и спокойно делать свое дело. Что, в самом деле, я терзаюсь, коли ровно ни на волос не могу этим помочь никому ни в чем, а своему делу могу повредить, отняв у него бодрость духа. Я здесь не служитель России, а служитель Христа. Все и должны видеть во мне последнего. А служителю Христа подобает быть всегда радостным, бодрым, спокойным, потому что дело Христа — не как дело России — прямо, честно, крепко, истинно, не к поношению, а к доброму концу приведет,— сам Христос ведь невидимо заведует им и направляет его, так и я должен смотреть на себя и не допускать себе уныния и расслабления духа.

А ты, мое бедное Отечество, знать заслуживаешь того, что тебя бьют и поносят. Зачем же тобой так дурно управляют? Зачем у тебя такие плохие начальники по всем частям? Зачем у тебя мало честности и благочестия? Зачем ты не привлекаешь на себя любовь и защиту Божью, возбуждаешь ярость гнева Божия? Да вразумит тебя, по крайней мере, бедствие нынешнего поражения и посрамления. Да будет это исправляющим жезлом в руках Отца Небесного!»

А вот уже июльская запись:

«... Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы, Господь Бог, по-видимому, гнев Свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежественен и груб до последней степени; служилый класс и чиновничество жили взяточничеством и казнокрадством, и ныне во всех степенях служения — поголовное самое беспросветное казнокрадство везде, где только можно украсть. Верхний класс — коллекция обезьян — подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного; духовенство, гнетомое

бедностью, еле содержит катехизис — до развития ли ему христианских идеалов и освящения ими себя и других?... И при всем том мы — самого высокого мнения о себе: мы только истинные христиане, у нас только настоящее просвещение, а там — мрак и гнилость; а сильны мы так, что шапками всех забросаем... Нет, недаром нынешние бедствия обрушиваются на Россию — сама она привлекла их на себя. Только сотвори, Господи Боже, чтобы это было наказующим жезлом Любви Твоей! Не дай, Господи, вконец расстроиться моему бедному Отечеству! Пощади и сохрани его!»

И вот уж прошел год этих мучительных раздумий: как архиепископу, и в самому деле, не посочувствовать? И — как не поддаться справедливости его горьких размышлений?

«Наказывает Бог Россию, то есть отступил от нее, потому что она отступила от Него. Что за дикое неистовство атеизма, злейшей вражды на православие и всякой умственной и нравственной мерзости теперь в русской литературе и в русской жизни! Адский мрак окутал Россию, и отчаяние берет, настанет ли когда просвет? Способны ли мы к исторической жизни? (разрядка моя, но да ведь как не подчеркнуть, если все это — один к одному к делам нынешним? — Г. Н.) Без Бога, без нравственности, без патриотизма народ не может самостоятельно существовать. А в России, судя по ее мерзкой — не только светской, но и духовной — литературе, совсем гаснет вера в Личного Бога, в бессмертие души. Гнилой труп она по нравственности, в грязного скота почти вся превратилась, не только над патриотизмом, но над всяким напоминанием о нем издевается. Мерзкая, проклятая, оскотинившаяся интеллигенция в ад тянет и простой, грубый и невежественный народ. Бичуется ныне Россия, опозорена, обесславлена, ограблена. Но разве же это отрезвляет ее? Сатанинский хохот радости этому из конца в конец раздается по ней (привет вам, почитатели Хазанова, Жванецкого, Арканова, Лиона Измайлова, «Мишеньки» — как пекся о своем сыне когда-то в нашей редакции «русской советской прозы» большой писатель, автор романа «Амур-батюшка» Николай Павлович Задорнов! — так вот, Задорнова Мишеньки и всей этой грязной братии! Привет вам, посетители их концертов, чьи довольные лица каждый день тиражирует эта помойка — «тиви»: телевидение! — Г. Н.) Коли собственному позору и гибели смеется, то уже не в когтях ли злого демона она вся? Неистовое безумие обуяло ее, и нет помогающего ей, потому что самое злое неистовство ее — против Бога, Самое Имя Которого она топчет в грязь... Душа стонет, сердце разорваться готово.»

И все это лишь прелюдия к тем мукам, которые пришлось испытать этому великому сердцу, когда среди военнопленных русских моряков, смущаемых пропагандистами-революционерами пошли раздоры, началось пьянство и драки... Столько лет высокодуховного, все и вся преодолевшего миссионерства, уже принесшего весьма заметные плоды, и — нате вам!

«6/19 декабря 1905.

Вторник.

Окружное послание русским военнопленным в Японии.

Русские христолюбивые воины,

Достопочтенные мои соотечественники и возлюбленные братья во Христе! Мир и благословение вам от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Бог судил мне быть временно вашим архипастырем, и Он видит, что я не пренебрег этим велением Его, а старался по мере сил моих служить вам. Знаю, что служение мое недостаточно для удовлетворения ваших духовных потребностей, совесть говорит мне это, но совесть и не укоряет меня в нерадении: я делал то, что мог. И делание мое было с любовью к вам, братие. Свои письма к вам я большею частию подписывал словами «ваш брат во Христе», и я истинно чувствовал братскую любовь к вам, питаемую особенно соболезнованием к постигшему вас несчастию плена. Любовь эта возвышает и укрепляет вашим добрым христианским поведением. Я с радостью видел, что вы, как природные христиане, во многом представляете для новых чад Церкви Христовой в сей стране пример христианских добродетелей. И эти новые чада Церкви видят это и со своей стороны также полюбили вас братскою христианскою любовью, которую и стараются по мере сил явить вам. Все это было хоть некоторым утешением вас среди тягостей пленной жизни. Так было до последнего времени. И уже настает конец вашего плена и предстоит радостное возвращение в Отечество, к дорогим сердцу вашим родным и друзьям и для дальнейшего вашего служения Отечеству.

Но что при этом открылось еще? Увы, с печалью и стыдом только можно говорить о том, что открылось!

...Между вами, живущими доселе везде мирно, происходят в некоторых местах ссоры, драки, побоища, доходящие до смертоубийства,— и это в чужой стране, на позорище всему свету! О, горе и стыд! Но что же это значит? Из-за чего все это? Отравленные развратителями в душевной слепоте своей мнят себя тоже хотящими добра и служащими Отечеству. Это добро-то и служение Отечеству в забвении товарищества и братства и во вражде, ссорах и даже убийствах? В попрании всякой дисциплины и дерзких возмущениях? В разрушительных замыслах и наглом вторжении в дела государственного управления, в которых ничего не понимают? (Привет вам, «шахтерики», «черномазые скифы» — как оно все на нашей родине повторяется! Привет вам, оставшимся в нашей Кузне, пропахшей дымом и потом до того, что много лет уже заводы стоят, а дымом и потом пахнет!.. Привет и в Москве вам, давно раздобревшим коммерсантам да спекулям-«бизнесменам», приодетым государственным чиновничкам в аккуратных галстуках, и думским политикам в дорогих костюмах, с потрохами продавшим своих недавних бригадников, с которых ежемесячно сдирают тысячный взнос на ваше безбедное существование в Белокаменной!)

...К несчастью плена, оставляющему вас чистыми в вашей совести и пред людьми, так как честный плен никогда не считался позором, эти коварные слуги диавола хотят присоединить несчастие, которое опозорит вас пред людьми и растерзает впоследствии вашу душу угрызениями совести, хотят сделать вас бунтовщиками и изменниками своему долгу и присяге, врагами своего Отечества, хотят обратить вас в людей-зверей, терзающих утробу своей матери России. О, братие, да не будет сего!»

Но сталось, произошло!

Русский плен в Японии — болевая точка всего жития святителя Николая. Всего его жизненного пути, который по-японски и есть «до».

Роман Анатолия Хлопецкого построен интересно в смысле формы его, он — триединство, состоящее из объединяющего все авторского текста, рассказа служившего в Японии русского дипломата, знатока восточных единоборств о Василии Ощепкове и повествования митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла — о святителе Николае Японском. Участие этого последнего предполагает не только его благословение на столь ответственный труд, но и непременное знакомство с приписываемым ему текстом.... Но он-то лучше нас понимает, где главный нерв столь мужественного духовного служения его земляка Ивана Дмитриевича Касаткина.

Решено было не углубляться в подробности той войны и жизни пленных русских моряков в Японии?

И без того нынче на родине тошно...

И все-таки, все-таки. О позоре своем необходимо помнить всегда, чтобы не заблуждаться на свой счет и не впадать в умиление нашей «русскостью»...

Отчего заговорили собаки и кошки

«МК» напечатал заметку о том, что в Москве зарегистрировано уже достаточно много говорящих собак и кошек и дается телефон некоего научного учреждения, которое занимается такими «говорунами»: звоните, мол, сообщайте!

Делается попытка объяснения феномена: начинают говорить, мол, те особи, с которыми хозяева долго и упорно общаются... Это во-первых. А во-вторых, эти хитрецы прекрасно понимают, что за успехи в разговорной речи их ждет соответствующее вознаграждение: и пища получше, и всякого рода поблажки... вот, мол, а?

А мне все вспоминаются стихи Паши Мелехина: *«Космонавтов испытывают на одиночество. Им-то что: и зарплата идет, и для встречи готовятся речи и почести, и жена даже, может быть, ждет... Им-то что?.. Ну, а мне-то что делать?..»*

Как — что?

Завести кота или собачку. И начать с ними разговаривать.

Заговоря-ят — куда денутся?

Голосами обласканных на последние гроши кошек и собак говорит нынче отчаянное, в беспросветной бедности утонувшее русское одиночество.

Исидор Пелусиот

«Святой, преподобный, отец и учитель Церкви 4-5 веков, родом из Александрии. Удалившись в Нижний Египет, принял иночество и поселился на горе близ города Пелузы, где предался строгим монашеским подвигам и вскоре снискал всеобщее глубокое уважение. К преподобному обращались за советом и наставлением многие мирские и духовные лица. Историк Никифор Каллист сообщает, что число писем с ответами преподобного достигало десяти тысяч. В настоящее время сохранилось 2090 писем.»

Прочитал это в «Букваре» от отца Феофила в день поминовения преподобного, и стало стыдно, очень, очень за свое нерадение с письмами и ответами на них... Когда-то прочитал, что после смерти Фолкнера открыли заваленную письмами специальную комнату с прорезью как в почтовом ящике — всю корреспонденцию он отправлял туда, не распечатывая. Слабое утешение!

На почте рядом со своим домом на Бутырской купил пять конвертов, чтобы ответить давно ждущим своим корреспондентам... Отдавая за них 25 рублей, немалые для человека на безжалостном русском пенсионе деньги, рассказал работнице об Исидоре Пелусиоте — любопытно, мол, что тогда бедному монаху стоили почтовые отправления? — и она грустно улыбнулась.

Как я, Лев Львович, хитро устроился...

Почему я, во-первых, Лев Львович?

Да потому что Гурий с еврейского — львенок, а Леонт по-гречески — лев. Леонтий соответственно — львиный... какие еще нужны доказательства

«львиного» моего происхождения? На всякий случай запутанного, лишь на двух языках объяснимого...

Счастье ожидания

Француз Пьер Буаст говорил, что «большинство повестей и романов причиняют двоякий вред читателям: они крадут у них время и деньги».

И все-таки, все-таки...

Бывало, что у меня лежало по нескольку начатых рассказов, этих самых «начал» и нынче достаточно, недаром же я придумал форму, к которой, коли Бог даст, еще приду: досказ.

Краткое, вплоть до скороговорки, емкое окончание... как в творческой заявке, бывало?.. Как в том самом, что киношники называют «синопсис»?

Но пока о другом. О том, что нынче у меня начаты четыре романа, и все они «пеплом Клааса», как мы раньше говаривали, «стучат в мое сердце».

Какое счастье «переживать» их то один за другим, то чуть не вместе, потому что есть такие моменты, как собственное детство, предположим, без которых не обойтись ни здесь, ни там...

Вот что писал по этому поводу Эмиль Золя: «Работа романиста — печальное ремесло. Единственные счастливые часы — это часы обдумывания плана. Все остальное время приходится мучиться и страдать».

Что правда, то правда. Иной раз думаешь: имелось бы некое приспособление, чудесным образом записывающее этот полет фантазии или ту горькую реальность, которые в голове твоей сменяют друг дружку... Или чудо здесь уже ни при чем? Только что прочитал в электричке беседу с «отцом психотропного оружия в России» академиком Игорем Смирновым, который рассказывает запросто: «Пассивным видом психотропного оружия можно считать созданную в нашем НИИ компьютерную психотехнологию «минд ридер» (говоря варварским наречием, которое мы с Олегом Дмитриевым так блестяще использовали в беседах с нашей англичанкой на первом курсе журфака, простодушно говоря, глядя в глаза ей: «год буе» — это «гуд бай», значит, «до свидания»...), что можно перевести как «читалка мыслей». За сорок минут работы этой системы с человеком я могу добыть из его мозга

столько информации, сколько опытному психоаналитику удастся получить за три месяца ежедневных бесед».

Нет бы — использовать это для чего-нибудь доброго. Сделали бы вместо «читалки» «помогалку», а потом вместе и посмотрели бы, что вышло!

Интересны следующие вопрос и ответ: «А человек может защититься от такого вторжения в его мозг?» — «Разве что залив в себя пять стаканов водки. Суперкомпьютер, стоящий на моем столе, способен выуживать информацию из подсознания. А подсознание не контролируется сознанием. Чего человек не осознает, то он и неспособен защитить».

Одна у русского человека защита: и здесь тоже!

И, может быть, переживание будущих своих романов — это одна из немногих оставшихся у тебя радостей, которой столькие лишеные... или это все то же продолжается, все длится, о чем бабушка Татьяна Алексеевна любила говорить: дурак думками богатеет...

Телеграмма от кунака

Глеб мне отдал ее, когда я вернулся вечером из Москвы: «Гарий аннотация мощная крепко обнимаю Юнус».

Зная природное немногословие моего друга и благоприобретенную им — по причине скудных писательских заработков («какая жизнь с пера!» — восклицал Александр Сергеевич, к роману о котором я отправил Юнусу аннотацию) — бережливость, можно заявить смело, что кунак мой «разговорился», более того — заболтался... как мы, и правда что, скудно живем!

Но речь о другом: выходит, догадка моя о форме «роман-плач», «роман-гыбзе» вышибла-таки у него скупую черкесскую слезу.

Но ведь и мои-то «четыре начала»? Разве каждый из четырех стучащих в сердце романов не есть этот самый плач?

Права, права, выходит, старинная адыгская поговорка: работай для другого — учись для себя.

Лишь бы только Господь дал возможность реализовать приобретенный долгой учебой моей на Кавказе опыт: продлил дни и не лишил вдохновения... помоги, Господи!

«Радостью сияющий»

По-гречески Харалампий, вчера был его день, Харалампия Магнезийского.

«Святой, святитель, священномученик, был епископом г. Магнезии в Фессалии. За проповедь Евангелия и отказ принести жертву языческим богам был предан жестоким мучениям, которые, укрепляемый Богом, мужественно переносил. Воины Порфирий и Вaптос, мучившие святого, видя его непоколебимую веру и мужество, тоже уверовали во Христа и были обезглавлены. Видя чудеса, происходившие при мучениях святого, уверовало и множество язычников.

Когда мученика Харалампия, вплетя веревку ему в бороду, повлекли к императору Септимию Северу в Антиохию, жестокосердие воинов человеческим голосом обличил конь одного из них.»

У нас в Кобякове вчера был Гаврюша со своим другом Мишей, помогали мне разобраться с моими файлами...

Прочитал я им это и говорю: «Кроме всего прочего — к чему это я?.. У тебя ведь в этом компьютере рассказик есть: «О говорящих кошках». И я для тебя оставил громадную статью о говорящем коте, да вот и это сообщение об увеличении количества «разговорчивых» таких животных в Москве... Почему же нам не поверить, что заговорил возмущенный конь, верно? Тем более — наверняка при Божией помощи, а?»

Оба они посмотрели на меня с любопытством, потом друг на друга глянули, промолчали... Но шла, судя по глазам, «внутренняя работенка», шла...

А о святом дальше вот что: «После многих мучений священномученик Харалампий был осужден на усечение мечом. При последней его молитве, в которой святой просил Господа, чтобы в той местности, где будут почивать его мощи и где будет почитаться память его, не было ни голода, ни мора, ни тлетворного ветра, погубляющего плоды, но да будет в этом месте мир, благосостояние, изобилие пшеницы и вина, и просил об оставлении грехов почитающим святую память его. Святителю явился Господь во Славе своей и обещал исполнить его прошение. Св. Харалампий преставился прежде, чем меч коснулся его. Кончина священномученика последовала в 202 г., когда ему было 113 лет».

Сентябрь 2003-го, Кобяково

Солдатик

Посреди горьких размышлений о невыполненных нравственных обязательствах, о которых кроме самого тебя никто и не знает, о неких литературных долгах, которые давно уже должен был отдать прежде многих других, второстепенных, неожиданно всплывет его имя и, многократно

повторяясь в сознании, стремительно дорастет до пронзительного внутреннего крика: Ваня, мол!.. Ва-ня!.. В-в-а-а-а-ня!..

А вдруг, мол, думаешь, эта история так и позабудется, так окончательно в памяти и сотрется? Разве — не грех?

Более, более того!

Это как бы серьезный проступок, а, может, и преступление...

Знал! И нет — рассказать. Ведь — скрыл!

Случилось это теперь уж лет пять назад. Вернулся домой после очередной долгой отлучки в Сибирь, в края молодости, и жена протянула листок, на котором значились либо фамилии звонивших в мое отсутствие, либо понятные только ей символы, которые, как считала, и мне могли пригодиться.

— «Рука и сердце», мать? — просматривая листок, спросил на всякий случай построже: мол, кто же это их и кому предлагает?

— Михаил Тимофеич звонил,— вскинулась она радостно.— Калашников. Хочет, чтобы опять с ним поработал, собирается еще одну книжку... Так и сказал: предлагаю руку и сердце.

Ясное дело: опытный, с большим стажем хитрован, Конструктор начал поди с того, что не может, как ни старался, забыть блинов, которыми она у нас его потчевала — того и сияет... Может, думаю, согласиться на его предложение? Глядишь, еще раз удастся и мне самому настоящих домашних блинов отпробовать!

— А «солдатик», мать?

— Тут не знаю, с чего начать и как тебе это все,— заговорила она, вдруг пригорюнившись.— Жаль, конечно, самого тебя не было... я ему так и сказала: был бы муж дома, он бы тебя, Ваня, понял...

— Ваня — это солдатик?

— Ну, да... а как вышло?.. Поехала в Кобяково наших проведать, кой-чего повезла, и они тут же все это смели со стола, а в холодильник глянула — один лед!.. Наутро она с Гаврилой да Глебом — в Москву, на свою Мурановскую, мы с Жорой остались одни, я и говорю ему: давай денек чайком перебьемся, пока холодильник не разморожу, а потом уже схожу в магазин, что можно куплю да приготовлю. Давай, говорит! И на весь день укатил... Занялась пустым холодильником, когда слышу: хозяин!.. Хозяин! Вышла — какой-то парень. Вы тут давно живете, спрашивает?.. А что такое?.. Да я, говорит, вроде узнаю избу и не узнаю. Ну, верно, говорю, сын тут многое перестроил, слава Богу, что не пришлось нанимать — своими руками... только зачем вам?.. А он опять: это здесь у вас много книг и медвежья шкура на чердаке? Все правильно, говорю, а откуда — про это? Кто-то сказал?.. А он: нет. Я когда-то в этой ракетной части, что в военном

городке тут рядом с вами, служил... Нас все на лыжах мимо деревни гоняли. Помню, говорю, а как же: солдатики бегали. Сейчас-то и части нету, и городок разграбили... Да я, отвечает, уже понял. Но мы тогда с другом однажды отстали, а уже вечер, уже темно: ладно, говорим, скажем, что заблудились... Со стороны леса зашли к вам, лыжи сняли. Стекла на веранде были — через одно, а замки у вас никакие... ну, и забрались в дом. Сперва на книжки глянули, бросились в глаза, потом на банки с вареньем. Одну, говорит, тут же сразу и съели, а еще одну ребятам, решили, отнесем. Вы, говорит, за это простите — я и приехал у вас прощенья попросить, но так нам тогда, говорит, варенья домашнего захотелось!.. А он, ты поглядел бы, и теперь — как дите...

— И правда что, жаль, меня не было! — пришлось мне вздохнуть: уже понял, что в мое отсутствие стучался к нам в избу в Кобякове сам господин Сюжет.

— Говорю ж тебе! — подхватила жена.— Ты бы на него посмотрел: виноватый такой стоит... Я уже давай его утешать. А он: еще мы с ним взяли у вас охотничий ножик... или кинжал, говорит,— вот такой!

Невольно подумалось, сколько этого добра тогда через мои руки прошло: после того, как вышел роман «Пашка, моя милиция» чего только в разных концах страны знакомые «менты» не надарили мне... Были среди этих запретных знаков признательности и добротные заводские экземпляры, и сработанные зэками-умельцами в лагерях уникальные самоделки... что я тогда в нашем Кобякове мог оставить? Какому ножику они приделали ноги?

— Говорит, вез его с собой...

— Ножик?.. Сюда?

— Вернуть тебе хотел. Покаяться, говорит, и отдать обратно...

— Покаяться?

— В том все и дело. Я там записала, откуда он. Глухое, говорит, село на Украине, хоть название какое-то современное, посмотришь потом. Бедность само собой. Ни работы, ни денег. А он тоже верующий, как Жора... даже как будто похож, только щупленький. Рассказал, говорит, батюшке на исповеди, что украли с другом, когда служили, две банки варенья и ножик, батюшка и говорит: надо ехать, прощения просить. Только тогда, мол, все в жизни и наладится, если греха на тебе не будет... он и поехал. А на границе как увидали этот ножик!..

— На украинской еще? Или на нашей?

— Говорю ж тебе: толком не поняла.

— Ма-ать? — укорил я.— Тебе не стыдно?

— Стыдно,— согласилась она.— Но говорю ж тебе: вышла с тряпкой в руках, стою на холоде в одной кофте, слушаю... дома больше никого, да

вообще — вся деревня пустая, глубокая осень, мало ли?.. Это сперва. А он еще переживает, волнуется... был бы ты, конечно, тогда...

— Ножик отобрали и — что?

— А его посадили. И не кормят, ничего не дают — одна вода... А он же вез две банки варенья, чтобы отдать нам. Специально мама, говорит, выбирала, чтобы понравилось...Вот и пришлось, говорит, съесть... да мало того! Полбанки оставалось, когда пограничник... или милиционер, кто там? А ну-ка, говорит, дай попробовать, что ты тут… о-о! Говорит. Чего ж молчишь, что такое вкусное? И отобрал... Остаток на глазах доел, ты представляешь?

— Какое свинство! — сказал я в сердцах.— Все-таки хохлы это или уже наши сволочи?

— Ну, не знаю, не знаю!

— Тоже хороша: хоть покормила бы!.. Хоть бы чаем...

— Говорю ж тебе: в доме ни крошки, так и договорились с Жорой, что перебьемся...

— Да чаю-то хоть стакан!

— Так спешил,— виновато сказала жена.— Говорит: вы только скажите мне, что прощаете, и больше мне ничего не надо. Конечно, говорю, прощаем — ну, о чем ты!.. А он: варенье, говорит, вам обязательно привезу. Ножик они не отдали, уже не смогу вернуть, придется деньгами, а варенье обязательно...

— А ну-ка, давай, что ты там записала! — потребовал я нетерпеливо.

И она протянула оторванный от газеты белый краешек газетного листа:

— Вот, тут он сам тебе...

Неровным почерком на листке было выведено: «317 927 Украина Кировоградская область, Петровский район, село Олимпиадовка. Ткачук Иван Сергеевич.»

Какие трогательные я сочинял Ткачуку Ване письма! Какие горячие и какие сердечные!

Дня три-четыре подряд.

Само собой — мысленно...

Но до пишущей машинки так и не дошло — навалились другие срочные дела, отвлекли иные заботы.

Было у меня некое как бы оправдывающее меня обстоятельство... Письмо — штука деликатная, в нем ведь так прямо и не скажешь: храни в себе эту чистоту сердца, милый Ваня, храни!.. Ты видишь, мол, какие времена наступили: что там банка варенья, что там этот несчастный ножик, если

теперь миллионы хапают, да не в наших тощих рублях да в ваших призрачных гривнах.

Может, думал я, лучше мне написать о ванином приезде небольшой рассказ, где все это и сказать: вокруг, мол, убивают, кровь льется, а он с банкой варенья едет из конца в конец некогда великой страны — покаяться... Нет уже этой ракетной части из «третьего пояса» обороны Москвы — еще недавно секретной, с неожиданными для грибников постами в глухом лесу, с подземным гулом, от которого тихо звенькали в избе стекла — а мама собирает Ваню, он едет, и сраные пограничники...

— Опять он приезжал! — сказала мне жена, когда я в очередной раз вернулся из Кузбасса, где тоже теперь шла такая великая грабиловка, которая и не снилась нам в сорок втором, когда наши уже ушли из станицы, а немцы ее еще не заняли — мне тогда уже было шесть, и многое так до сих пор и стоит перед глазами.

— Парень этот? Украинец?!

— Ваня, да,— стала словно оправдываться жена.— И снова так неудачно вышло...

— Мать! — чуть не закричал я.— Что, опять куска хлеба не нашлось?

— Да был хлеб,— взялась она объяснять,— был. Но Жора как раз лежал под машиной, что-то там никак не мог прикрутить и бросить ему нельзя — потом опять мучиться... Сказала, что он тут теперь живет, он и перестраивал, а этот Ваня опять: вы простите нас!.. А Жора из-под машины — весело так: что ты, брат! Бог простит. Сами грешники, еще неизвестно, кто из нас больше!.. Вылезай, говорю ему, хоть покормлю вас, а он: некогда, ма!.. Пусть Ваня идет на ферму, там его таджики покормят — объясни, как пройти, а я сперва мотнусь посмотреть одного больного, только потом с Ваней поговорим. Этот, Ваня: а кому деньги отдать?.. Какие деньги?.. Как, говорит, какие — за нож. Пусть он себе новый купит, ваш муж. Варенье у меня на границе отобрали...

— Мать! — укорил я.— Варенье у него в прошлый раз...

— Да нет же, я тоже сперва не поняла,— перебила она.— Ты слушай. Мама опять ему две банки для нас дала, а пограничник, или кто там, узнал его, говорит: о, я помню, какое варенье у тебя было вкусное — давай-ка его сюда!

— И он отдал?!

— А что ему оставалось?.. Они бы, говорит, и деньги отобрали, если нашли, да хорошо что мама, говорит, стыдно сказать, в трусы мне деньги зашила, а в Звенигороде на станции я уже вынул...

— Теперь-то хоть ты спросила, чьи это пограничники?!

— Ну, чего ты кричишь, чего кричишь? — сказала она как можно спокойней.— Что ты, поедешь туда разбираться?.. И тут, и там сволочи: ты на Кубань через Украину не ездил, а я ездила...

— Поеду! — заорал я.— Откуда ты знаешь?! Должна была спросить!

И в самом деле, хотелось все бросить, рвануть туда немедленно, схватить за грудки: что же ты, сучий потрох, делаешь?!

Нет других слов, ну, нет — в сердцах наверняка выдал бы много еще чего из фени, из воровского жаргона, там ведь, в Кузбассе, тогда это было рядом, и лагеря, и комсомольские стройки; решат, исправился — к нам давай, в дружную семью, на нашу «ударную», тут казенный дом выпал — чуть ли не через дорогу обратно в лагерь, к «хозяину»... или он-то, если разобраться, почти ни причем, рядовой «свисток», «погон», «сапог», чего его за грудки и чего на границу ехать, если вся шайка тут, по соседству со Звенигородским шоссе, на Рублево-Успенском — тогда хоть оно и рядом все это было, рядом, но все же существовала условная, пусть, граница, существовала, это теперь все смешалось, то «хозяин большой зоны» была кликуха у «гуталина», у Сталина, а кто вместо него сейчас — дешевло на дешевле, мошка серая, тварь фальцованная, чугреи, фитюльки, гумозники, эх!..

Денег у Вани Ткачука, конечно, мои не взяли, но вышло опять неловко: покормить-то таджики его покормили, но Жору он не дождался, тот слишком долго пробыл тогда у своего больного... Вернулся, а ванин и след простыл: с каким-то своим землячком договорился ехать обратно вместе, и уже на встречу у Киевского вокзала опаздывал... как, интересно, у них там, у славянских-то наших родных братьев, называется место, где их фитюльки теперь кучкуются... или кучмуются, как там у них?

В ближнем-то «залупежьи»...

Снова я сперва в горячке подергался: хоть маленькое письмецо, что ли, срочно Ткачукам написать?.. Или сесть, наконец-то, за рассказ — ведь вот он, весь тут, ничего не надо придумывать...

И опять закружил меня московский водоворот, такой якобы значительный...

И опять я к стыду надолго забыл про Ваню.

В толстой, как амбарная книга, тетради стал теперь искать адрес и долго не мог найти: забыл уже, на какую букву записывал.

Ткачук?.. Нет. Иван? Тоже нет. Ваня?.. Снова не то. Может быть, на «у» — Украина?.. Опять нет.

Вспомнил о символах, под которыми несколько лет назад жена записывала позвонивших тогда в мое отсутствие. Вспомнил и горько усмехнулся.

Михаил Тимофеевич Калашников, наш народный герой, уже теперь — генерал-лейтенант, только что отдал «руку и сердце» немецкой фирме, выпускающей зонты, лезвия, крем для бритья и что-то там такое еще...

А хранителем верности и высокого духа сделался вдруг стойкий простой солдатик.

Под этим символом в адресной своей книжке я его и нашел и, уже наученный горьким опытом, решил не расставаться до тех пор, пока не закончу маленький этот рассказ о нем...

С уважением и любовью к тебе прими его, Ваня, на добрую память.

22—23 сентября 2003 г.,
деревня Кобяково, Звенигород

Ершовский символ

В романе «Вороной с походным вьюком» у меня есть такие строчки о летящих домой, на Кубань молодых казаках, странным образом поднявшихся в воздух во время скачки по заброшенному аэродрому: «И пролетели над тихим осенью Подмосковьем, над теми, может, звенигородскими местами возле Ершова, где отцы их и старшие братья ломали настывшие шашки о ледяную броню и падали под гусеницы на раздавленный снег морозной зимою сорок первого...»

Выдумать это я не мог, наверняка где-то прочитал либо услышал — об этих самоубийственных атаках с клинками против железных чудищ, но — где и от кого?.. Еще недавно все эти почти невероятные свидетельства хранились у меня в тощих папках с газетными вырезками, но потом литература о казаках, наша и зарубежная, пошла таким могучим валом, что попробуй-ка тут удержаться на плаву...

Два десятка лет назад, когда мы только что купили в Кобякове избу, соседи-старожилы рассказывали, что зимой сорок первого в селе, и в самом деле, несколько дней были на постое кубанцы, сильно пили, и как раз в нашем доме случилась у них громкая ссора из-за шашки, которую сперва выбили из рук перебравшего самогону казачка, а потом всю ночь искали в снегу... Якобы отсюда и ушли они потом под Ершово, где чуть ли не все погибли под танками.

Старожилов в Кобякове почти не осталось, расспросить не расспросишь, а главный мой консультант по истории округи, в которой он родился и вырос, почти девяностолетний Дмитрий Петрович Серебряков, или по-здешнему — Серебряк, воевал в другом месте, и на мои расспросы отвечает одно и то же: «Наташа моя говорит, что лошадей под Ершовой, и правда, много побило, отсюда потом на санках еще долго ездили туда за кониной, но кони были немецкие, крупные эти — тяжеловозы...»

В сборнике «Одинцовская земля», в 1994 году вышедшем в серии «Энциклопедия сел и деревень Подмосковья», вот что говорится о том времени: «В годы Великой Отечественной войны Ершово оказалось на линии

фронта. Немцы, захватив село на очень короткое время, сожгли его (из 106 домов осталось всего 11), а церковь была взорвана вместе с запертыми в ней ранеными бойцами и жителями села. После войны на месте храма был воздвигнут памятник погибшим воинам...»

Памятник этот традиционного вида: ставший на одно колено солдат с опущенной на грудь головою в каске держит низко склоненное знамя.

Памятник, каких если не тысячи по стране, то уж сотни — это и точно.

Но вот два года назад восстановили, наконец Троицкую церковь... Еще деревянная, она возникла тут в пятнадцатом веке и не одиножды перестраивалась — последний раз в 1829 году архитектором из крепостных крестьян А. Григорьевым, воспитанником знаменитого Д. Жилярди. Считалось, что это одна из лучших церквей Подмосковья, по ней Ершово даже получило тогда второе название: Троицкое.

Восстановлена теперь Троицкая церковь во всем, вероятно, прежнем благолепии, а может быть... может быть...

Долго я ею любовался, со всех сторон обходил, и все не покидало ощущение удивительной, будто устремленной вверх ее легкости.

Потом зашел внутрь.

Красивый резной алтарь, удивительная роспись на стенах, и даже новизна икон как будто добавляет и праздничности, и — торжественности...

Женщина в свечной лавке оказалась сибирячкой, с Алтая, мы тут же разговорились: соседи, как же — сколько там до Барнаула из Новокузнецка, из нашей Кузни?

— Говорят, что восстановление немцы финансировали? — спросил я, как бы обводя взглядом красоту вокруг.

Она будто отмахнулась:

— Да это больше говорят. А на самом деле, если бы не Виктор Васильевич, не Бабурин...

— Бабурин — это кто?

— Глава администрации у нас... И предпринимателей уговорил, дали деньги. И сам тут дневал и ночевал... Слышали, у нас тут чудо случилось? — глаза у нее зажглись, она будто помолодела.— Это при мне: все сама вот так видела. Приходит он однажды, Виктор Васильич. По нескольку раз в день всегда наведывался. Приходит, идет вдоль вот этой стены, а потом останавливается и руками — вот так: да как же, мол, это можно?!.. Вроде того что, смотришь — глаз не спускаешь, а стоит на минуту отлучиться и — на тебе!.. А на стене прямо на писаной иконе пузырь вздулся: ну, как куриное яйцо!.. Все видели?! — Виктор Васильич строго спрашивает.— Потом не отказывайтесь — все?! Ткнул в пузырь пальцем, и вдруг такое благоухание — ну, как весной жасмин в саду распустился и ты нарочно вдохнешь... не знаю, как еще: такой

теплый и такой густой запах! А по стене тихонько течет из того места, куда он ткнул... Ну, вот откуда?!.. Виктор Васильич смотрит на свой палец, вот так смо-о-отрит!.. Хорошо, что у меня в ящике ватка была, давай на ватку собирать, а кто — на носовой платок, кто на что...

Опять я долго потом стоял снаружи, глядел на эту необычную композицию — сочетание вознесенного к небу легкого прекрасного храма и согнувшегося перед ним в низком поклоне, отягченного тяжелой земною заботой воина с красным знаменем... Смотрел, думал, и что-то словно рождалось в душе, как будто оформлялось в сознании.

Никогда я такого вроде бы не видал, но необычная и даже как бы противоестественная еще недавно эта картина была настолько закономерною, что ли... такой по большому счету символической: рукотворное дитя последних двух столетий — красное знамя — склонилось перед вечным Животворящим Крестом...

Ах, ты! — возникло вдруг с острой болью.— Да если бы это произошло несколько десятилетий назад, разве Красная Армия отступала бы сюда, почти до Москвы?.. Разве ушла бы чуть ли не со всех рубежей, оставляя предками нажитое,— Советская?... Да что там, что там: держалась бы в воинстве нашем, держалась бы на Руси крепкая и нерушимая, как в седую старину, вера — и не слыхали бы мы ни о какой красной армии, ни о советской, ни — о российской, а была у нас нераздельно сплавившая в себе, как от века велось, все народы непобедимая Русская Армия...

Рыцарь красный

В последние годы в Союзе писателей России, когда на свои редкие теперь по причине бедности пленумы съезжались литераторы из провинции, не раз и не два возникал никем не запланированный, стихийный разговор: при всей многотрудности нашей жизни не пора ли однажды собраться вместе всем писателям-казакам?.. Вон сколько нас в самых разных концах все еще великой России! И разве нечего нам сказать нашим самонадеянным братьям, нашим детям и внукам,многие из которых нынче самозабвенно убеждены, что стоит ему по летней жаре хорошенько попотеть в косматой папахе и в черной бурке, и он уже — участник белого движения?..

Принимались придирчиво считать свои казачьи ряды, счет этот как правило начинался с Анатолия Дмитриевича Знаменского, и при этом чуть ли не все, кто бы откуда ни приехал,уважительно поднимали ладонь: еще бы нет — Знаменский! Само собой — патриарх?

Сколько раз потом в радостной надежде я представлял, как давний мой друг и во многом — наставник Анатолий Дмитриевич, мой старший брат Толя приедет на этот казацкий сбор, на котором он будет очень нужным и, может быть,— главным человеком, как займет свое место среди уважаемых литературных старейшин... Не приедет!

Господь даровал ему легкую кончину, но, кажется, это чуть ли не единственное, что досталось ему легко. Мятежная судьба Знаменского один к одному отражает общеказачью драму.

Помню, как в шестидесятом году в Новокузнецке приехавший в Сибирь Владимир Монастырев рассказывал мне, совсем тогда зеленому, о новом таинственном нашем кубанском земляке: «Конечно, уже прочитали рассказ «Прометей № 219»?.. Так вот, главный герой на самом деле добывает огонь вовсе не в немецком плену: это наш зек в нашем лагере!»

А сегодня — почти через сорок лет! — с щемящим сердцем я взялся листать краснодарское издание «Красных дней» Знаменского и в послесловии прочитал: «Во время войны, работал я, как многие знают, на стройках в Коми АССР...» Пошучивать он любил, Анатолий Дмитриевич, но шутки его особого рода, от горькой печали их было не отделить: может быть, такой юмор давно уже стал нашей национальной традицией?

И он, конечно же, был глубоким философом: наследие его в этом смысле нам еще предстоит оценить. «Мелкую прозу жизни,— это разбивка Знаменского,— как бы не стоившую внимания» поистине титаническим своим трудом он сумел превратить в полнокровную высокохудожественную прозу, которая останется неотделимой частью кровоточащей истории России XX века.

«Иные из книг как бы предопределены нашей судьбой, написаны нам на роду,— утверждал Знаменский в том же предисловии к «Красным дням», недаром озаглавленном «Книга — судьба».— Именно эта книга и есть моя, потому что все сказанное в ней не мог сказать никто другой, это было поручено сказать именно мне и никому другому.» Разве это, и в самом деле, не так?

Донского казачка, уроженца хутора Ежовка, что близ станицы Слащевской нынешней Волгоградской области, участника школьного литературного кружка, выпускника-десятиклассника жизнь «выпускает» в 1940 году не куда-либо — прямиком в барак «Ухтпечлага». Разнорабочий «подай-принеси», десятник каменного карьера, старший нормировщик тарифного бюро деревообрабатывающего завода, который ежедневно отправляет на фронт 500 пар лыж. Кормить заключенных, понятное дело, нечем, при заводе открывают подсобное хозяйство, и «в порядке производственной демобилизации» Знаменского отправляют косить сено в бригаду Артамона Филипповича Миронова. Бригадир справедлив, но почти всегда хмур, задумчив и молчалив: причину этого Знаменский поймет спустя почти двадцать лет, когда после своих принесших ему известность «северных»

романов — «Иван-чая» и «Прорвы» — после уже согретых южным теплом «кубанских» повестей — «Завещанной реки» и «Кубанки с красным верхом» — займется, наконец, книжкой о блестящем казачьем офицере, легендарном участнике японской войны, награжденном высшими царскими орденами подъесауле с Дона — впоследствии расстрелянном герое гражданской войны, первым получившем именное революционное оружие. Займется книжкой о командарме Второй конной, о главном инспекторе Красной кавалерии Филиппе Кузьмиче Миронове. Тут надо сказать, что в штабе у Миронова отец Анатолия Дмитриевича служил писарем — разве, и действительно,— не судьба?

Сколько бумаг придется переворошить ему в очень — по тогдашним временам — негостеприимных архивах, сколько писем написать во все концы Советского Союза, к скольким своим корреспондентам съездить, со сколькими не один, и не два денька провести за сокровенной беседой! Сколько он перечитал тогда самых разных книжек! «Красные дни», и в самом деле, снабжены тем, что привыкли называть «научным аппаратом»: бесконечные сноски, ссылки на документы и на источники — как страстно, как яростно добивался он того, чтобы книжка была справедливой и была честной, как не хотел дать ни малейшего повода равнодушным идеологическим чиновникам приподнять пухлый пальчик: это, мол, еще что?!

Но это уже потом, потом, когда и книга будет готова окончательно, и времена станут хоть чуть да веселей… А сначала, вручая друзьям отдельные, напечатанные в журнале «Кубань» главы со вклееной им собственноручно фотографией будущего командарма — лихого усача, грудь которого украшали ордена «Святой Анны» третьей и четвертой степени, третьей степени «Станислав» и «Владимир» с мечами и с бантом — Знаменский расставлял на обложке «свои» номера, отличные от журнальных: «Это в таком порядке надо читать, только в таком!.. А тасовать приходится, ты понимаешь, для того, чтобы они там не поняли раньше времени...»

При всем при том хранил он искреннюю веру в правоту дела, которому отдали жизнь лучшие из его героев, сам без колебаний стремился в партию: «Чем больше нас там будет, тем быстрее сможем переломить ситуацию — сколько можно терпеть, чтобы Россией правили если не придурки то обязательно предатели?!»

Скорее всего к тому оно шло, государственный организм уже «переварил» жесткое учение иноземных апологетов, уже начал выздоравливать — это-то как раз и не устраивало мировых управителей. И гордого казака «сдали» во второй раз: теперь уже, правда, вместе с нами со всеми.

Титанический труд Знаменского над «Красными днями» сделал его знатоком таких тайн и таких хитросплетений истории, о которых до сих пор неизвестно — это при нашей-то захваленной «гласности»... Помню, как лет пятнадцать назад, сияющий, он рассказывал в Москве о встрече с

Трифоновым, уже написавшим тому времени своего «Старика»: «Юрий Валентинович сперва мне не верил: откуда ты все это знаешь?!. Представляешь: к концу нашей встречи, когда я столько порассказал ему, он даже явно погрустнел. А я вижу, что хочет скрыть это и — не может,— Знаменский посерьезнел и вздохнул.— Тяжело ему!.. Раздвоенность, брат, такая штука: не каждый вынесет. А он честный человек и честный художник — ему трудно!»

Сам Знаменский был цельный человек: со всеми присущими цельности издержками.

Через несколько лет после нашего знакомства с Монастыревым в Сибири, уже у него дома — в Краснодаре он показал мне на высокое, чем-то похожее на трон кресло: «Запомните его — историческое!.. В нем сидел Знамен-ский, а на ручке рядом, чуть ли не на коленях у него — Лихоносов. Были — водой не разольешь...»

К этому времени два прекрасных писателя, два бывших друга уже не только не разговаривали — не здоровались. Мне скажут: это дело двоих. Хорошо, если бы обстояло именно так... эх, хорошо бы!

Несколькими годами позже я махнул рукой на все срочные дела в издательстве, где тогда работал, пошел проводить Толю до метро. Стоял прекрасный день ранней осени, настроение у него было великолепное, и я решился: «Что, если я очень попрошу тебя — уважишь? Мне кажется, Виктора я уговорю: давай сойдемся посидеть — потолковать... Хоть тут в Москве, при случае, а хоть в Краснодаре — ради этого в любое время готов прилететь. И вы пожмете друг другу руку, и мы поднимем по доброй чарке...»

Долго шли молча, я только иногда поталкивал его, как мальчишка терся плечом: «Ты уж не осуждай меня... ты прости. Но ты подумай, Анатоль Дмитрич... а, Толь?»

Он вдруг беззащитно, тоже как мальчишка вздохнул: «Не хочу еще раз об этом рассказывать... Но если бы за пять минут... за минуту до нашей ссоры кто-нибудь попробовал бы мне сказать о ней, предупредить меня — я бы рассмеялся ему в лицо! Ты представляешь? Но они очень точно рассчитали...» Я спросил: «Кто-они?» «Те, кому надо было поссорить нас,— и он через силу улыбнулся и протянул руку.— Возвращайся — у тебя там народ...»

Непростая биография Знаменского давала обильную пищу для разнотолков — как этим пользовались наши разъединители!.. Но вот получил известие о его кончине, и странное вдруг вместе с ним пришло ощущение: как будто сделался свидетелем не смерти, но вознесения...Так, может быть, всплывает находящаяся почти всем корпусом в глубине гигантская подлодка, и со всей возможной очевидностью становится понятной вся величественная ее мощь. Когда безжалостное время подводит черту под чьей-то дорогой для тебя

жизнью, кроме вполне понятной печали приходится, бывает, пережить еще и горькое сожаление: как много не успел сделать!..

Другое дело со Знаменским. С уважительным удивлением вдруг думаешь: как много он успел!

Но более того: сознавая, что обладает поистине великим богатством, не раз он пробовал им поделиться. «Займись Сорокиным! — говорил мне не единожды.— Это такой пласт!.. Поднимешь, а под ним столько тебе откроется!» Приходилось говорить о себе что-нибудь такое полушутливое: мол, не архивный червь, к сожалению,— спец по живому делу, как на нашей стройке говаривали. Не смогу!.. Он настаивал: «Только начни копать, только начни этим заниматься. Работа свое дело сделает — затянет, не оторвешься. Пока я жив, я столько могу те рассказать!»

Не расскажет.

Казачья пуповина неразрывно связывала его с кровеносной системой всей страдающей нынче Россией, и сердце его не выдержало: билось оно куда напряженнее, чем у многих, кто куда помоложе него. И — куда рассудительнее. Куда потише и поспокойней.

Мне уже приходилось это писать: есть старая легенда о том, как в королевском замке два бесстрашных рыцаря поспорили из-за цвета щита, висевшего посреди зала для турниров. Первый говорил, что щит — белый. Второй утверждал: красный. И только когда они убили друг друга, кто-то из свиты, сам не умевший владеть мечом и спокойно наблюдавший за поединком со стороны, с улыбкой обратил внимание остальных на то, что оба рыцаря были правы: одна сторона щита, и в самом деле, была красной, другая, и точно — белой. Просто рыцари стояли по разные стороны щита.

Анатолий Знаменский был — Рыцарь Красный.

Это, и действительно, не значит, что он не понимал и не желал понимать идеалов белого движения: в его высоком, теоретически-стерильном, так сказать, выражении — без крови и грязи. Дело в другом: Знаменский на дух не принимал не успевших вызреть под недолгим, как клюв у ставропольского воробья, под искусственным солнцем «перестройки» доморощенных страдателей — «дроздовцев» или никогда не выезжавших за пределы Сенного рынка, сытно живущих «галиполийцев», а пиетет Лихоносова перед белой эмиграцией и столь тонко описываемую им ностальгию, добродушно посмеиваясь, относил за счет душевного неустройства в чужом, как бы то ни было, краю: страдает, что давно не был в городишке Топки под Кемерово — забыл Сибирь, забыл родину!

И Знаменский слишком хорошо различал умело пользующихся гордыней тех и других профессиональных разъединителей: за эту науку он заплатил слишком большую цену.

Воздадим ли мы теперь ему должное?

Несколько лет существует Шолоховская премия, но получают ее вовсе не те, кто подобно донскому казаку Анатолию Знаменскому или терскому — Андрею Губину, недооцененному, до конца непонятому вдохновенно-глубокому автору «Молока волчицы» всем творчеством своим доказал величие и самость казачьей культуры, так неразделимо слитой со всеобщею русской. Горькая истина об отсутствии пророков в своем отечестве сегодня у казаков — еще горше...

Знаю, что Знаменскому нравилась моя работа о казаках «Последнее рыцарство»: на похвалы он был щедр. Это как раз из нее взят отрывок о смутивших души рыцарей двустороннем щите. И позволю себе это краткое слово о моем старшем друге закончить еще одной выдержкой из этой работы: «И вспомнилась мне другая давняя легенда: о птицах с одним крылом... Кто смог с птицею такое сотворить: живую разделить надвое?.. Не бездумная казачья шашка и тут была виновата?

Но только с тех пор, чтобы взлететь и подняться высоко над землей, однокрылые птицы непременно должны собираться по-двое и плотно прижиматься одна к другой...

Удастся ли нынче это казачеству?

Ощутить прежнее, некогда такое надежное братское тепло и взлететь.

Над почти погубленной своею землей.

Чтобы спасти ее.»

Этому посвятил жизнь Знаменский. И гроб его в Краснодаре стоял во время прощания в Доме офицеров, в почетном карауле были казаки и люди в армейской форме — хоронили его как воина.

«Стихи надо — стоя!..»

Перебирал опять газетные вырезки о Пушкине, нашел беседу с Николаем Николаевичем Скатовым, в которой последний из вопросов ему — о Некрасове, вот он: «Не меньше, чем Пушкину, вы уделяете внимания и Николаю Некрасову. Ваше книга о нем — это настоящее признание в любви. Неужели большей, чем к Александру Сергеевичу?»

И Скатов отвечает: « Пушкин и Некрасов — что общего между ними? Нет, лучше иначе — в чем они противоположны? Некрасов выражал крайности русского человека. Это был мужчина громаднейшей силы, он в одиночку ходил на медведя! Великолепный стрелок, охотник и наездник, удачливый игрок. Очень богатый, имевший бешеный успех у женщин. И вместе с тем человек, который олицетворял во второй половине XIX века центр русской

литературы. Он ведь сумел объединить (чего до него никому не удавалось!) всех прозаиков и поэтов из числа своих современников. Собрал их, что называется, в один кулак — Тургенева, Толстого, Фета, Добролюбова, Чернышевского, многих других... Пушкин во многом — его антипод. Пушкин — гармония, золотая середина. Бог нашей литературы. Соответственно к ним и отношусь».

Оставим точность формулировок на совести собеседницы Скатова. Суть не в них, а в том, что, и в самом деле, Некрасов — «любовь» многоуважаемого Николая Николаевича, а это дорого стоит, как говорится. Все уже круг знатоков, все меньше остается достойных...

Меня последние дни все чаще посещает грустная мысль, что собирался написать очень коротенький рассказик для сборника о Некрасове, который затевала Тамара Пономарева, и — не написал. Опять то самое: некогда!

Я вот и Колю Воронова уже не успел, кажется, поздравить с его 75-летием... Я окончательно задержал вопросы для беседы с Валей Распутиным: а он мне сам сказал — ну давай-давай, где они? (для продолжения нашей с ним беседы «Многобедное наше счастье — жить в России», была опубликована в журнале «Российская Федерация сегодня»).

Или я никак не войду в московский ритм... или никак не приму его: это, мол, надо — кровь из носа!

А у меня все больше — как Бог даст.

Но что я собирался сказать в честь Николая Алексеевича Некрасова. Он один из любимейших поэтов Калашникова. Кроме Есенина, пожалуй, что мне Калашников при одной из последних встреч, сдается мне, целенаправленно, внушать взялся — прочитал известное есенинское послание Демьяну Бедному: о том, какого Господа Бога он готов принять, а какого — нет... Тем самым Михаил Тимофеевич как бы двух зайцев бил сразу: и отводил от себя возможное обвинение в угрюмом атеизме, и любовь к литературе еще раз подтверждал... что-то он такое, по-моему, просчитал задним числом из наших разговоров о вере, все больше, естественно,— об Архистратиге Михаиле, которого на празднике в Свято Михайловском монастыре один чиновник второпях назвал «аристархом»... грехи-наши! Заставил меня вспомнить пожилых казаков, пришедших в пешие ряды «возрождения» из Советской армии: крестное знамение они обычно сокращали до «крестного знамени»...

...так вот: Некрасова Конструктор готов читать наизусть до бесконечности, не говоря уже о том, что чуть не ежечасно его цитирует. И мне все думалось: где тут — нажитое самим, а где из детства, из тех зимних вечеров в крестьянской избе, когда и не хотел бы, да невольно запомнишь: либо старшие бубнят, учат, либо выученное «рассказывают».

И вот однажды вечером просматривали у него дома в Ижевске «семейные» записи, сделанные Еленой, старшей дочерью, в родном селе Михаила Тимофеевича на Алтае.

Обе старшие сестры его тогда были живы: одной крупно за девяносто, другой на несколько лет меньше, но прибаливала она сильнее — первая и померла, кажется...

И вот в семейном кругу ее просят «в камеру»: ну, расскажи стихи, что ты любишь, расскажи... Она переспрашивает начальной некрасовской строчкой: эти, что ли?

«Эти,— старшая соглашается,— рассказывай, давай...»

Младшая медленно и тяжело начинает вставать, и Елена, дочка Калашникова, говорит ей — снова «в камеру»:

— Да вы — сидя, сидя!

— Нельзя сидя,— говорит она убежденно, когда, наконец, встает.— Стихи надо — стоя!

Мера народного уважения к русской литературе вообще, которая, как недавно еще «демократы» талдычили, «ничему свой народ не научила»... И к Николаю Алексеевичу Некрасову — в частности.

«Номенклатурный» батюшка

Позвонил в Армавир отцу Сергию: сказать что написал о нашей с ним поездке в Ставрополь.

Хорошо, батюшка говорит: почитаем.

И в дополнение рассказывает такую историю: когда церковь была построена, поехал, мол, в Мало-абазинку с бутылкой хорошего молдавского коньяку... Сами, мол, говорю Ахло, не пьете, ваша вера, знаю, не позволяет. Но, глядишь, мол, кого-нибудь из своих гостей угостите.

Вот Ахло и угостил...

Собрались у него на мальчишник, значит, руководящие отрадненцы — на шашлыки да на шулюм. Зарезал Ахло барана. А когда выпили, выставляет на стол коньяк батюшкин и говорит: эту бутылку привез мне один из руководителей вашего Отрадненского района. Попробуйте догадаться, кто. Давайте так: каждому три попытки. Не угадал — ставь. Одну единственную. А кто угадает, тому я — три.

Народ был, само собой, не последний — все шишки районные. Вот и давай они теперь перебирать, значит, фамилии отсутствующих: нет и нет! К утру измучились совсем, а перед Ахло стояла гора бутылок: всю ночь бегали к

машинам, где в «бардачке» — обязательная, значит, председательская заначка...

Взмолились, наконец: ну, скажи, скажи?

Он и говорит: батюшка ваш!

А они: поп?!.. Да не может быть!

Да почему не может? Такой же номенклатурный работник, как и вы все...

А они — опять: поп?.. Номенклатурный работник?! Это я уже от себя: представляю, в какую глубокую задумчивость они впали...

Об этом есть у меня в «Заступнице»: как один из членов комиссии, проверяющей мало того, что незаконное — якобы со злоупотреблениями ведущееся строительство церкви, отвел отца Сергия в стороночку и тихо спросил:

— Надеюсь, вы член КПСС?

— А вы у себя в райкоме проверьте! — нашелся батюшка. После чего проверяющий приехал в райком, зашел в сектор учета и говорит:

— Найдите, девчата, карточку попа отраденского, кой-что хочу посмотреть...

Ну, и вся станица потом, само собой, потешалась — и над проверяющим, и над райкомом.

Эти-то, кто был на «мальчишнике», подумали, небось — проверять еще, опять связываться!

А я потом долго понять не мог,— закончил отец Сергий.— Почему это многие, кто раньше меня в упор не видел, стали вдруг со мной вежливо здороваться... Оказывается, обязан я этим другу Ахло!

Кой-что об автомате...

В «Разговорах Пушкина» есть свидетельство Гоголя: «Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха! И как он, вообще, был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно,— говорил он,— чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жестокое и небратское. С одним буквальным исполнением закона недалеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат: много, если оно достигнет того, до чего достигли Соединенные Штаты. А что такое — Соединенные Штаты? — Мертвечина. Человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но если нет среди них

одного такого, который бы движением палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А, кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой, да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться за счет других; блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного сословия.»

Под этим есть сноска, что «едва ли Гоголь буквально передал слова Пушкина» и трудно представить, «чтобы Пушкин мог называть закон деревом (в смысле деревяшки) или выражаться о Соединенных Штатах, что они «мертвечина, человек в них выветрился до того, что выеденного яйца не стоит»(это слог Гоголя!)»

Дело в том, что я уже достаточно долго — хоть между делом — ищу встреченное где-то у Пушкина: «грубый американец». Так что с него стало бы.

«Грубый американец» — это как раз и есть продукт «государства-автомата».

Но я об ином.

Не было ли и наше государство в советское время точно таким же автоматом?

И как символ его, как его техническое продолжение, скажем, можно рассматривать... АК-47.

Автомат Калашникова.

Имея в виду, что за полтора столетия перед этим вышел в Петербурге... «Автомат» Ивана Тимофеевича Калашникова — роман писателя-сибиряка, иркутянина.

В мае или в июне, когда говорили с Валей Распутиным по телефону, я ему об этом романе напомнил и потом, признаться, наученный горьким опытом, пожалел об этом... Он просто обмолвится где-нибудь, а эти наши ребятки, которые из-под стоячего подметку вырежут — ребятки эти ухватятся, пошуткуют, но... отберут «право первой ночи». С другой-то стороны, такая ситуация — когда я проговаривался о чем-то, а после жалел, всегда была для меня мощным стимулятором собственного творчества... думаю!

На этот раз вот о чем: что тут, на что могло повлиять? Кто — на кого?

Может быть, Николай Васильевич прочитал-таки Ивана Тимофеевича?

Надо будет в Майкопской библиотеке глянуть в словарь Брокгауза: когда вышел первый «Автомат» Калашникова.

Зато с собой у меня блокнот, где выписаны такие слова этого удивительного иркутянина: «Мы стоим посреди неизмеримых бездн пространства и времени: там и тут проникают только одне догадки.»

Вот и догадывайся теперь.

И ломай голову.

«Не бойся — крепость бедняка»

Не помню точно, чья это поговорка: черкесская, осетинская либо чья-то еще. Наша, в общем,— кавказская. Горская.

И что любопытно: если другие пора и подновить, потому что давно настали иные времена — эта истина остается незыблемой. Что имею в виду?

Предположим, раньше говорили: хочешь сказать правду — рядом держи оседланного коня.

Спасет ли это сегодня? Конечно, нет! Хочешь сказать правду нынче: держи рядом мощный «джип» с работающим двигателем. Личный самолет. Копию того, что сказал — у какого-либо юриста либо в банковском сейфе. Имей охрану.

Часто все это заменяется квартирой в Москве, которую работающий в провинции чиновник предусмотрительно покупает заранее. Турнут его, и — куда он?.. А — в Белокаменную!

С этим примерно ясно — коснемся другой старой пословицы: крепкие стены джигита — его шашка. Как с этим-то нынче быть?

Вон, какие дворцы стоят у джигитов по всему Кавказу! Какие крепости: с бронированными дверями, с пуленепробиваемыми стеклами, с волкодавами во дворе, с телекамерой у входа, с телохранителем — в спальне под кроватью...

И только у бедняка осталась та же самая «крепость»: не бойся, брат!

Положись на Единого Бога.

Царь — писатель...

Наверное, кто-нибудь так и озаглавит потом свое памятное слово о Викторе Петровиче Астафьеве.

Из всех современников последних дней своих, конечно же, он был самый глубинный — вот тебе и связи, которые, пожалуй, давно уже существовали в

подсознании... Стал перебирать: самый талантливый? Самый мастеровитый? Какой еще может быть — самый-самый?.. А выплыло вдруг это: глубинный. Самый народный.

В этом и мощь его — первозданная, как недавно еще — Сибирь, которая, подумаешь иногда, не часть планеты Земля, а — часть Космоса.

Отсюда же во многом и то, что склонны мы считать недостатками: противоречивость, несговорчивость, вздорность. И — хитрованство.

Но кто из нас не таков?

А я-то нарисовал свой портрет (разумеется, во второй его, нижней части).

Сказали по телевизору, что он скончался, и я вышел во двор, пошел в конец огорода — там есть единственное местечко, откуда в прогал между крышами и деревьями видать, как всходит солнце.

Заря была перед этим очень яркая, потом вдруг потухла, и солнце начало прожигать темно-синюю, почти черную хмарь. Сам прогал чем только не был обрамлен и заштрихован: между мокрыми крышами домов и обшарпанными задниками сараев, на которых чего только не висит из старой утвари — и голые ветки с обвившими их серыми лозами одичавшего винограда, и ржавеющий остов буйного летом хмеля, и маскировочная сетка из обрывков повители на высоких бодылках, и белые завязки на одиноких от дождя потемневших колышках...

Но вот сквозь эту путаницу вся и всего потихоньку начинает проявляться солнце — сперва как яркий желток, который покачивается в прозрачной скорлупке яйца, потом он увеличивается, наливается алым, все гуще и гуще — до серебряной, как расплавленный металл, синевы... Шар этот растет и как мыльный пузырь покачивается... солнце играет?

Неужели также, как на Пасху, когда мы стояли и смотрели на игру солнца в Дивееве, по дороге к источнику: Володя Стефанов со своими старшими, Ольгой и Сергеем, моими крестниками, и я...

И тут же еще раз подтвердилось, как мало знаем о солнце: я сощурился, и у солнышка появились лучи, похожие на кошачьи усы... А то ведь с детства рисуешь солнце с лучиками, а что они такое — на самом деле?

Стоял и думал: надо бы телеграмму дать... Но — кому?

В Красноярск? В Союз писателей на Комсомольском?

Они там поймут, что претендую на треть строки среди остальных «подписантов», многие из которых давно — а кто отродясь — только тем и заняты, что сочиняют юбилейные телеграммы да некрологи и первыми их, само собою, подписывают... Это прямо-таки стало у нас особым литературным жанром, доступным только избранным — лишь им...

Вот этой горькой колючкой Виктора Петровича и помянем?

...У нас как раз погиб семилетний Митя, когда «Смена» решила дать отрывок из «Царь-рыбы»...

Я возился с отрывком долго, очень — хорошо это помню — непричесанным, так казалось еще и потому, что текст был отпечатан небрежно, с ошибками и последующей правкой Виктора Петровича.

Потом пришло коротенькое письмецо от него: услышал о твоем горе. По себе знаю: чтобы выжить, остается только одно — забыться в работе. Пиши, как можно больше, пиши!

И вот итог. Только что программа РТ показала одно из последних интервью с Виктором Петровичем, в котором он сказал: «К сожалению, слово мое помогло народу очень мало...»

И это притом, что у Астафьева доносить слово возможность оставалась всегда.

НТВ тут же не преминуло показать небольшой сюжетец, в котором Виктор Петрович негромко и проговорочкой вроде пустил матерщинку... Зачем? Зачем?!

Тем более, что в следующем выпуске они же дали довольно длинный отрывок из интервью, в котором он говорит: была бы возможность прожить жизнь заново — ничего бы не хотел изменить. Только бы маму оставил...

Оставил жить бы, имеется в виду,— перед этим сказал, что мама в двадцать девять лет утонула в Енисее, прямо напротив дома...

Вот и сложи все это.

Позвонить батюшке Ярославу? Шипову.

Еще недавно мы с ним бились за «писательский» храм, в котором он стал бы настоятелем и в котором можно было бы поминать усопших наших собратьев, так много в жизни грешивших...

С этой идеей я так надоел Владыке Арсению, что в последний мой приход к нему с год назад, увидев меня в дверях своего кабинета, он закричал совсем по-мирски:

— Некогда, Гарик, некогда!.

Даже не «Гарий» — что уж там о «Гурии» толковать.

Такие наши дела.

Светлая вам, Виктор Петрович, память!

Жалею теперь, что не поехал, когда имел такую возможность, в Овсянку — послал балабона и перебежчика Ступенко... не слишком был щедр?

Или же — слишком горд?..

Не исключаю — как и в случае с Леонидом Леоновым, когда решил сделать подарок Саше Труфанову,— просто глуп.

Кавказские «ножницы»

Давно говорил, может быть,— уже и писал об этом не раз: что существует очень большой разрыв между высокими требованиями горского «кодекса чести» и тем, как он исполняется в обыденной нашей жизни. И так было всегда.

Только что Юнус подтвердил это в своем «Милосердии...», там так: «Правда и то, что мой русский кунак, тоже давно ставший нашим не только для меня, но для многих, кто дружески зовет его на наш лад Гаруном либо Гиреем,— кунак этот часто с печальной усмешкой говорит, что нет на белом свете других таких «ножниц», такого несоответствия между заявкой на идеал, который содержит кавказский «кодекс чести» и тем, как мои соплеменники блюдут его... Пожалуй, не смог бы простить ему этих обидных слов, если бы точно такие же он не говорил в глаза своим сородичам — казакам, более того — атаманам.»

Но вот на днях перечитывал — целенаправленно, имея в виду работу над романом Юнуса — «Записки о Черке-сии» Хан-Гирея, и наткнулся на такие строки: «Отчаяннейший из наездников подъезжает к аулу и там, расспрашивая какого-нибудь мальчика о чем-нибудь, роняет плеть и, когда мальчик подает ему эту вещь, то, схватив его за руку, ускакивает; и дабы не могли его перед этим подозревать в подобном смысле, поджимает одну ногу под лопаткою коня, отчего послушный его товарищ, уже к тому приученный, начинает прихрамывать, что, видя, разумеется, мальчики не боятся подойти к наезднику, сидящему на хромой лошади, не подозревая в нем своего злодея-похитителя.»

Правда,— ну, какое грустное (да так и просится — гнусное) дело: ведь по этому самому кодексу, на котором его с детства воспитывают, мальчик просто обязан подойти и помочь, старшему. А подошел, и — наказан. Тут же он становится жертвой соблюдения «адыгэ хабзэ». Бедные мальчики!

Всегда помнится эта история с мальчиком, встретившим вечером всадника и, когда тот дорогу показать попросил, проводившим его до места. С мальчиком, ставшим по этикету добровольным спутником — хагреем.

Также по этикету наездник потом должен отпустить мальчика, сказав, что он свободен...

Но наездник забыл об этом, а когда вышел утром из кунацкой, увидел у двери дрожащего от холода мальчика: он всю ночь тут и простоял.

— Что ты здесь делаешь? — удивился наездник.

А мальчик послушно произнес:

— Я думал, что я тебе еще нужен.

Бедные наши доверчивые мальчики, которых мы делаем заложниками высоких нравственных правил, которые им привили...

Но мы их потом нарушаем с удивительной легкостью. Они — расплачиваются.

Когда в Ижевске я спросил Игоря Красовского, внука Калашникова, о причине размолвки деда с его дочерью Еленой, мамой Игоря, он сказал: «Дед вырастил ее комсомолкой. Она такой и осталась. Не может приспособиться. У деда опыт больше: он приспособиться смог.»

Очень емкое определение того, что со многими и многими семьями происходит, в том числе и с нашей произошло: когда Георгий наш восстал против профессора-взяточника, я не поддержал его. Время было уже такое, что на это надо было жизнь положить, как говорится.

Тогда он еще готов был это сделать.

Но я-то — уже нет.

Разве не в этом трагедия тех же «скинов» — кто, как не мы, внушал им идеи добра и правды, которые сами мы давно продали?

А любопытное это дело: от знаменитого, увешанного орденами, Конструктора до этих мальчишек...

Надо поискать это место в его книге, когда он говорит, что и седой генерал, может, мол, оставаться мальчишкой... Оно ему очень нравится, это место.

Только и всего?

И только ли «кавказские» — эти «ножницы»?

Ностальгия под названьем «Горячий Ключ»

Ну, вот — здесь можно и без текста обойтись: обо всем говорит сам заголовок.

Сидел в своем номере, наслаждался не только одиночеством, но еще и сознанием, что здесь-то его всегда можно будет продлить, по крайней мере, в течение тех трех недель, которые предстоит тут провести. Вглядывался в знакомый вид за окном: побитая первой ржавчиной листва старых лип, на одной из которых, у самой макушки пристроился идеально круглый шар омелы, за липами купы деревьев позеленей и над ними сильно зажелтевший край ближних гор... как это там? Мол, утром смотри на горы, а вечером — на воду, и душа твоя будет пребывать в мире и спокойствии.

Но дело в другом: душа в мире, потому что вернулся в

любимые места, о которых столько когда-то написал, оказался в хорошо защищенном прошлом, где так тепло и уютно...

На первый взгляд здесь много перемен, самых разных.

Под вывеской милиции пониже на стене висит ящик вроде почтового, на нем надпись: для обращений граждан, их вынимает лично начальник отдела... как на Дворце дожей в Венеции, а? Там, правда, было так: анонимные обращения не рассматривались, а за клевету автор письма мог и схлопотать... Это что — уже тоска по настоящей демократии?

По дороге в Дантово ущелье коснулся ладонью знакомого камня с арабской вязью: два века назад поставили на том месте, где умер возвращавшийся из Мекки знатный черкес... Хотел вспомнить его имя, стал оглядываться туда и сюда, но таблички с подробностями его жизни теперь не было... утащили, потому что была из дефицитной теперь бронзы? Сбил какой-нибудь «Вася», который «здесь был»?

Как «приписной черкес» — выражение Аскера Евтыха, светлая ему память! — решил, что надо непременно поговорить об этом с главным врачом, с Игорем Викторовичем. Пока его нет, маленько приболел, и когда молоденькая, но чрезвычайно строгая от понимания всей значимости возложенных на нее обязанностей секретарша сказала мне об этом сквозь зубы, хотел было, как в давние времена молодости пошутить: «Как?! — сказать на полном серьезе.— Опять приболел и снова — без меня?!»

Как в том анекдоте про купца Епишкина: не пойму-ут!

Немчики-болгарики

На ступеньках ведущей к бювету с минеральной водичкой галереи, где местные травницы раскладывают на тряпицах сухие пучки, а мужички, лесные копатели, на каменный пол кладут рядом со своими замызганными рюкзачками еще живые клубни мандрагоры или тяжелые обрубки адамова корня, увидал бабушку с нехитрым товаром: груши кучками, россыпь каштанов и букетики цинний разного цвета...

— Не буду брать, мать, извини — я спросить,— говорю дружелюбно.— Как тут эти цветы называются?

— Это у нас болгарики,— отвечает она охотно.

Такое название слышу впервые:

— А то, что их еще — панычи...

— Да вот хотела тоже сказать: панычи, правильно.

— А по научному их — циннии...

— Цинии? — переспрашивает с интересом.— Вон оно...

— А в моей станице их называли «немчики»,— не могу не продолжить свой «социологический опрос». Нет, правда: у мамы в цветнике их всегда полно было, и в детстве это считалось как бы само собой разумеющимся: какие же еще цветки и должны расти у Немченков, как не эти?

Но после такого названия их я больше не встречал, а в станице переспросить кого-либо из старших все забываю... что у молодых спрашивать? Не знают ни одного из этих вот теперь — четырех.

— Немчики — никогда не слышали?

Добрая душа, она как будто силится вспомнить:

— Не-а,— вздыхает отчего-то.— У нас — болгарики.

Но откуда, думаю потом, стоя со своею чайной чашкой в бювете, эта явная смысловая связь? «Немчики» — значит, явно «не наши», «не здешние»... Но ведь и «болгарики» — тоже. В этом названии, правда, «место рождения» цветков определенней. Или всего лишь страна, из которой они в Горячий Ключ прибыли?

Как многие семена — на крыльях ветра?

А что если, думаю теперь, это говорит вот о чем: до войны их в кубанских наших краях не водилось или, во всяком случае, водилось мало, а после победы кто-нибудь привез щепотку домой: один — из Германии, другой — из Болгарии... Не все ведь везли шмотье или, предположим, дефицитные по тому времени иголки для швейных машин... Набил ими чемодан, а на родине открыл — чемодан денег! Были среди победителей и такие вот простаки, такие чокнутые, которые везли нехитрую какую-нибудь диковинку: себе и детям с внуками на долгую память.

О победе, которую у всех у нас потом отобрали...

Может, в какой другой станице или маленьком кубанском городке они и «венгериками» называются, эти цветки?.. «Мадъяриками». Или, предположим, «полячиками» или «чехариками»?

По чистеньким городкам, по столицам стран восточной Европы в незабываемое то лето своею рукой собранные семена и в крошечном пакетике, сделанном из приготовленной на махорочные завертки газетной бумаги, привезенные в нагрудном кармане солдатской гимнастерки либо лейтенантского кителя...

Немчики-болгарики, эх!..

Вид из окна

Нынче догадался, наконец, отодвинуть занавесь до края окна — какой вид открылся! То сквозь стеклянную дверь на балкон видать было только одну липу — ту самую, с шаром омелы наверху, а теперь в оконной раме поместились все три да еще и край горы сбоку от лип — кажется, эта гора и называется Абадзехской, так, во всяком случае, сказал Шхамбий, мой позапрошлогодний майкопский знакомый, которого я спросил: а скажите-ка, абадзех, где ваша гора?..

Перед этим я попытался разузнать, что ему вообще известно об окрестностях Горячего, и он начал с того, что долина по берегам Псекупса исстари принадлежала аба-дзехам... Говорю ему: в книжке, изданной к 135-летию города прочитал на днях, что более ранними насельниками здесь были бжедуги, но потом буквально за несколько лет абадзехи их вытеснили на равнину... похоже на правду, если учесть, где теперь родовой аул всех Чуяко — Гатлукай — влево от краснодарской трассы. Обычное в этих благодатнейших краях дело — мирное, а то и с кровью вытеснение одних другими...

День перед этим стоял удивительный, только в наших кубанских предгорьях, в наших тихих долинах светит такое безмятежное осеннее солнце — в такие дни думаешь: разве могут черкесы, и правда, забыть хоть когда-нибудь, какого рая лишила их в позапрошлом веке кавказская война, которую зовем покорением...

Но вот и от нас уходят эти земли, так всегда было: свято место пусто не бывает... райские места тоже.

И вот стоял я у окна, размышляя обо всем сразу: об этих местах, о предстоящей мне в Майкопе работе над романом о Пушкине, о наших подмосковных местах, о том, как я все приставал к отцу Феофилу: ну, где, где доказательство того, что Александр Сергеевич бывал мальчишкой в Саввино-Сторожевском монастыре?.. И как отцу Феофилу одна из прихожанок передала, этот стих о «тихих берегах Москвы», где «церквей венчанные крестами сияют ветхие главы над монастырскими стенами» — «издавна почивают там угодника святые мощи...» Конечно же, это о преподобном Савве, в который раз сказал я себе и тут же подумал, что святой Савва — покровитель русской государственности и законных правителей России...

И что-то такое очень тревожное опять пронеслось в душе, смутно подумалось, что происходящее на Кавказе, включая события в Чечне —

всего лишь отвлекающий маневр, как это бывает в большой войне, и что на самом-то деле мы давно уже теряем Москву и теряем Россию...

Песня о твердом слове

Все пытаюсь бороться с разгильдяйством своих сыновей да внуков: назвал, мол, час, когда будешь дома — будь добр, не заставляй себя ждать... Тем более, братцы, если вы казакуете — казак ведь волен до произнесенного слова, а потом уже — слуга его, раб, если хотите... Это у москвичей есть такая привычка: хорошо, мол, договорились, но перед тем как собраться — перезвонимся еще раз… да зачем?

Уж если, как говорится, камни с неба — другое дело.

А коли камней нету — чего лишний раз языком-то бить?

У казаков, втолковываю им, должно быть так: договорились через год встретиться, назвали место, назначили час — все дела. Через год на этом месте в назначенный час — как штык!

Но хоть говори — как, само собою, и мне в свое время — хоть не говори: толк один.

В очередной раз осерчал, но промолчал, только в электричке написал потом такие слова:

Ой, если час казак назначил,
он не должен опоздать.
Если сам казак не сможет —
друга верного пришлет.
Вдруг товарищ не поспеет,
то — неверная жена.
А жена опять обманет —
конь примчится под седлом.
Если коник не доскачет —
черный ворон прилетит!

Прочитал Сереже Гавриляченко у него в мастерской, и он сказал: «Крутая песня!»

«Калмык-чай»

Читал «Вино мертвых» Нальбия Куека, наткнулся на упоминание о калмыцком чае и улыбнулся...

Летом, когда у нас в Кобякове гостил три денька американский «джинсовый король» Петр Иванович Величко-Роман, в свойском просторечии — «дядя Петя», я сварил этого чайку, и наш калифорниец распробовал его и высоко оценил.

И вот прошло уже несколько месяцев, как-то вечером я лег «вместе с курами», как в нашей Отрадной говаривали — чтобы подняться пораньше, потому что утречком собирался в Москву — как вдруг слышу, что Жора громко кричит, явно в мобильник, явно на ходу — приближаясь: «Это к отцу, дядя Петя, это он вам скажет — я могу только приблизительно... вот: передаю отцу!»

Посмеиваясь, вручает мне, полусонному мобильник: «Па,— Сан-Франциско!»

— Гурка, как хорошо, что ты дома! — частит наш американец.— У меня к тебе серьезный вопрос. Я делал доклад в нашем русском обществе. О своей поездке. И очень заинтересовал всех рассказом о твоем калмыцком чае... скажи мне: какую траву ты для него используешь... лошадиный... как трава называется?

— «Лошадиный», вот-вот,— начинаю выговаривать ему.— Что же ты, казак, забыл родные травы? Конский щавель!

— Ах, да! — радуется он там.— И что добавляешь?.. Скажи рецепт — наши хотят попробовать... интересно, он тут растет, конский щавель? Он, а что еще?

— Сначала двадцать минут кипятишь конский щавель и даешь ему хорошенько настояться,— начинаю я сообщать «ноу-хау» для Сан-Франциско — старый как мир черкесский способ приготовления калмыцкого чая, который они считают своим «национальным» напитком: от калмыков, мол, в нем одно название — «калмык-чай».— Хорошенько процеживаешь, добавляешь ровно столько же молока — вода и молоко один к одному. Солишь по вкусу, но надо посолоней — вспомни... Когда все это у тебя закипело, выключаешь и тут же кладешь кусок сливочного масла — граммов пятьдесят на пять литров, предположим, и круто перчишь... ты помнишь? Круто. Снова маленько даешь постоять, уже — маленько. И — пей себе на здоровье...

— Я им тут сказал, что это целебный напиток!

— Ну, еще бы!

— Как жаль, что я не захватил у тебя этот лошадиный щавель — я собирался...

— Конский, конский!

— Да, конский. Если что не будет получаться, я тебе позвоню...

— Могли бы и пригласить,— говорю ему.— Нас вдвоем — с конским щавелем. Тогда бы я мог гарантировать вам качество. Ты там подумай...

— Я поговорю, слушай,— это мысль! — обещает он чрезвычайно серьезным тоном.— Спасибо, я, кажется, правильно все записал...

Отдаю Жоре мобильник, падаю на подушку и засыпаю с усмешкой на лице: а вы, мол, думали?.. Так вот и протяну в вашей Америке — на калмыцком, который буду для вас варить... как иначе и уцелеть?.. Витя Лихоносов рассказывал, как они там с голоду помирали, когда ездила эта писательская кампания: он, Олег Михайлов, Эрик Сафонов, Стас Куняев, Павел Погорелов. Когда русские американцы пригласили их в ресторан, раскатали губы: ну, хоть слегка, мол, подпитаемся... А потом — что такое?.. Им принесли поесть, а нашим нет. Американцы едят, а наши слюнки глотают. Да в чем дело-то?! И вдруг выяснилось, что каждый заказывает себе сам — из собственного кармана.

«Р-руский офицер» Олег Михайлов возмутился, заказал себе обед на последние, какие имелись, доллары, и даже умудрился надраться... а я вот буду так, коли пригласят. Протяну на калмыцком.

Хорошо все-таки, что я успел научиться — у нашей крестной, у «мамаши Карпенчихи» да после — у двоюродных братьев, у Лизогубовых: у Юрика, светлая ему, страдальцу, память и у Володи, у младшего — эх, кабы из напитков он только калмыцким чаем и обходился бы!

Поклон преподобному Савве Сторожевскому

Вчера был праздник иконы Казанской Божией Матери — «Казанская». Вспомнил, что окормляющий нас — «три поколения Немченков» — отец Феофил считает ее своей покровительницей и решил позвонить ему, поздравить.

Время выбрал между двумя вечерними службами в монастыре и угадал верно: мобильник отца Феофила включился тут же. Почти стремительно, чтобы сэкономить и свои, и монастырские денежки, поздравил, стал расспрашивать о делах, и он сказал, что ребятишек в детском доме, над

которым он начальствует, еще прибавилось, но в школу все также возят их пока несколькими рейсами на старой машине — только послезавтра поедут уже на новом автобусе...

— Так автобус, батюшка, получили? — я обрадовался.

— А вы и не знали? — удивился он.— Как же: совершенно новенький «фольксваген», уже освятили, осталось кое-что с документами...

С почты я возвращался сияющий, да и нынче: вспомню и — тихонечко улыбнусь.

История любопытная вышла: начал рассказывать батюшке о церкви Покрова в Филях, в которой уже идет служба, но официально она пока остается музеем, верующим ее не передали... Батюшка спросил, как я в ней оказался, пришлось рассказывать, что специальной цели не было: ходил в Главное таможенное управление к старому доброму знакомому, к земляку-кубанцу, а оно как раз — напротив храма, ну и не мог не зайти в него...

Через несколько дней с младшим сыном, с Георгием, заехали к отцу Феофилу в детский дом и у входа встретили его идущим среди своих подопечных. На плечах у мальчишек были спиннинги — только что вернулись с рыбалки.

— И что поймали, рыбачки? — спросил я, посмеиваясь.— Где ваш улов?

В тоне у батюшки послышался нарочитый азарт:

— А вот этого бородатого дядьку-писателя мы сейчас и поймаем... Знаете, ребятишки, что у него есть друг, который наверняка может помочь нам с автобусом?

— У меня?.. Друг, который...

— У меня созрел план,— уже серьезно сказал батюшка.— Давайте поднимемся в трапезную, чтобы там вареники не остыли. Повечеряем — все обсудим.

Еще через неделю-другую мы сидели в кабинете у Юрия Федоровича Азарова, статс-секретаря Главного таможенного управления... Это отдельный сюжет, как говорится: при каких обстоятельствах мы познакомились. Когда-то очень давно я написал нечто, слегка похожее на детектив — роман «Пашка, моя милиция». Главный герой его был добрым и честным парнем, пострадавшим из-за того, что не мог пойти на сделку с собственной совестью, и мне потом пришлось получить не одно письмо от людей такого же склада и с похожей судьбой: уж вы-то, мол, поймете — помогите восстановить справедливость!

Чего хорошего — обращаться в инстанции, где честь мундира блюдут частенько больше собственной чести. Сколько я в роли штатного правдоискателя настрадался! Тем радостнее было получить однажды из

Краснодара прямой толковый ответ: была допущена ошибка, которая уже исправлена. Справедливость восстановлена: спасибо.

После работы в политотделе Управления внутренних дел на Кубани Азаров уехал в Москву, был заместителем начальника Главного управления кадров Министерства, потом уже не в лучшие времена вернулся на свою малую родину секретарем крайкома, и ему выпало сперва попридерживать тут прущие через край, как опара из дежки, казачьи дрожжи, а потом утихомиривать знаменитый «бабий бунт»: многодневный митинг женщин, не отпускавших в Чечню своих мужей-резервистов... Умницы,— думаешь теперь,— защитницы! Как хорошо, что хоть этого-то кубанского «похода» на Чечню тогда не случилось.

...И вот сидели мы в кабинете у Юрия Федоровича, теперь — одного из первых лиц Главного таможенного управления, вели уважительную беседу... как мне хотелось, чтобы дорогие моему сердцу люди друг дружке понравились!

Так оно, слава Богу, вроде бы и случилось.

Сперва монахи оставили коротенькое письмо на имя начальника ГТУ Ванина: само собой, что без ведома первого лица такие вещи не делаются. Потом им позвонили из приемной: Ванин их ждет.

— Как встреча прошла, батюшка, как? — стал я расспрашивать отца Феофила, когда после этого увиделись.

— Сейчас вам расскажу, сейчас,— начал батюшка, и в голосе у него послышалась загадка.— Вхожу я вслед за нашим наместником и вижу вдруг знакомого человека... где-то, думаю, я его видел... где? Когда замечаю, отец Феоктист тоже как бы в некотором замешательстве на Ванина поглядывает. На него глянет, потом незаметно на меня. На него — снова на меня... И вдруг спрашивает: а не могли мы вас видеть, многоуважаемый Михаил Валентинович в нашем монастыре?.. Ванин улыбнулся: наверное, могли, говорит. Я-то звенигородский и хожу к вам в церковь... можно сказать, ваш прихожанин! Так почему же, отец наместник начал... и не договорил. Что тут скажешь? Обычный прихожанин: стоял в храме по воскресеньям да по праздникам... Глянул на меня и говорит: по-моему, у вас я исповедовался... помните? А вы меня как-то причащали...

...И вот шел я с почты, откуда звонил отцу Феофилу, улыбался и думал: вот как Господь все устраивает!

Разве какой-нибудь случай не мог раньше их свести: ожидающих от мирян хоть какой-то помощи монахов и такого влиятельного, как сам, собствнною персоной начальник Главного «там можно все», как один мой старый приятель говорит, управления?

Но нет, нет: пусть-ка эти кубанские землячки тоже руку приложат, пусть-ка во имя Божие, старые грешники, марксово племя, поработают да хоть маленько очистятся... славно!

«Славно» — оттого, что все стыдишься сказать лишний раз: с л а в а!

Отцу и Сыну, и Святому Духу.

ООО «РФ»

По «ящику» — или, как эта прозападная публика с придыханием произносит, по «ти-ви» — идет очередная гнусная развлекуха, актеры-«сортирики» прилюдно — при полном зале — старательно дотаптывают последние остатки былых (не в Союзе, нет — когда-то в России, когда-то — в мире вообще) понятий о нравственности... А кто-то нам все твердит о национальной идее: откуда ей взяться-то?!

Вспомнил эту давнюю историю, которая в 1983 году случилась в Кельне... В кампании «судей и тренеров», с которыми ездил на чемпионат мира по хоккею, стоял перед старинной картиной с известным сюжетом — Фома-неверующий подносит персты к ране у Христа на груди — и один из сибирских наших тренеров вздохнул и покачал головой:

— Блин,— травма!

— Да что он — совсем? — тихонько спросил я у Игоря Тузика, начальника команды «Динамо», когда сосед от нас отошел.

— А что бы ты хотел? — усмехнулся Игорь.— Два года в Москве учился в школе тренеров. С мастерством порядок — ход, глаз, рука да и бестолковка работает — а по всем хитрым наукам... На экзамене по обществоведению заткнулся, преподаватель подсказать решил — хорошо, говорит, ответьте мне: в каком обществе живете? Напрягался он, напрягался, потом спрашивает: «Трудовые резервы»?..

Изменились времена.

Другим стало общество, в котором все мы живем...

О честном труде мало кто помышляет, о трудовых резервах вообще не думают...

Может быть, теперь наше общество — это «ООО»? «Общество с ограниченной ответственностью»?

Или вообще — без всякой?

Чай краснодарский черешковый

На горяче-ключевском рынке все высматривал что-нибудь этакое... какой раньше был рынок!

Щедрая земля, минеральные воды под ней, ласковое — чуть не круглый год — солнышко... И чего только не было на базаре, каких только удивительных по красоте и вкусу фруктов и овощей. Богатырские помидоры и болгарские перцы, тыквы-великаны, краснобокие, с детскую головку величиной яблоки. А цветы, цветы!

И ведь все это осенью, в самом преддверии зимы...

Теперь все это порядком помельчавшее изобилие вытеснено турецкими шмотками, сникерсами-памперсами, кофе с чаями, само собой импортными, жвачкой и остальной всякой всячиной в красивых обертках, а земные плоды, картошка с моркошкой и разнообразная, несмотря ни на что, экзотическая в этих краях зелень — все это втиснуто теперь в небольшенькую выгородку на другой стороне улицы с бесконечным развалом по сторонам, в крошечный такой конц-лагерек для поздних овощей и припоздавших с уходом с родной земельки древних старух...

В поисках тыквы-кубышки и тыквы-ханочки обошел я коротенькие рядки, а на обратном пути задержался возле пожилого мужчины с безразмерным рюкзаком в ногах: рюкзак был набит толстыми пакетами мало сказать крупного — такого же по величине безразмерного чая.

Остановился я, затеял разговор — само собой, купец нахваливал свой товар: чего там — чайный лист? Что от него после переработки останется? А черешок — вот он, его никуда не денешь, только и того, что дроблен... да лучше этого чая... ну, и так далее.

Купил я для пробы один пакет, содержимое которого, когда его дома разрезал, похоже, было на обсыпанный черными «цурпалками» — так в Отрадной называли попадавшиеся в пачках обломки чайных веточек — большой пук пакли или добрый клочок плохо обработанной «костры», теребленной на «лубзаводе» конопли, которой после войны топили печки — сколько кошелей перетаскал я в детстве сапетками!

Милые, вроде бы совсем забытые слова, которые сами тихонько всплыли теперь из памяти!.. Уже за это спасибо продавцу необычного чая.

Запах у него достаточно приятный и сильный, хотя далеко не тонкий, нет — также, как вся эта мешанина грубоват. Но заварка получилась довольно приличная, а вот вторячок вышел отчего-то совсем жидкий. Отдавало, признаться, мочалом, но какой же русский чай им не отдает?

Пойти и купить еще? Для дома, для семьи. Для общего о самых разных чаях знания...

Приехал за мной на своем «крайслере» Сережа Прохода, едем на его «Охотничий хутор», я спрашиваю: мол, как относиться к этому чаю, который продают на вашем базаре? Вот, смотри — может, что-нибудь о нем знаешь? Зачитываю ему текст лежавшего внутри листка-паспорта: «Чай краснодарский черешковый фасованный.»

— Все дело в технологии,— ровным тоном и будто даже слегка раздумчиво говорит Сергей.— Когда его фасовали, видишь. Днем? Или ночью?.. А в этом-то вся и штука.

— Иди ты! — по-мальчишески удивляюсь: знакомы-то с ним сто лет, а друг для друга — все мальчики.— Это, в самом деле, имеет значение?

— Ну, а как же? — все также серьезно учит меня Сергей.— Может, помнишь,— или я тебе не рассказывал? Была тут у нас одна фирма: изготавливала и продавала измельченную дубовую кору... Это ведь достаточно большая ценность, ты знаешь. В медицине — как вяжущее, общеукрепляющее — для животных, входит во всякого рода биодобавки... Принимали они кору по хорошей цене, лежала на виду — вот она! А ночью, когда начинали перемалывать, подъезжали три «камаза» с мебельной фабрики. С дубовыми опилками...

— Вспомнил! — рассмеялся я.— Ты мне как-то рассказывал!

— Вот, видишь,— все так же невозмутимо Серега продолжал.— Так что всегда интересуйся технологией: днем фасовали? Или — темной ночью?

Образ и мера времени

Привез я с собою в Горячий неоконченную рукопись «Кодекса чести» — о моем друге Ирбеке Кантемирове, о том многом, что связано с ним, лучшие горские традиции в себе воплотившем... И как всегда — как с ним было, когда его перестал вдруг слушаться умница Асуан, что-то свое в те минуты, прекрасно запечатленные в крошечном документальном фильме, у своего любящего хозяина отстаивавший — взялось «выкидывать коники» (старый отраденский словарь) подсознание: с «Кодексом» дело — ни с места, зато чего только в голову не пришло, связанного с началом «Осеннего романа», все подсобные материалы которого специально, как раз для того, чтобы «не путались под ногами», оставил под Звенигородом, в Кобякове.

По закону вредности к концу срока в пансионате — все более властно: ну, будто хорошенький десант долгожданных «эйдосов» — летающих по миру над землей образов — приземлился в почерневшей от долгого — от темна до

темна — ночного дождя в долине Псекупса под Аба-дзехской горой, ставшей от этого еще уютнее и печальней...

Сперва вдруг подумалось о том, что в повествовании о поездке на алтайскую целину, об уборке хлеба прямо-таки обязан присутствовать образ пшеничного зерна и зерна вообще... сколько стоит за ним! Вплоть до рационального зерна.

Как же мог, спохватился, обойтись без этого символа, который все больше затягивает своею глубиной: зерно — как собранное в триединство прошлое, настоящее и будущее?.. Дальше больше, как говорится: вдруг открылось, что зерно — это не только символ времени, это еще и счет по годам... Умершее и народившееся — разве они не сменяют друг дружку ежегодно? И можно говорить о пяти, предположим, зернах и о трехстах... И можно считать что от рождества Христова и до великой русской трагедии произросло 1917 зерен... вместится в пригоршнях? Или будет чуть больше этого?

Вспомнил Юру Молчанова, доктора философии, крупнейшего специалиста по времени... жив ли?

Когда мы только начали учиться на философском, у него в привычку вошло всякий раз в день стипендии идти в новый ресторан или кафешку — тогда это было «по деньгам»... Не успел обойти, все, что можно было, за пять студенческих лет: пришлось, сказал, поступать в аспирантуру, чтобы замечательное это дело продолжить...

После стольких лет встретились с ним в конце восьмидесятых в пивной на Нижней Масловке: называлась «Возрождение», потому что в отличие от находившейся, напротив, через дорогу на крошечной асфальтовой плешке, на юру и открывавшейся лишь в девять «Малой земли» она начинала работать на час раньше... на целый час! Потом видались не раз, обменялись по уговору своими последними книжками, но в черном его, как черные дни тогда над Москвою томике «Категория времени» я, само собой,— не надо было после первого курса на «журналистику» перебегать! — не просек ничегошеньки, и, когда случайно столкнулись возле подземного перехода на улице, спросил Юру: можешь, мол, не темнить и в лобешник, самым что ни есть прямым текстом сказать, какое время-то на дворе? Плохое или хорошее?

— Хреновое, старик! — сказал Юра. — Хреновей некуда.

Дал печальную отмашку рукой и пошел по ступенькам — я еще долго смотрел, как в такт тяжелым шагам подрагивает согбенная спина его...

Потом, уже, печально посмеиваясь, я подумал: не только, мол, студенческих да аспирантских лет не хватило ему, чтобы обойти все высыпающие нынче в Москве, как грибы после хорошего дождичка, кабаки... не хватит жизни!.. Может, оттого и зачастил он, как я в одно время, все в одну и ту же пивную?

Как не согласиться теперь с тем, что мое близкое к воспевающим земледелие греческим «Георгикам» определение времени куда веселей?

(Сколько лет прошло с той поры, когда холодной ночью они с любимой ехали на машине, зарывшись в еще неостывшее зерно? — будет размышлять, коли доживем, лирический мой герой.— Почти пятьдесят?.. Меньше горстки зерна из полусогнутой ладошки, когда в любовной игре он посыпал и посыпал ее пшеницей...)

Ростки пшеницы...

...и начали они в сознании подрастать — да так щедро и стремительно! Чего только не пришло на ум, кроме всего прочего — звездная россыпь, которая в ясные ночи повисала на током, где мы работали... а ведь правда, правда: разве не похожа бывала на убранную площадку с оставшимися от метлы, мечеными зерном разводами?

Вообще — звездная зернь над головой, когда отдыхали ночью в буртах зерна, засыпали на час-другой и просыпались, когда приходили машины, и надо было их нагружать: транспортером или вручную... определенно тут что-то есть: литое зерно на земле и вызревшие за доброе лето звезды — высоко над ним.

Сияние белых гор

Сказали нынче по телевизору, что на Кубани, мол,— второй за это лето заход наводнения, новый разгул стихии... Опять разлился сильно Псекупс, затоплены станицы Саратовская и Бакинская.

Давно ли я в Горячем стоял над ним, почти неподвижным, и никак не мог определить: в какую он сторону течет? Потом потянулись один за другим сплошь дождливые дни и ночи, уезжали мы тоже в дождь, а в дороге он разошелся так, что дворники, и в самом деле, не успевали очистить лобовое стекло: ну, точно как в старых моих сибирских романах — особенно в «Тихой музыке победы», где чуть не главное событие — размывший шлаковый отвал июльский ливень.

Водитель Саша, который и «привез» этот дождь из Краснодара, сказал, что улицы там уже наполовину затоплены, ливневка не справляется с напором воды — захлебнулась.

Когда свернули с трассы налево, пошли вглубь Адыгеи, дождь припустил еще сильней, черное небо распростерлось до горизонта, налегло и почти закрыло свет — стало как поздним вечером сумеречно.

Бушевала и билась мутная Белая, даже брызги над тяжелыми волнами летели ошметками грязи, но когда переехали ее, дождь сперва поутих, а потом совсем прекратился, и на горизонте возникла светлая дымчатая полоска, сперва очень узкая, а потом чуть пошире. Налилась тонкою светло-розовой желтизной, и в ней очень четко проступили вдали голубовато-серые, как сухая синяя глина, с белыми разводами снега по бокам и молочными ледяными пиками горы, чуть не весь Кавказский хребет — ну, как на ладони.

Маленько особняком — еще и потому что поближе — четко проявился двуглавый Эльбрус.

— Видишь, видишь,— сказал я Саше.— Ковчег морехода Ноя задел верхушку и распахал ее надвое...

— Он на Арарате! — поправил Саша.

— По черкесским легендам — здесь. И Прометей был на Эльбрусе прикован... вот в каких местах мы живем!

— Сколько ездил в Майкоп мальчишкой, сколько сам за рулем, а так четко вижу впервые,— признался Саша.

— Может, остановим, и ты посидишь-посмотришь?.. А то я наслаждаюсь этим зрелищем, видишь...

— Ничего-ничего, мне и так хорошо... привык.

Ехал он не так быстро, я как раз хотел ему спасибо сказать: успеваешь рассмотреть родину — не то что, небось, из «мерседеса», который перед этим обдал нас грязью и скрылся в дыму и в брызгах, только растянутая гроздь красных огней проявилась на миг где-то уже совсем во тьме.

— В эту пору я часто на автобусе,— сказал я.— Из Краснодара в Майкоп... Бывает, ясным днем видать горы, но почти всегда еле-еле, сквозь дымку, а тут, а?

Зрелище, и, правда, что, удивительное: цепь гор прекрасно видна, как в узкую щель, как в амбразуру... Из-под темного, почти черного края неба над горизонтом — ну, как из-под стрехи, как из-под огромного низкого козыря...

— Видно, там ясное солнышко,— сказал Саша.— Над горами.

— Да, там, видать, день погожий...

— Оно и здесь уже почти сухо,— повел Саша головой.— Тут дождя почти не было.

Зелень по бокам стала сухая, черные деревья постепенно меняли цвет на серый...

Мы въезжали в город, и козырь темного неба уже плотно лег на невысокий верх покатой горы на другой стороне маленького уютного Майкопа — светлый прогал исчез...

В голове у меня вилась такая же призрачная, как эти горы на горизонте цепочка ассоциаций: двуглавый Эльбрус... орел, клюющий печень героя... сиянием гор ослепленный двуглавый орел.

Смутное, как всегда вначале, мало определенное, но что-то есть в этом...

Что-то есть.

Ходите гоголем!..

Сидение за компьютером окончательно искривило позвоночник, как выяснилось сначала из беседы с невропатологом, а потом — и с инструктором по лечебной физкультуре... как я столько лет мог ею пренебрегать?!

И вот когда разговорились с ним по душам, то кроме прочих советов он дал и такой: «Не считайте за труд каждый день хоть несколько минуток просто, без всяких упражнений, походить, расправив грудь — гоголем...»

В Майкопе под чистой от виноградных листьев и потому особенно четкой на фоне голубого неба решеткой взялся я опять ходить как по тюремному дворику — теперь уже «гоголем», будто попал в тюрьму по чрезвычайно важному делу — и вдруг подумал: а как ходил Николай-то Васильевич?.. Гоголь.

Вспомнил скульптуру во дворике дома, где он жил последнее время, откуда понесли его хоронить... Сидит печальный, свесив голову на грудь, смотрит страдающими глазами... Так ведь, поди, частенько и хаживал?

Не будем о грустном, решил,— не будем!

Снова расправил грудь, стала как у молотобойца... И через минуту-другую родились стихи:

Шел по улице пропойца,
грудь — как у молотобойца.
Отгадает кто-нибудь,
сколько он принял на грудь?

Скоро понесу, подумал, в «Наш современник», к Юре Кузнецову, подборку!

Газырь о Юре Кузнецове

В силу самых разных причин, в том числе — осознанно или нет — исходя из вполне естественной в его положении «первого на Руси поэта» — самозащиты, он становится все неприступней, но несколько лет назад был проще, куда дружелюбной и не стеснялся проявления человеческих чувств.

Году примерно в 87-ом — считаю так, потому что «Наш современник» напечатал моего «Вороного с походным вьюком» в 1986-ом — не помню уж почему зашла у нас о романе речь, я спросил Юру: а ты, мол, читаешь прозу?

— Вот эта сцена,— сказал он строго.— Когда старухи падают в грязь на колени и тянут руки вослед главному твоему герою, это — не проза.

— Так думаешь? — спросил я, не понимая, что он этим хочет сказать.

— Это — поэзия! — убежденно сказал Юра.

Несколько лет назад я торчал в Краснодаре, когда туда приехали несколько москвичей: для участия в каком-то литературном мероприятии. Тут же пронесся слух, что прежде других им устроил хлебосольный прием «батька Громов» и ухайдакал так, что неизвестно: появятся ли они на собрании писательской организации.

По какой-то причине я тоже опоздал, когда вошел в зал, то на трибуне увидал «сильно хорошего» Ивана... как же его?...Уж не лучше ли — не помнить, как звать, а фамилию... фамилию...

Рыдающим голосом Иван нес полную ахинею: чуть ли не «от и имени и по поручению» объяснялся во всенародной любви к «батьке Кондрату». Сидящий в президиуме рядом с «дядькой Петькой» Придиусом Ляпин был как огурчик, хоть это у него выходит здорово, кривовато, как чуть ли не всегда ухмылялся рядом с ним Валера Хайрюзов, а во втором ряду, свесив буйну головушку, богатыр-ским сном спал Юра Кузнецов.

«Разбудил бы!» — показал я глазами и жестом сидевшему рядом с ним — вместе когда-то начинали! — Вадиму Неподобе.

Вадим принялся трясти Юру, а когда тот открыл ясны очи и маленько очухался, что-то шепнул ему на ухо и стрельнул в меня взглядом.

Юра внима-а-ательно и до-о-олго в меня вглядывался, потом вдруг встал, вышел из-за стола президиума, спустился в зал и по проходу пошел ко мне. Издалека еще протягивал руки, и мне пришлось встать, мы обнялись.

— Ну, их тут, земляк! — сказал Юра громко.— Пойдем отсюда скорей!

Последний предмет приватизации

В Горячий Ключ неожиданно приехали Придиус и Айтеч Хагуров, мой ровесник-адыг, ученый-социолог и прямо-таки очень приличный, со своей интонацией, прозаик, пишущий на русском: вырос не в ауле, а на хуторе, среди русских...

Разбросали по сторонам книжки мои и папки, поставили на середину номера тумбочку, водрузили на нее бутылку вина, начали нарезать торт «Наполеон».

— Вот тебе и моя книжечка,— вслед за Хагуровым сказал «дядька Петька», отдавая мне прекрасно изданный и достаточно объемистый том под названием «Просто русские».— Филиппов, правда, говорил, что он тебе уже дал, но эта с автографом... как тебе?

А по телефону мы уже говорили об этой книжке, «дядька Петька» даже сказал что-то такое: мол, где-нибудь бы откликнулся!

И я уже был как пионер: к ответу готов то есть.

— Понимаешь: это не о тебе, это — обо всех нас. Также как о своих книжках думаю: а что нового? Кроме того, что она вышла. Здесь такая штука: у кого-то они выходят, такие книги. А у кого-то нет. Случилось так, что патриотизм стал последним предметом приватизации... Когда все, кому ничего не досталось, стали оглядываться: больше ничего нет, все украдено!.. А он, еще бесхозный, лежит. И его тоже к делу приспособили, теперь — так: книжки появляются у того, кто их почему-либо может издать, это их привилегия, а остальным — как тому же Славе Филиппову — фиг с маслом... Где кто работает, тот там себя щедро издает, а до остальных ему и дела нет...

— А ты знаешь, «батька Кондрат» - не тот человек, за которого выдаёт себя? - спросил находчивый «дядька Петька».

И разговор наш покатился уже в другую сторону.

«Веруй, Федя!..»

Совсем недавно прочитал где-то, что это — чуть ли не волхование, но почему же тогда отец Феофил отнесся к моему рассказу о том, как я несколько лет назад выпросил у Господа хорошей погоды, с интересом и без всякого осуждения?

В ту пору «Аэросибирь» дожимала новокузнецкий авиаотряд, совсем уже не давала продыху: самолеты у нас заправляли ровно настолько, чтобы хватило почти тут же плюхнуться рядом — в Томске, Новосибирске, Барнауле. Тут заливали под завязку и только тогда борт шел на Москву — ну, не бред?!

И вот вылетели мы из Кузни в очередной раз 28 декабря какого-то не совсем уж давнего года, тут же стали садиться, и машину вдруг начало болтать — не дай и не приведи... Сели в Новосибирске, долго как на катке елозили, а когда всех попросили выйти, чего обычно не бывало — быстренько при полном салоне заправляли, и — вперед,— в аэропорту выяснилось, что мы попали в снежный заряд и были последними, кого в Толмачеве приняли. Полосы обледенели, аэропорт закрылся и — началось!..

Сидим и день, и второй, и третий — народищу! В буфете все смели, уже ни выпивки, ни закуски, даже самые беззаботные посмурнели да к тому же случилось так, что время, когда можно было добраться до города и укатить в Москву поездом — чтобы дома быть к новому-то году,— уже у нас вышло, все: не успеваем!

Чуть не сразу я позвонил Саше Плитченко, но он как раз грипповал, судя по голосу — тяжело. Обрадовался, говорит: поверь, не могу приехать, но ты-то к нам — давай, не заражу, поди, ты — солдат старый... И будем у нас сидеть, в аэропорт позванивать... знать бы!

Выходит, тогда-то мы с ним и поговорили в последний разок: по телефону.

Но я-то все ждал, что вот улетим, вот-вот... объявят вдруг, а я из Золотой его, значит, долины в Академгородке вдруг не поспею.

Слонялся я среди остальных и день, и второй, и третий, слонялся, а потом вышел в снежную заметь на площади перед аэровокзалом, снял шапку, засунул ее за пазуху и принялся горячо молиться...

Широким полукругом стояли на площади десятка два машин с зелеными огоньками над лобовым стеклом в уголке: таксисты упорно дожидались, кто в последний момент все-таки сдастся и решит ехать в город... Невольно замечаю, как выставились в боковые стекла несколько сидевших вместе от скуки водителей... Как над баранками пригнулись другие: это ли, и верно, не развлечение?.. Стоит среди площади мужичок с непокрытой головой и то вздымает вверх руки, то истово крестится....

И я — еще упорней, еще горячей: смотрите, смотрите, мол!

Помню, что читал «Отче наш», «Да воскреснет Бог», «Верую», а между молитвами своими словами просил: утихомирь метель, Господи, дай солнышку проглянуть, помоги улететь!..

Долго я стоял, долго сгреб потом с головы снег, достал шапку и пошел в здание аэровокзала... Сидел уставший и тихий на полу у стеночки, где ютились несколько новокузнечан с нашего рейса, как вдруг объявляют: «Начинается посадка на рейс...» И хоть по очередности, которую все уже

наизусть выучили, до новокузнецкого было далеко, именно его как раз и назвали.

Все шло в необычайной спешке, нас то чуть не тащили, а то подталкивали: быстрее!.. Быстрей!

Что-то странное творилось над взлетным полем: внизу было тихо, светило солнце, падал густой сухой снег, но где-то высоко с гудом шел ветер-верховик...

— Бегом, пассажиры, мы вас просим: бегом!

Стремительно и круто, это ощущалось, взлетели, нас опять заболтало, очень сильно, и вдруг установилась необычайная, прямо-таки благостная тишина: поднялись выше ветра.

Между рядов пошла стюардесса с горой конфет на подносе, ни к кому не обращаясь, словно себе самой, сказала возле меня:

— Повезло нам: передали, что снова закрывают, но мы уже не могли остановиться. Только наш борт и выпустили: считайте, нам повезло.

— Повезло, что на взлетной полосе не перевернуло,— проворчал мой сосед: до этого, когда не раз и не два ходили к диспетчерам да в администрацию «права качать», нам терпеливо разъясняли, что при таком боковом ветре, который не утихает на поле, опрокинуться машине на взлете — все равно, что раз плюнуть.

Конечно же, новый год встречал я на Бутырской, на своей с особым чувством и все потом друзьям да знакомым рассказывал, как летную погоду я вымолил... И все потом, нет-нет да возвращаясь к этому случаю, годами размышлял: может быть, это черная неблагодарность с моей-то стороны — не написать об этом свидетельстве... или дело это, может быть, сокровенное и лишний раз «трепаться» о нем не следует?

И вот сидели мы как-то за столом в Кобякове и как раз об этом с отцом Феофилом говорили: Господь нам знак подает, а мы талдычим в который раз — простое совпадение!.. Случайность!

Месяца через три, считай, после этого, через четыре, нам предстояло, как почти всегда осенью, уезжать на Кубань, остался последний перед утренним поездом денечек, но после обеда зарядил такой дождь, что куда там — соваться на улицу. А мне непременно надо было загрести давно открытые ямы под яблонями да под смородиной: подкармливал сад, но доделать все как раз из-за погоды и не успел. Уедем — все так в зиму и останется, Георгию нашему со всеми его многочисленными заботами — дочке Василисе пять месяцев — будет наверняка не до того.

И вот поглядывал я, поглядывал за окно, потом оделся и вышел. Проскочил под льющими с крыши над крыльцом струями, вышел в сад, остановился под дождем... Его натягивало как всегда из нашего гнилого угла, с запада, там

было совсем черно, только уже в зените, над головой чернота сменялась темной синью, из которой сыпал и сыпал негустой крупный дождь.

Снял берет, запихал в карман на боку, с началом «Отче наш» перекрестился, поднял руки, и тут же сыпануло в рукава и за воротник...

Стоял, обратив ладони к медленно, но неумолимо наступающей сутеми, опять горячо и с убеждением, что непременно послана будет, просил помощи, просил прекращения дождя, и вот он сделался реже, реже, а синие тучи над головой как будто кто стал, словно кудель, раздергивать, редели и расходились по сторонам — ну, было, было: пошли по бокам нашего двора, раздвинулись за пределы крошечного Кобякова...

Поблагодарил я Господа, кинулся работать, а сам все посматриваю на наш гнилой угол: как только начинает приближаться оттуда темно-синий мрак, как только начинает опять над головой затягивать — оставляю работу и снова принимаюсь молиться и просить... Удивительное это дело, и правда,— ну, не чудесное ли: опять прореживает облака, опять они разлетаются, начинают загустевать по сторонам, а когда я догадался, наконец, оборотиться, то увидал, что за спиной у меня, далеко за деревней они снова сходятся: какая там залегла теперь непробиваемо-тяжелая синь!

Работалось мне легко и весело, понял, что не только успеваю — могу и другой работы, на которую махнул было рукой, прихватить: взялся таскать из громадной пластмассовой бочки под желобом на углу дома по два ведра — надо было и освободить бочку, и заодно полить кусты и деревца, которым перед этим мало досталось.

Туда — обратно с двумя ведрами, туда — обратно...

В столовой уже зажгли свет, Ольга, Василисина мама, видно, занялась постирушкой и настежь распахнула дверь в ванную, отвела до окна, а так как толстое стекло на двери было заклеено большим, чуть ли не в человеческий рост цветным плакатом, на котором кубанец Федя Бунин, при всем параде, полой бурки прикрывал стоявшего рядом с ним подростка-казачонка, то Федя теперь смотрел через окно, в сад один, а казачонок скрылся под подоконником...

Тут надо два слова сказать о Феде.

Роста он двухметрового, из тех, кого раньше по станицам звали «дядя, достань воробушка»... Говорят, вроде не казак и даже не кубанец, родом с Урала, а к движению пристал потому, что был закройщиком, работал костюмером в хоре Захарченко, и так же, как «обшивал» певцов да танцоров, «обшился» сначала сам, а потом взялся в черкески да в папахи наряжать остальных... Само собой, злые языки пытались тем самым умалить федины заслуги, но, положив руку на сердце, как не сказать, что примером своим заставил он казаков принарядиться да причечениться, а поскольку дальше этого не пошло, не Федя ли, и действительно, сделал главное?..

Познакомились мы с ним весной девяностого, когда девять кубанцев, семеро из них были в черкесках, неожиданно позвонили в двери нашей квартиры в Москве, вошли в мой кабинет, самую большую комнату, которую можно заодно назвать з а л о м, или, как на Кубани по старинке, «большой хатой» — так вот, в ней сразу стало тесно, не знал, как дорогих гостей рассадить, а когда высоченный Федя задел папахою висюльки на люстре, и они очень чисто и тоненько зазвенели, как радостно, с какою надеждой сердце мое на этот тихенький звон откликнулось!..

Встречались сперва частенько, потом все реже и реже, но поскольку видели оба, и как оно начиналось, и к чему теперь шло, достаточно было перекинуться двумя-тремя фразами:

— Как оно, Федя? Что там наш батька Громов?

— Забогател!

Руками разведешь:мол,ясно,ясно!

А что ясного-то?

Писал вот очередной «газырек» и вдруг запнулся. Одна штука — вроде понимающе на ходу друг дружке кивнуть,а другой табак — об этом написать. Недаром ведь: не вырубишь потом топором. Ну, или — шашкой, чтобы поближе к казачьим обстоятельствам.

Забогател, гм — думал я.— Что ж тут плохого?.. Еще недавно это звучало как осуждение, но теперь-то, теперь... Разве не для того наши реформы, чтобы все мы «забогатели»?.. Помнится, на одном из атаманских правлений Союза казаков, куда со всей России съехались «батьки», Мартынов так и сказал: желаю, мол, всем стать миллионерами! Не атаманам, нет: не подумайте плохого!.. Нам всем.

Думал я, думал над этим «забогател» и снова — на поклон к Владимиру Ивановичу Далю. Разве кто точней разъяснит?

«Забогатеть, разжиться, стать богатым, начать наживать добро»... все!

Без всякой тебе эмоциональной оценки.

Как бы желая помощи,повел глазами вниз-вверх.

Сразу после «забогатеть» — «забодать», тут все ясно, и правда что, а сверху — «забобоны»... ну-ка, ну-ка!

«Забобоны, забобонщина: вздор, пустяки; враки, вздорные слухи и вести...»

А, может, думаю, это и есть для меня своего рода «перст указующий»!?

Забогател — не забогател: забобоны все это, забобоны!..

За кем они по пятам не ходят?

Или за мной — нет?.. Или — за тем же Федей?

Сам Федя Бунин пытался себя блюсти, держался из последних, хотя поговаривали, опять же, будто в основе этого лежали не нравственные причины, а чисто физиологические... То, что после горячих споров о возрождении, большинство казаков решительно и без всякого промедления, едва поднявшись из-за стола, из конных прямо тут же в пластуны переходят,— штука известная, но одно дело доставать из кущарей и на себе тащить тщедушного коротышку и совсем другое — транспортировать дядю, которого за руки за ноги двое не унесут: чтобы не цеплять кочки местом, предназначенным для седла, нужны еще и двое посередине...

За это ерничанье, сам грешный, прошу прощения не только у Феди Бунина, в его лице — у всех, кто оскорбленным сочтет себя... Горько это, да все ж не главная боль: придет время, и сказочники, которые не были на корню руководящей казачьей верхушкой куплены, еще напишут нечто похожее на «Новое платье короля» норвежца Андерсена — применительно к нашим печальным дням, еще воздадут должное и голым нашим «батькам», и преданной ими, разбогатевшими на бесстыдной брехне, казацкой голи, среди которой живет себе, хлеб жует честный портняжка...

Когда я шел в сад с полными ведрами, Федя смотрел мне в спину, но когда возвращался,— прямо на меня, и тогда я кивал ему; ты же все видел, видел?!

Как прекратился дождь, когда я об этом с мольбами попросил Господа, как тучки стали отделяться одна от одной и порознь обходить наше Кобяково и вновь сбиваться и сплачиваться уже совсем вдалеке!..

«Ты видел? — безмолвно спрашивал я Федю, когда опять возвращался за водой с пустыми ведрами.— Верь, Федя, что точно также было зимою в Новосибирске, в метель — святая, правда, верь, Федя!..»

Меж тем стемнело, осенняя ночь сгущалась стремительно, но небо над головой все оставалось светлым, а на горизонте под тяжелым завалом, словно подводя черту и под исчерпавшими себя за долгий день дождя тучами, и под дурной погодой вообще, пробежала вдруг сначала тоненькая совсем, почти сперва незаметная огненная дорожка, но ее хватило, чтобы поджечь горизонт: как он вдруг разгорелся!

Это что же? — спросил я сам себя вдруг недоверчиво.— Выходит, к ночи все равно бы дождь прекратился?..

Или дело вовсе не в этом,— тут же сам себя укорил.— Ведь до того весь он пролился бы здесь, где ты стоишь теперь: радостный оттого, что все перед отъездом успел, и благодарный... Разве вышел бы ты под дождь без надежды и веры? Конечно, нет!

«Верь, Федя! — снова я сказал все продолжавшему терпеливо глядеть на меня из окна доброму Феде Бунину.— Верь...»

И спохватился с тревогой, чуть ли не со страхом: хорош!..

Якобы знаток языка.

Якобы неподкупный его радетель...

Коли говоришь Феде «верь», чему верить-то Федя должен?

Всего лишь тому, что не намок, когда перед этим помолился?.. Или всему, что за это время сумбурно проносилось в твоем сознании?.. Хорош!

В е р у й, Федя! — разве не так ты должен сказать.

В е р у й!

И только тогда, может быть, простятся нам так отягчившие общее наше народное сознание прошлые грехи и неправды, и только тогда, может быть, еще проглянет из-за туч, несмотря ни на что казацкое наше солнышко: вовсе не для того, чтобы упасть на генеральские вензеля самоназванцев...

Колоски

Уж если в «Осеннем романе...» зерно станет одним из символов, то как обойтись без колосков, а?

Которые летом собирали мы в младших классах на горе за Урупом...

Там есть довольно обширная относительно ровная площадка, на которой после войны было пшеничное поле, и вот туда, когда все что можно подобрали комбайном, мы ходили со своими тряпичными сумками на боку.

У матерей наших, как теперь понимаю, была проблема не только с тканью для сумки: где достать кусок изношенного старья, который не развалился бы во время «воскресника»... слово-то, между прочим, какое: воскресник! Вот после них-то — добровольных походов на бесплатную работу — и воскресала потихоньку страна, и воскресали души — недаром же до сих пор помню!

Сколько там могли мы собрать?.. Но главным, пожалуй, было, участие в этом мероприятии: как тут не вспомнить Ивана Федоровича Садовенко, «русака» нашего, бывшего фронтовика, возвратившегося с искалеченной рукой... И вот он шел в одном ряду с нами с такой же, как у нас, сумкой и тоже подбирал колоски — пример, как понимаю, подавал.

Нет-нет, любопытное дело, эти воскресники, любопытное! У Даля такого слова нет, хотя бы в ином каком-то значении,— выходит, изобретение чисто советское, как нынче, предположим, воскреска, как запросто называют мальчишки воскресную школу, о которой и дедушки с бабушками, и матери их с отцами говорят с придыханием.

У нас они назывались также ударниками: как же в такой день и трудиться, ежели не ударно?.. Это потом уж «ударник» стал для нас лабухом-барабанщиком.

Так вот, проблема была еще и другая, нравственная: какую сшить сумку?.. Чтобы и не слишком маленькая, а то ведь будут насмешничать, и не очень большая: а то ведь как надо стараться, чтобы тонкими, в палец длиной колосочками набить такую большую?!

Помнится больше остального, как приходилось елозить по стерне босыми подошвами, пригибать жесткую стерню, чтоб не колола ноги: каждый шел по ней как на лыжах.

И вот наклонишься, подберешь колосок, сунешь в кенгурячью сумку на животе — елозишь дальше... А жарюка! А пить хочется! Это тоже до сих пор помнится.

После, когда зажили побогаче, нас перестали «гонять на колоски» — туда ходили с Урупа гуси. Проголодаются, и — в гору. Набьют брюхо, а потом разбегаются перед обрывом и через речку летят в станицу... Сколько раз об этом писал и еще хочется, потому что зрелище это было удивительное: летящие над станицей гогочущие гуси, падающие — переоценили свои возможности — по чужим дворам и поднимающие уже не гогот, не крик — хай...

Не забыть бы в «Осеннем романе»: как вымотанные тяжелой работой студенты отдыхают на теплых буртах зерна, а над головою в звездном осеннем небе проносятся гуси, и их крики напоминают главному герою... эх, лирическому герою, мне, то есть и станичное детство... и сбор колосков... и плюхающихся по садам-огородам разжиревших к осени домашних гусей — а тут вдруг эти стремительно улетающие дикари, и отчаянный крик отставших — все это не только озвучивает безмолвное стояние либо тихое покачивание созвездия Лебедь над лежавшими в машине с зерном влюбленными, но и сообщает тревогу, острое беспокойство... пора, брат, пора тебе разобраться: улетаешь ты или остаешься?! Кто сам ты: вольный дикарь или уже начинающая жиреть домашняя птица?

Это остро занывшее сердце предвещает разлуку...

Еще кое-что о колдунах...

С налоговым инспектором у нас взаимная симпатия, начавшаяся с его знаменитой в свое время фамилии... Не родня ли, спрашиваю?.. А то мы с

однофамильцем знакомы. Нет, говорит. Но то, что поулыбались при этом,— уже как-то сблизило.

В прошлом году пошел к нему, чтобы отдать свой четвертый том. А больше, говорю, у меня никаких дел к вам нету.

Он смеется: я знаю.

Пошел меня проводить, и уже на улице говорит: ну, что, мол, с вас возьмешь, с литераторов?.. С волшебников слова.

Другое дело — колдуны. Не представляете себе, какие налоги они нынче платят. Считай, самые большие. Может, еще больше были бы у предпринимателей, но те скрывают доходы — не докопаешься. А эти друг на друга стучат, и в итоге берем полной мерой.

Вот, говорит, в кого вам надо из волшебников-то переквалифицироваться: в обыкновенного колдуна. И жить станете, как новый русский, и чаще с вами будем встречаться.

Нет-нет, да вспомню этот разговор, а нынче, когда вспомнил, подумал: может быть, как раз с этого, с горькой полушутки, и надо бы начать роман?..

«Время начал»?

Случается такое время по осени, когда воздух настолько ясен, что тебе видны не только дали вокруг, но словно бы и видать будущее...

О колдунах, кстати, любопытную штуку рассказал Айтеч Хагуров — Юра, когда с «дядькой Петькой», с Придиусом, они приезжали в Горячий Ключ.

Одна серьезная ведьма, говорит, ему признавалась: творчество колдунам не подвластно. Я, говорит, могу, мол, устроить так, что певица, выходящая на сцену, может и споткнуться, и даже упасть, но если она начала петь — все, тут любые чары бессильны.

Не интереснейшее ли признание?

Столь многое — в горьком опыте общения с «колдунами всех времен и народов» — объясняющее. Хотя бы задним числом...

«Эффект Лейбензона»

Давно уже собирался рассказать эту историю...

Пожалуй, через годок после того, как Лейбензон помер — так и тянет написать, как всегда о нем было — Юрка Лейбензон — так вот, через годок после этого защитивший докторскую Игорь Каленский решил собрать нас,

нескольких новокузнецких «старичков», на Старом Арбате: обмыть диссертацию.

Дело не в том, как рухнули наши надежды найти «кафешку» — именно так, слишком, выяснилось, панибратски, новоиспеченный доктор называл эти дорогущие на модной московской улочке достаточно мерзкие харчевни. Речь о другом.

Когда мы уже стояли на жгучем ветру, якобы в затишке примостившись у столика рядом с подобием сельской автолавки с приподнятым над окошком козырьком, Федя Науменко вдруг спросил у меня:

— Лейбензона давно видел?

— Как? — смешался я.— На похоронах... или ты ничего не знаешь?

— На чьих похоронах? — не мог Федя «врубиться».

— Не знаешь, что Юрка умер?

— Да брось ты! — не поверил Федя.— Совсем недавно звонил мне...

— Лейбензон? Звонил?! Когда это могло быть?

— Ну, может с полгода назад... может, чуть больше.

— Ты что, Федь?.. Он уже года три перед этим в жестоком параличе был и ничего не помнил!

— Да ла-адно! — отмахнулся от меня Федя.— Все это время он мне звонил... Пьяный. Как заведется!.. А помнишь, Федь, в пятьдесят восьмом зимой... и как начнет-начнет! Кого не припомнит. А сам — еле языком ворочает... Я говорю: Юрка! Паразит. Неужели до сих пор поддаешь? А он: а что, Федя, остается? Поздно менять привычки, уже поздно!

Тут стало до меня доходить.

Лариса, жена его, бывало, говорила, когда я звонил:

— Тебя-то он помнит. Нет-нет да спросит даже: как там Гарюша — не объявлялся?.. Хорошо, что позвонил: сейчас поднесу ему аппарат...

Взялся Феде рассказывать, как Юрку хоронили.

Лето, август, из старых сибирских друзей в Москве — почти никого, да потом ведь надо звонить, одного через другого искать, а когда самому тебе — неожиданно: завтра в двенадцать.

Были только Валентин Фоминых и его Валя. Вместе оглядывались: откуда-то, из Астрахани, что ли, должен был прилететь Карижский, был там, в командировке, но ему передали, когда он домой звонил: сказал, что прямо из аэропорта — на похороны... этот чего не пообещает: бывший комсорг — привык!

Удивился, когда увидал священника в рясе. Бросился к нему:

— Вы к Лейбензону, батюшка?

— К Юрию Леонидычу, да...

— Отпевать?

— Разговора не было... я сам по себе. Но если сказали бы,— конечно, отпел...

— Стыдно, батюшка, но я не знаю: он окрестился, что ли?

— И мне стыдно. Мне — тем более... Так вышло. Приезжает ни с того, ни с сего: есть срочная работа, отец! Какая? — спрашиваю. Храм, говорит, твой будем восстанавливать. Я ему: не мой храм. Господний. Он говорит: тем более. Только срочно, отец. В ударном темпе. Знаешь такое слово: ударно?.. Есть кому разгрузить машину? Нет?.. Придется нам с тобой... Оказывается, он доски для начала привез. На леса. И как взялись мы с ним, как взялись... Каждый день как на работу приезжал. Привык, говорит, отец: во всякую мелочь — сам... Какая стала, вы бы видели, церковь! Говорит потом: вынесли на плечах.

Кивал ему, узнавая родные термины, а самого слезы душили: не позвонил, не сказал... Боялся показухи? Опасался, что-то можно испортить? Когда начинал работать в какой-то чуть ли не главной в Москве по тем временам строительной фирме, звал меня: наши просят — нужна реклама. Тряхнул бы стариной?

А тут все молча... как тайная милостыня!...

— Успели, спаси Господи, сказать мне,— говорил, словно оправдываясь, батюшка.— А вот отца Валерия не нашли, и я не смог... а он ведь и ему помог, и ему!

Говорю теперь Феде: ты понимаешь?

Видно, после трех инсультов подряд забыл почти все, но этот свой сибирский период... ты понимаешь?

— Да как четко! — удивляется Федя.— Я давно уже это не помню, а он: а ты не забыл, как в поселке в самые морозы полетел котел, а мы с тобой... и давай, и давай!

С Федей были коллеги: Науменко работал тогда главным механиком СУ-2, у Леонида Израилевича Белостоцкого, светлая ему память,— у бетонщиков, а «Юрка Робинзон», как многие его тогда в поселке звали,— главным механиком ЖКК — жилищно-коммунальной конторы. «Главным сдергивателем», как обозначал его должность мой первый шеф, редактор нашей крошечной газетенки и великий пересмешник Геннаша Емельянов, делавший при этом выразительные движения сжатой пятерней сверху вниз: будто спускал воду из висевшего над унитазом бачка... и то, правда: сколько пришлось тогда и самому Лейбензону, и безответным его слесарям копаться в дерьме!

Тут только начни — «про Робинзона», только начни...

Тогда это было у нас в порядке вещей: однажды среди зимы отдал свою квартиру семье с малыми ребятишками, переселился ко мне — оба как раз «холостяковали».

— Не будешь возражать,— спросил,— если раскладушку у батареи поставлю? Уступишь «теплое место» другу?

— Как же не уступить! — сказал я насмешливо.— Это Нухман о себе говорит — «иудей морозоустойчивый», в Сибири всю жизнь, а ты у нас, Юрец,— москвич теплолюбивый, давай-давай!

Ночью раскладушка его жалостно скрипнула, он закопошился, я поднял голову.

— Ты дрыхни, дрыхни,— сказал он негромко.— Что-то у них там опять — батарея не дышит. Пошел я...

И только тут затрезвонил телефон, и даже в дальнем моем углу из поднятой Юрцом трубки послышался испуганный голос проспавшего аварию дежурного слесаря...

Привычка «Робинзона» держать, когда спишь, руку на батарее, была надежней инструкций в штатном расписании ЖКК.

Сколько зимних ночей проторчал я потом рядом с ним на авариях в котельной или на теплотрассе!.. Вышло так, что первыми моими героями стали не бульдозеристы да монтажники, а слесари-сантехники... снова вспомнить, что говорил о них живший не в новом, только что возникшем в двадцати километрах от города поселке, а в благоустроенном Сталинске — так тогда назывался Новокузнецк — мой «шеф» Геннаша, когда в очередной раз демонстративно швырял в корзину очередную — цитирую его — «Сагу о говночистах»?

На следующий, как схоронили Юрку, день я позвонил в «Комсомолку», спросил, могут ли они дать некролог, и после долгой перепасовки из одного отдела в другой, мне, наконец, ответили: «Только самое коротенькое сообщение. По минимальной цене: пятьсот у. е.»

Снова было — в который раз — стал объяснять, что случай это особый: в пятьдесят восьмом, когда на Антоновской площадке под Новокузнецком только начинался знаменитый нынче Запсиб, Лейбензон, назначенный в райкоме комсомола комиссаром отряда, привез туда, на ударную стройку крупнейшего металлургического завода, первую партию москвичей-добровольцев: 117 парней и девчат. Сперва задержался до тех пор, пока не убедился, что все ребята хотя бы относительно нормально пристроены, всю ночь потом играл на гитаре и до хрипа — выполнял «заявки» остающихся землячков — пел на собственных проводах обратно в столицу, а за те самые традиционные «пять минут до отхода поезда», когда нормальные люди проверяют, «не остались ли у провожающих билеты отъезжающих», принял вдруг «судьбоносное», как нынче модно обозначать, решение: схватил

гитару, схватил спортивную сумку и к восторгу оставленной им на перроне желторотой братии придурков-романтиков уже на ходу выпрыгнул из вагона.

Недаром ведь говорю: о Лейбензоне только начни...

В начале марта 59-го года, когда с Антоновской площадки я уже собрался ехать обратно в Кемерово, где в областной газете «Кузбасс» маялся на преддипломной практике, нежданно-негаданно для себя вдруг сказал ему:

— Вообще-то меня уже распределили в Москву, но я, пожалуй, на это плюну и приеду-ка сюда к вам.

Глаза у него зажглись, широкие губы под мощным «рубильником» поплыли в усмешке:

— Я слышу речь не мальчика, но мужа?!

Это явственно вижу: стоит на невысоком крыльце первого в нашем поселке клуба в пыжиковой шапке, темно-синем ратиновом пальто с шарфом в белую и черную клетку, в крепких венгерских туфлях на толстой подошве... примерно через год во всем этом пижонском для Сибири его «прикиде», а не в долгах как в шелку, я поеду отсюда в первую свою командировку в Москву: выяснять, значит, семейные отношения с не выдержавшим испытательного срока на нашей «ударной» московским дворянством...

— Позвоните в ваш этот самый город,— миролюбиво посоветовала мне юная совсем, судя по голосу, доброжелательница из «Комсомольской правды».— Попросите подключиться ваш этот самый завод...

Я в Кемерово позвонил: старому дружку Илье Ляхову. Можешь, попросил его, наконец, отыскать эти самые стихи: о Юркиной гитаре?.. Обшарил московские библиотеки, Наталье надоел, вдове Олега Дмитриева: — не можем найти.

Через неделю от «морозоустойчивого» Ляхова, бессменного устроителя юбилеев и праздников всего Кузбасса с севера и до юга и примыкающей к нему «всея Сибири» пришел пакет со стихами.

«Все было так давно, что мы с тобой ошибались,— писал Илья.— Стихи сочинила Тамара Ян — вот они:

Первую гитару Юрки Лейбензона
помнят на Запсибе и сейчас.
Короли известки, стали и бетона
слушали ее, не шевелясь...»

Вот ведь в чем дело: он тоже все это помнил!

До конца.

— Это что же, выходит, Федь,— бормотал я задумчиво, когда, навалившись на край ненадежного столика, стояли мы на юру на Старом Арбате.— Чуть

ли не начисто все забыл... бедной Ларисе за три года досталось. А стройку помнил, как будто было вчера...

— Дак он мне и говорит! — вскидывался Федя.— Звоню тебе душу отвести. А языком — еле-еле... А я: Юрка, паразит!

— Какое-то явление, которое в медицине, может быть, имеет свое особое название,— пытался я вникнуть в смысл Фединого рассказа.

— Так вот и я ему: ты когда уже бросишь пить — все как мальчик! — опять Науменко заводился.— А он: нас, Федь, уже не переделать — так и умрем мальчишками.

Светлая тебе, Юрец, память!

Мальчишка из общей молодости.

Келермесская история

Двадцать первого ноября, на праздник «Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных» в машине Жени Салова поехали в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, так полностью именуется монастырь под Майкопом, у вершины горы Физиабго... какой отсюда вид, забегая вперед,— точнее, забравшись на эту самую вершину — скажу, на окрестные горы: Черные — вокруг и Белые над Черными — на юго-западе.

Но это открылось уже потом, когда пошли к святому источнику, а сразу, как только вылезли из машины у ворот монастыря, увидали стоящих полукругом казаков из «Братства» Володи Сахно: давно Владимира Алексеевича — ох, вспомнил другого Владимира Алексеевича, Чивилихина...

С кем обнялись и расцеловались, с кем сердечно поздоровались, и я не успел еще по сторонам оглядеться, что называется, как приземистый широкоплечий крепыш с круглым симпатичным лицом и живыми глазами заговорил дружески:

— Хорошо, что увидал вас — давно хотел. Келермесскую само собой знаете, я там жил, мы оттуда... Там есть такой народный герой, который с советской властью боролся до двадцать девятого года, до самой коллективизации. В лес ушел, создал банду. Сперва только наши келермесские, а потом из других станиц находить его стали. Человек тридцать. На одних наводили страх, а других вроде как морально поддерживали: еще вернутся белые казаки, еще вернутся!..

А потом... Это мне перед самой смертью дед рассказал.

Сидим, говорит, около стансовета двое — вдруг он, откуда взялся, на лошади... Вскочили, а он: сидите, сидите, казаки! Не бойтесь, все: нету банды!

Соскакивает с коня, с одним, с другим — за руку. Давай, говорит, пять: последний раз видимся. Задание я свое выполнил, всех бандюков вот этой самой рукой — лично... Теперь меня энкэвэдэ тут не оставит: перебросит срочно в другое место — работы в нашей рабоче-крестьянской России еще много...

Мы, дед рассказывал, как раскрыли рты — так и сидели, а в это время тачанка поднеслась, с незнакомыми — он из правления выскочил — уже на эту тачанку, на коня своего даже не посмотрел.

Умчались тут же, а мы: во-от оно, во-от!

Вроде ж они вредили, вроде что-то поджигали, вроде кого-то ловили, мучили... А что, в самом деле? Поймают в поле комсомольцев, в ряд выстроят да шашкой чубы поотрезают. Или пуговки на штанах — кинжалами... а три десятка казаков, да каких, каких! — как не бывало.

Дед перед самой смертью мне рассказал. Раньше боялся.

Рассказал и говорит: смотри, внучек!.. Ты сам теперь думай: рассказывать кому это или не надо — не пришло еще такое время, чтоб людям — всю правду.

Да никогда и не придет.

Вы представляете?

А он так и остался в Келермесской: легендарный белый атаман... народный герой... заступник... чего только не расскажут!..

А оно — вон что.

Вы представляете?!

Пока он говорил, в сознании проплывали отраднен-ские истории про бандитов, про главного из них — атамана Козлова, которого убили еще позже: уже в тридцать первом. И вместе с другими энкэвэдэшниками за ним гонялся наш Вася, Василий Карпович — муж двоюродной нашей бабушки Шуры, мамаши, «крестненькой»... Как оно все на родине!

А на Кубани — тем более.

— Представляете? — переспрашивал меня бывший житель Келермесской — один из участников «Казачьего братства» Володи Сахно.

Ох, это наше братство!..

— Вы представляете? — допытывался мой доброжелатель, который давно хотел рассказать мне эту историю, — Николай Затолокин.

А я — с закрытыми глазами — все покачивал опущенной головой...

Пожалуй, из тех историй, о которых лучше не знать...

«Ми-тюш-ка!..»

Вчера была вселенская родительская суббота, которую мы провели в дороге из Краснодара в Майкоп.

«Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших...»

Накануне как раз, так вышло, говорили с братом, что по сути нам не к кому поехать в Отрадную на родные могилы, и этот проезд теперь по Кубани стал для меня общими горькими поминками по родине, которую у меня отобрали — а, может, я сам преступно потерял ее.

В «Родной Кубани» говорили с Лихоносовым о явном вырождении казачьего движения, и он сказал, что собирается деликатно и мягко об этом в журнале поразмышлять, но когда появилась приглашенная им журналистка из радио «Россия», мы были уже достаточно подогреты и нашей эмоциональной беседой, и горячительным: почти без закуски.

Да и потом: разве джигит спрашивает, сколько врагов?

Он спрашивает, где они.

Пошел прямой текст о давно заевшемся «батьке Громове», о вырастившем его «батьке Кондрате», и сидевшие вокруг нас с журналисткой, в том числе и сам Витя приподнимали палец — мол, разговор на большой! — но вот теперь на меня навалилось ощущение явного интриганства Вити... выходит, так и остался я простодушным сибирячком, сыграть на тщеславии которого — как раз плюнуть?!

Обмывали мы мои «Газыри», несколько раз во время нашего «сидения», когда сотрудники его становились по отношению ко мне особенно благожелательны, Витя ревниво на меня взглядывал... может, это, и действительно, такой примерно вариант: шел бы ты со своими «Газырями» из «Нашего маленького Парижа» куда подальше!

Когда въехали в Адыгею, у меня вдруг возникло странное и как будто очень древнее чувство, что еду укрыться у кунаков... но во многом не так ли оно на самом деле?

Хотя где тут укрыться? Как?

Если здесь-то и грозят мне самые большие опасности...

Ходил, как всегда, по тропинке посреди огорода и душу опять кольнуло это зрелище почти полной разрухи: совсем покосившийся «скворечник» бывшей уборной в углу и задник подпирающей его летней кухни, тоже до того покосившейся... И с той, и с другой стороны сетки на меже давно разлезлись, а рядом с тропинкой валяются полусгнившие столбы когда-то ухоженного виноградника...

Печали добавляла горлинка в соседнем саду: так жалостно, так безысходно тоскливо она ворковала!

Вспомнилась эта отрадненская шутка взрослой беспризорщины, алкашей, от которых я, как верный сын земли своей, плоть от плоти... Считается, что в нашем великолепном парке, заросшем посаженными еще до революции японскими акациями, софорой, эти птахи сочувственно выговаривают якобы сокровенное: «Че-кушку!.. Че-кушку!»

А я все думал о нашем маленьком Мите, оставшемся лежать на Востряковском кладбище в Москве... Для меня, и правда что, серая птаха очень четко выговаривала: «Ми-тюш-ка!.. Ми-тюш-ка!»

Когда-то такой же ранней весной в Майкопе на громадный ясень за нашим забором, на улице, уселась утром плотная стая розовогрудых свиристелей — висели в голых ветвях, словно чудесные крупные цветки... Я бросился за Митей, вынес его во двор — ему было что-то около трех — и мы с ним долго любовались бесстрашно продолжавшими сидеть птицами... скорее всего, сильно устали, а что-то подсказывало им, что тут они в безопасности...

На улице уже срубили остатки совсем было разросшегося — скреб по соседской крыше и грозился упасть на угол нашего дома — ясеня... спилили старый тополь в углу митиной оградки на кладбище в Москве... и только розовые свиристели все еще живут в памяти, все живут.

Совсем постаревшая мама Ларисы поняла, наконец, что выбивается из сил... Не хочет больше сажать огород: мол, вы сейчас поможете, а кто полоть будет? Кто — есть «эту картошку»?

И такая голая весенняя печаль разлита по гибнущему двору и пустынному — хоть мы уже и приехали, и поселились с мамою — дому...

«Сколько вам можно ездить? — спрашивает мать.— Ведь вы уже не молоденькие, а все — туда-сюда, туда-сюда... У вас вроде столько домов кругом, а жить негде... вы как птицы, или, Люба говорит, как цыгане. Может вас — еще нет, но меня это уже сильно угнетает, когда о вас думаю,— и обращается ко мне.— Кто глава семьи? Ты!.. Ты и должен решить, наконец, где вам жить — решай!»

До недавнего времени я деликатно не вмешивался ни в проблемы наследства, ни в хозяйственные дела — как бы соответственно своему положению «последнего человека» в семье, самого — как у черкесов — бесправного... Но

вот пришла, видимо, пора, и в самом деле решать, «как жить дальше», а проблем к этому времени скопилось столько, что их, может быть, уже не поднять...

Но самая-то главная проблема: когда-то я бежал из Майкопа, «как Жилин с Костылиным» у Толстого... возвращение в плен?

Один из бесчисленных — у каждого свой — вариантов «Кавказского пленника»... Все платим, выходит, по старым счетам, все платим.

Атаман дерзкий...

Вышла «Казачья энциклопедия», из-за которой я, собственно, и согласился на эту фанфаронскую должность: атаман Московского землячества казаков. В девяностом году, на первом «кругу», Аркадий Павлович Федотов, доктор наук, большой умница, в выступлении своем для начала спросил: а удастся ли нам поднять казаков на такую высоту, как у вас в романе? Я, говорит, студентам своим читал отрывок из вашего «Вороного с походным вьюком»: там у вас казаки на своих конях с разбега взмывают в небо и летят над всей матушкой-землей... купил с потрохами, как говорится!

А второй вопрос был: а как вы думаете — нужна ли казакам своя энциклопедия?

Конечно же,— ответил я,— ну, конечно, нужна!

И сколько проторчал потом в «самом демократиче-ском» по тем временам бывшем Октябрьском райисполкоме!.. Вместе с отставником-полковником, «ФИО» которого, чтобы попросить о царствии небесном, забыл к стыду,— так вот, с ним — а иногда он, щадя мое время — один, мы, и в самом деле, буквально пробили «Энциклопедию», выдавили на нее разрешение, получили, наконец, документы.

Но я сперва расстался с московским атаманством, а после со всеми остальными обязанностями, столь же мифическими, вообще «развелся» с «батькой Мартыновым» и перестал ходить на заседания редакционной коллегии «Энциклопедии» — ну, трудно для меня это было по многим причинам, трудно... Верил к тому же, что дело попало в надежные руки — там были не только «черные полковники», тоже отставники, но и генералы-историки, и такие светлые головы, как доктор философии Ричард Косолапов... Зря на всех на них понадеялся?

Не только зря, может — преступно, как говорится?

Потому что глянул потом в «Энциклопедию» — нету там ни Андрея Губина, ни Толи Преловского...

Но Толя жив, дай ему Бог здоровья, а вот Андрей...

Все вспоминал, как пришел он однажды в «Советский писатель» со своим «Молоком волчицы», как хорошо мы с ним, землячки, поговорили. Обменялись книжками, и на своей он написал: «Московскому атаману от атамана терского, тоже в походах дерзкого — по ресторанам и кабакам Пятигорья...»

Конечно же, из жизни он ушел очень рано, потом погибла его жена, начавшая было издавать собрание сочинений Андрея: рассказывали потом, что его томами в Пятигорске забиты были подвалы...

И вот: как бы даже и памяти не осталось!

Но на днях увидал изданную в Карачаевске в 2001 году книжечку с очень длинными заголовками-подзаголовками: «Языки и литература народов Кавказа. Проблемы изучения и перспективы развития. Материалы региональной научной конференции»....

Перечитал сейчас опубликованную в ней статью И. Н. Юсуповой из Пятигорского государственного технологического университета — «Особенности художественного стиля А. Губина» — и понял, что придется перепечатывать ее целиком. Вот она:

«Индивидуальный поэтический стиль — это то, что яснее всего ощущается, но труднее всего поддается определению»,— это утверждение языковеда И. Подгаецкой помогает понять, что подчас не столько сюжет или тема, не столько слова, сколько стоящее за ними художественное видение, присутствующее в тексте, создает индивидуальный стиль того или иного писателя. Яркая выразительность и образность рождены в глубинных поэтических возможностях авторского языка, в необычайно точном, одухотворенно-поэтическом чувстве, вызванном наблюдаемой картиной. В конечном счете, совершенствование писателя как мастера определяется глубиной проникновения в поэтическую сокровищницу родного языка, оно невозможно без неустанной, трудной работы над словом.

Внимательное, ответственное отношение к слову помогало А. Губину создавать картины редкой, трепетной красоты, одухотворенные любовью писателя к родным местам. Слово для А. Губина — это тот строительный материал, который он умело укладывал в созидаемое произведение.

Особенностью губинской поэтики является обилие фольклорного материала, лирических отступлений, чаще в поэтической форме, живописных пейзажных зарисовок, создающих особый авторский стиль, то есть своеобразие речевых изобразительных средств произведения. Именно они свидетельствуют о высоком профессионализме писателя, владении литературной технологией и художественным мастерством, о его

новаторстве, которое, как известно, представляет собой совокупный результат таланта, жизненного опыта, заинтересованного отношения к запросам времени, высокой культуры и, конечно, профессионального мастерства, основанного на знании художественных образцов.

О характере своего дарования А. Губин писал в своем дневнике: «Все думают, что я писатель, а я — поэт». Это глубоко верно. Поэтический ритм глубоко пронизывает все творчество А. Губина и, прежде всего, его роман «Молоко волчицы». Первоначально роман был написан в стихах, фрагменты которого затем вошли лирическими вставками в прозаический текст. Так родился особый стиль романа, в котором тесно сплавились элементы эпики, драмы и лирики.

В этих творческих исканиях, в том, как и о чем повествует писатель, в характере поэтической образности проявляется личность художника, его индивидуальность. А. Губин пришел в литературу с тем могучим поэтическим ощущением первозданной красоты, которое одухотворяет творчество крупных писателей, для которых человек и его окружающий мир неразрывно связаны едиными законами бытия.

Размышляя над судьбами казаков, А. Губин в самом слове «казак» слышал мысль «о вольном скитании, движении, бродяжничестве».

Обращение А. Губина к теме казачества — поступок смелый и, как писала критик Т. Батурина, «оставляет ощущение творческой дерзости. Писать о казачестве двухтомный роман-хронику, охватывающий по времени большую часть нынешнего века, писать после Шолохова — от одной мысли об этом дух захватывает».

Обращаясь к теме судьбы казачества, делясь раздумьями по этому поводу, А. Губин фактически вышел на уровень своего предназначенья, который нашел отражение в этом уникальном по форме и по содержанию, масштабности, многогранности проблематики романе. С учетом этого и следует анализировать эпическое наследие писателя А. Губина, в центре которого, несомненно, находится роман «Молоко волчицы». Именно этот аспект дает возможность выявить не только эпическую природу дарования талантливого романиста, но и увидеть творческую индивидуальность автора».

Вот такая, значит, статья. Можно читать и перечитывать.

Но знаком ли был Андрей с этой самой рецензией Т. Батуриной?

Не потому ли и написал в дарственной надписи о своей «дерзости»: как всякий нормальный, не любящий и не умеющий надуваться человек — в шутливой форме...

Кавказская дуэль

Прочитал, наконец, «Дубовый листок» Ирины Корженевской, за который брался несколько раз перед этим. Очень любопытно и обо всем сразу: Кавказская война в первой трети девятнадцатого века, Прочный Окоп с Зассом, Пушкин с Лермонтовым на Кавказе, декабристы и ссыльные поляки — прекрасный «сентиментальный роман». Потом взял в библиотеке книжечку Михаила (Юрьевича) Лохвицкого «Громовый гул», изданную грузинами в «Мерани» в 1977 году. Перед текстом стоит посвящение — «Памяти моего деда З. П. Лохвицкого (Аджук-Гирея)» — и очень жаль, что нигде нет объяснения, кто такие Аджук-Гиреи, тем более, что и сам автор в скобках за фамилией тоже назван Аджук-Гиреем.

Тоже очень любопытная книжечка, тоже со своими вполне объяснимыми с точки зрения исторической правды издержками: избежать их не удалось даже такому опытному «пловцу» в этом во все века бурном море, как Юрий Давыдов, написавшему послесловие к книге, правда в нем-то — вполне понятное по тем временам приятие компромисса.

В послесловии, кстати, Давыдов пишет о прочитанных им дневниках Ф. Ф. Матюшкина — «Федернельке», которые, судя по всему, очень интересны, о его переписке с Владимиром Вольховским, «тоже лицеистом пушкин-ского круга и тоже участником Кавказской войны».

Но я о том, что узнал нового для себя: оказывается, среди русских офицеров в то время имела хождение так называемая «кавказская дуэль».

«Кавказская дуэль заключалась в том, что вызвавшие друг друга офицеры, когда начинался обстрел со стороны горцев, вставали во весь рост и вместе рядом, шли навстречу пулям, отдаваясь на волю судьбы.»

Ниже такая дуэль описана:

«Через полчаса я волок его тело к нашей позиции. Горцы выстрелили всего лишь раз, вероятно, они целились по георгиевским крестам на груди поручика.»

Выходит, условия дуэли в этом смысле неравны: наверняка убьют того, кто выше чином либо отмечен наградами?.. А то и того, кого хорошо знают в лицо — такая тогда была война...

Почему казаки не ходят в церковь, или Газырь от отца Геннадия

Имеется в виду — современные казаки, нынешние...

В машине Владыки Пантелеймона ехали в Свято-Михайловский монастырь, кроме нас с Владыкой и водителя был еще настоятель Троицкого храма отец Геннадий, мы с ним сидели позади.

Шло первое — посредством разговора обо всем сразу, и о главном, и вроде бы ни о чем — знакомство, и я сказал, что в каком-то смысле стоял у истока казачьего движения, был первым московским атаманом, но когда движение «ушло в газыри» (а журнал «Родная Кубань» с моими «Газырями» я только что Владыке вручил), постепенно мне пришлось отдалиться от него.

— Мы ведь думали как? — пытался я объяснить.— Первое, чем займемся — воцерковление, обретение казачьего духа...

— А знаете, почему нынче казаки в церковь не ходят? — живо переспросил меня отец Геннадий.

— Н-нет, батюшка...

— Бога боятся! — сказал он весело.

Я рассмеялся, смеялся искренне и долго, потом все возвращался к этой не очень веселой шутке, вспомнил о ней, когда ходили уже по монастырскому двору, имеющему сегодня вид грустно-пустынный — разве можно его сравнить с тем деловым оживлением, которое с недавних пор установилось в стенах Саввино-Сторожевского монастыря?

А какая красота вокруг, какие дали открылись, когда поднялись на колокольню — в те времена, когда на обломках монастыря процветала турбаза «Романтика», специально выстроенную здесь обзорную площадку. Горы и горы во все концы, на юго-западе — снеговые. Крутые голые выступы и наползающие один на другой пологие горбы, покрытые щеткой серых весной лесов, распадки и (...вот она — «смесь французского с нижегородским»: сибирского диалекта с кубанским. На Кубани, по-моему, нет такого слова — «распадок». Обратился сейчас к Учителю, к Владимиру Ивановичу Далю, отцу родному: «распадка» — как такового — у него нет, хотя вслед за глаголом «распадать» следует: «Гора распалась от трусу.») узкие клинышки долин, на которых разбросано крошечное издали жилье: какое-нибудь сельцо, какой-либо хутор.

Так вот, вспомнил шутку отца Геннадия, говорю ему:

— Батюшка, а ведь это — отдельный маленький рассказик, тот самый «газырь», которыми я нынче пустующие казачьи газыри заполняю... А можно я так и назову его: «Газырь от отца Геннадия»?.. Нет ли в этой шутке двойного дна, нету ли святотатства?

Он посерьезнел:

— Можете назвать. И ничего в этом нет такого... Кроме большой печали — ничего!

Уроки Грузии

Нынче, правда, об уроках Грузии, преподанных ею столько лет, словно щитом, прикрывавшей ее России, можно долго рассказывать...

Но я о добрых уроках.

Полистал сейчас свой сборничек «Голубиная связь», быстренько пробежал рассказец «Короли цепей»... нету там! Что делать? Годы идут, написанного все больше, и я уже не всегда помню, где о чем писал. Помню, что писал, это — точно, но вот где?

И тут так.

А искал я сюжетец с грузинскими борцами, возвращающимися домой: с победой, естественно... Встречают такого в аэропорту, и первым делом к нему, какому-нибудь заслуженному-перезаслуженному, подходит личность, известная лишь в Тбилиси: таксист Леван или официант Котэ... Подходит и прямо тут же, на взлетной полосе, укладывает героя дня на лопатки: чтобы он не возомнил, будто он — и в самом деле, лучший борец... вон таких сколько в Тбилиси... а по всей Грузии?!

Постоянно возвращаюсь мысленно к этому обычаю: очень нужный, очень справедливый обычай.

Из-за чего недавно о нем вспомнил: мы были на концерте «Русской удали» — оркестра народных инструментов под управлением Анатолия Шипитько. На этот раз выступал с ним баянист Николай Горенко... сразу скажу, что я сочувствовал невольно оставшимся в тени прекрасным толиным баянистам. Но что делать?

Горенко — не только блестящий виртуоз и артист-характерник, не скрывающий себя под каким-нибудь традиционным концертным фраком... потрясающий работяга: как летали у него по пуговкам пальцы! И в самом деле — будто легко порхавшие птахи. Но понимаешь, сколько за этим труда и пота, в том числе и выступающего на красной рубахе на виду у зрителя... как у Гарибальди? Чтобы не было видно крови. Как у каких-нибудь ломающих «пьяного» гопачка тверских драчунов?

Концерт посвящен был Геннадию Заволокину, и я опять услышал далекий — хотя он рядом, внутри — зов неоконченной работы о нем и о народном творчестве, которую я озаглавил «Казаки и пигмеи».

Так вот, по этой четкой классификации Николай Горенко, конечно же, еще какой казачура, как и сам Шипитько: недаром же, прослушав его оркестр, которому пришлось подменить на фестивале в Анапе какой-то опоздавший на него именитый коллектив, и устроители фестиваля, и жюри засыпали Анатолия вопросами — мол, кто таков, мол, откуда? Почему о нем не слыхать?

А о ком слыхать-то?

Вот тут и подходим к главному: да ежели бы после выступления какой-нибудь разрекламировнной сверх меры звезды или такого же звездюка выходила бы какая-нибудь сельская Фрося — на этот раз такой «Фросей» была Анна Железовская, которую я уже слышал в станице Гиагин-ской,— дай Бог ей удачи! — эти деловары давно бы перемерли от стыда за себя... стыда у них нет. Они давно бы уже «повыздыхали», как в любимой моей станице говорят, от черной зависти.

Но не так ли нынче в искусстве вообще? Не то же ли самое — в литературе? (Утром читал маленькую книжечку Николая Зиновьева, поэта из городишка Кореновска... какой там Вознесенский?! Коля наступает на пятки своему кубанскому землячку Кузнецову!

Из всех блаженств мне ближе нищета.

Она со мной и в летний дождь, и в стужу.

Она тяжка. Но — тяжестью щита,

Надежно защищающего душу.

Ну, кто из них мог бы так сказать? Им ведь сие неведомо, в том-то и штука, что они-то — богатые дельцы!)

Хороший был в Майкопе концерт!

Дай, Господь, чтобы он пригодился мне, когда снова возьмусь за «Казаков и пигмеев»

Отрадненские паруса

Такие в нашей Отрадной налетали весной и осенью ураганы, что выполосканные мамой в корыте простыни начинали хлопать и туго выстреливать, как паруса океанских кораблей, и также, как паруса от штормового ветра, надувались и готовы были лопнуть от сознания собственных заслуг старые пододеяльники и латанные-перелатанные наволочки, и даже всякая пеленка нашей младшей сестрички трепетала гордо, как гюйс на флагштоке какого-нибудь стремительного морского красавца...

И вот эти-то паруса разнесли нас по всему белому свету, Господи!

Народ «Ад»

Листал «Мир культуры адыгов» — скорее, начал читать — и сразу наткнулся на теорию происхождения этого самоназвания: адыге. Ну, как и во всех других языках, как со многими другими народами оно берет начало в древнем разграничении: «мы» и «они», «мы, люди» и «они — остальные», «остальные люди», а мы — само собой — первые.

Но какое преимущество у адыгов?

«Ад — Ам» — это первый муж, первый мужчина, первый человек. Адам.

«Теперь остается лишь к слову «ад» добавить окончание, означающее в адыгейском языке множественное число — «ыхе», и мы получаем интересующее нас слово «адыхе» вместе с его прямым переводом — «первые». Как уже говорилось, подобные самоназвания в истории не редкость.

Для косвенного подтверждения данной точки зрения можно сослаться на Коран, в котором неоднократно упоминается народ «ад», о столице которого — городе Ираме, говорится, что он «был обладателем колонн, подобного которому не было создано». Народ этот, вызвавший божественный гнев своим непокорством (что очень похоже на характер адыгов), «был погублен ветром шумным, буйным». Известно, что остатки города обнаружены археологами, и что небольшое племя «ад», считающее себя потомками остатков этого народа, ныне компактно проживает на территории Омана. Автор далек от мысли считать этот народ предком адыгского, но пример этот, по моему мнению, подтверждение того факта, что племена, называющие себя первыми, были не редкостью в истории.»

Но меня-то это наталкивает на свои «древние» факты: все вспоминаю, как Гена Молостнов, Геннадий Модестович, отставной полковник КГБ, один из родоначальников прозы Кузбасса, написал мне на титуле своей книжки «Даруя жизнь»:

«Гаря, уважаю в тебе непокорность. Пиши, как я пишу»...

Правда вот, что касается его последнего пожелания... Но, может быть, тут-то мое «непокорство» и спасло меня?

С порога отчего дома

Часто пишу, что с порога нашего дома в Отрадной видать было «розовую макушку Эльбруса», по адыгским преданиям — горы Счастья...

Так вот, по тем же преданиям, двуглав Эльбрус-Ошхомахо как «двуглаво» седло. В которое надо сесть, чтобы добраться до Млечного пути.

Но как ты до него доберешься?

Если сам Тлепш, бог кузнечного ремесла, не добрался даже до края земли.

А ведь для того, чтобы добраться, он выковал себе железные башмаки, железный посох и железную шапку.

Но башмаки в конце концов прохудились и повисли на коленях, посох истерся так, что стал не виден из-под ладони, а дырявая шапка упала ему на плечи...

«Неказистый человек»

Как исчезли богатыри-нарты и появились люди?

Однажды пожилые муж и жена работали в поле, она увидела на дороге маленького человека и показала мужу: смотри-ка!

— Это пришел неказистый человек! — сказал муж.— Теперь нам тут делать нечего...

И они ушли навсегда.

Но был, оказывается, еще случай:

«... охотник Асланбек Короткий, идя по ущелью реки Теберды (верхнего притока Кубани), увидел, как один нарт-ский всадник гонялся за быком. Быка, не повиновавшегося всаднику, рассерженный нарт взял и положил за холку своего коня. (За холку и за холку — я ни причем!) Охотник, увидев его, испугался и спрятался в яме, выбитой копытами нартского коня. Увидев его, нарт изрек: «Какая мелюзга, какая противная штука! Нартам, среди которых появился такой, будет конец...»

Сколько же раз потом «мелюзга» сменяла на белом свете друг дружку, пока мы не пришли, сегодняшние, и волей-неволей спрашиваешь теперь себя — мы-то кто?!

Боже мой!..

Это рассказик с одним лишь названием, но без текста. Текст может придумать каждый по своему разумению и боли сердца.

Газырь от Тембота Керашева

Давно уже хотел написать «газырь» от Феликса Петуваша, все никак руки не доходили, а тут взялся перечитывать «Одинокого всадника», и чуть не сразу наткнулся:

«Широкий бесформенный халат, который носил весь Восток, адыги переделали в черкеску. Она до пояса плотно охватывала тело, давая свободу рукам, а широкий подол ее не мешал стремительно взлетать в седло и в стужу согревал колени. Когда появилось огнестрельное оружие, вместо нагрудных карманов на черкеску нашили газыри. Газырь по-адыгски означает — готовое, то-есть готовый заряд. В каждом газыре пороха ровно на один заряд. Затычкой служила свинцовая пуля, отлитая по мерке ружья владельца и обернутая в тряпицу. Газыри нашивались повыше, почти у самого подбородка. Причем каждый газырь был прикреплен плетеной тесемкой к ткани черкески. Всадник на всем скаку, в считанные секунды мог перезарядить ружье.

Газырей было шестнадцать, по восемь с каждой стороны. Два крайних, оказывающиеся уже под мышками, в походах зачастую использовались и для иных целей. В одном хранился сухой трут, в другом — пучок тонких еловых щепок, чтобы в ненастную погоду легче развести огонь. Огнивом для высечения искры служил наконечник поясного ремня.

Чтобы было сподручней в бою, рукава черкески доходили лишь до локтя. Длинные рукава носили только старики.»

В этом месте посреди текста Тембота Магометовича волей-неволей призадумаешься: мол, как же так? Колени черкеска грела, а руки пусть мерзнут?.. А, может быть, рукава закатывали, как нынче закатывают их «укравшие» у адыгов черкеску кубанские казаки?.. Как надо их закатывать на том самом «восточном халате», который два десятка лет назад я привез себе из Монголии?.. Хочешь — закати, чтобы не мешали работать, а надо —

раскатай на весь рукав, и длинные концы будут вместо перчаток: можно подхватить раскаленную дужку горячего ведра либо за края взять пышущий жаром казан...

Или в том-то и штука, что это уже — и правда, как бы неспешное стариковское занятие, а у молодого джигита руки должны быть постоянно в работе, какою бы она ни была, постоянно при деле: некогда мерзнуть!

«На поясе вместо фигурных блях, ныне служащих для украшения,— следует дальше у Керашева,— в старину на каждом боку носили по коробке из железа или серебра. В одной хранилась мазь, исцеляющая раны, в другой — жир для смазки оружия.» Вот как подробно — благодарение ему! — Тембот Магометович это описывает. И если бы бойкий обозреватель «Собеседника» Дима Быков, которому во многом обязан я появлением на белый свет своих «Газырей», прочитал бы в свое время классика адыгей-ской литературы, он не приписывал бы «боевых» свойств газырям нынешних наших казачков.

Кстати, спросил на днях у Валентины Арсентьевны, у Овчаренко, директриссы художественного салона в центре Майкопа: мол, есть нынче в продаже газыри? Можно глянуть?.. «А! — махнула она ладошкой.— Какие это газыри?.. Деревяшки!» А с романом Керашева любопытное дело: во многом, как понимаю, это книга плюс ко всему историко-этнографическая. С интересом узнаешь и о расстоянии в «два...» или, предположим, в «четыре крика» и о «семиаульных сходах» в Абадзехии, больше остальных областей, кроме Шапсугии, может, склонной к народному правлению.

И то правда, что главный герой Ерстэм, «одинокий-то всадник», сперва уезжает в «чужую страну», а потом выясняется что гостит он в «соседнем племени»... Но это кроме прочего — издержки в создании национальной литературы, в которой Тембот был одним из основоположников. А тогда это так и называлось: другая страна. Теперь жалею, что мало пришлось общаться с ним, но уж больно тяжелая тогда, тридцать лет назад, была у меня в Адыгее полоса... А Тембот позвал как-то на рыбалку: стоял в добротном сером костюме, смуглое, тронутое параличом лицо будто высушено, локоть больной руки поджат к боку, безжизненные пальцы с восковой кожей подрагивают возле груди, но глубокое страдание во всепонимающих глазах — не по самому себе, а будто по всем нам, еще не принявшим на свои плечи все тяжести мира...

— А как же он рыбачит? — с некоторым удивлением спросил я у одного из коллег Тембота возрастом помоложе.

— Лучше всех нас! — ответил тот с мало понятной тогда мне усмешкой.

Завидовал?

Что правда, то правда: и свою «золотую рыбку» — Государственную премию СССР — и многие высокие награды Тембот Магометович «выловил». Исходя из существовавших тогда правил — на вполне законных основаниях, без

всякого вошедшего в моду впоследствии не то что «браконьерства», но прямо-таки откровенного, граничившего с литературным разбоем, нахрапа.

«В центре внимания Т. Керашева оказалась...знаковая фигура легендарного черкеса, вобравшего в себя собирательные черты народа»,— написал в предисловии к «Избранному» Тембота, вышедшему к его 95-летию в Майкопе, доктор филологии Учужук Панеш. И далее — чрезвычайно важное: «Писатель понимал, что прошлое адыгов, накопленный ими духовный опыт имели не только самоценное значение. Они могли дать миру, всему человечеству то, чего не мог дать ни один другой народ.» Как бы ответ на вопрос, из-за чего я на родном-то Северном Кавказе «зациклился» и почему «торчу» больше здесь, нежели в Москве. И — смысл того, о чем мы то с большой горечью, а то с горячей надеждой без конца в столице беседовали с уже ушедшими в мир иной старшими моими друзьями — как нынче мне нехватает их! — черкесом Аскером Евтыхом, тоже адыгским классиком, большим русским писателем, и осетином Ирбеком Кантемировым, профессиональным джигитом, Великим Наездником, с которым мы замышляли фильм «Возвращение странника»: о необходимости возвращения лучших кавказских обычаев и высокой горской традиции...

Смысл того, что так бездарно, а, может, и преступно ставропольский комбайнер променял на «общечеловече-ские ценности», которые в очередной раз так ярко продемонстрировали нам «америкосы» в Ираке.

Но может ли это возвращение лучшего состояться?

Часто кажется, что именно об этом — раздумья запечатленного в бронзе Тембота, на краешке табурета сидящего в центре Майкопа неподалеку от городского парка.

Хорошо знаю: у многих уважаемых мной добрых знакомых и людей достаточно близких по духу этот памятник столичного скульптора Лазаря Гадаева, тоже кавказца, осетина, вызывает чуть ли не яростное неприятие...Виноват: часто сворачиваю, чтобы еще раз мимо него пройти, чтобы напротив постоять — мне он дорог. Позволю еще одну цитацию из «Одинокого всадника»:

«Под вечер в кунацкой начали появляться посетители — приходили познакомиться с гостем. Шли и по одному, и по нескольку человек сразу, величавые и корректные, исполненные достоинства и, вместе с тем, скромные до застенчивости.

И во всех Ерстэм отмечал ту же фокотлевскую затаенную горечь неволи...»

Разве не это как раз воплощено в памятнике?

«Я сделал свое дело, как мог его сделать,— как будто говорит нам отрешенный, чуть печальный Тембот.— Не сомневаюсь, что кто-то после меня напишет лучше: что ж. Даже рядом, на этом табурете для него найдется

местечко. А сколько еще места на нашей бессмертной, на удивительной родине: не о себе думайте — о ней!»

Кто-то спросит: а причем тут — «горечь неволи»?

Не сомневаюсь, что Тембот Магометович, мудрый и талантливый человек, хорошо понимал, что был удачливым заложником собственной, достаточно счастливой судьбы у непростого, у жестокого времени...

Нынче время сменило маску, но не сделалось ли еще жестче?

И этот памятник достойному человеку — не его ли завет нам: не возноситься?

Вспоминаю страдание у него в глазах, временами явно мучительное, и, глядя на памятник, думаю: он и сейчас, давно покинувший «большой дунэй» — белый свет, знает о нас чуть больше, чем мы — о себе, пока живущие...

Потому что не себя любил. Больше — свой народ. И всех нас.

Газырь от Феликса Петуваша

Все правильно, что ж: мы с Феликсом уступили очередь старшему — уступили Темботу, тем более, что после него уже куда легче рассуждать о газырях...всегда бы так — после старших!

Как-то с Эдиком Овчаренко мы были в мастерской у Феликса, речь почему-то зашла о газырях, и Феликс вдруг как будто любимого конька оседлал: как взялся о них рассказывать, как взялся!

— Их ведь всегда держали на крайний случай,— говорил горячо и уверенно.— Вытащить газырь и пустить в дело, когда тебя не совсем прижало, и есть возможность перезарядить ружье без него — это считалось за падло. Обходись без них до конца. Настоящий джигит от полы черкески кусок отрежет пулю завернуть — газырь не тронет. Вот если только ты ранен... Причем, когда легко — и тут перебьешься. А вот когда тяжело... Для чего от колпачков газырей цепочки тянутся к узелку на груди, под подбородком? А для того, чтобы ты мог зубами газырь вытащить, если у тебя что с рукой, и, может, зубами и в ствол затолкать,— Феликс решительно поставил на трехногий столик, на анэ, свою чашечку с крепчайшим кофе и дернул вниз-вбочок головою с открытым ртом: словно хотел куснуть себя в грудь.— Нынешние наши пижоны думают: цепочка — для красоты!.. Да нет, корефан: тут все рассчитано и функционально оправдано. Тогда у игры со смертью была своя эстетика: строгая!

Ясно, что говорил он о молодых пижонах-черкесах, а я свое думал: а казачки?

Которые, словно новогоднюю елку игрушками, какими только ни украшают себя старинными прибамбасами, часто не имея понятия о традиционном их назначении...

Но откуда возник тогда в Феликсе этот эмоциональный взрыв, все думал я после. Эта прямо-таки обдавшая нас с Эдуардом волна горячности... Не от охотничьего ли азарта, во многом заменившего Феликсу нестареющий пыл старинных набегов?

«Эстетика смерти», перевоплотившись, осталась на его последних полотнах великолепными сценами древней охоты с ее строгими правилами самоограничения воли и великодушия по отношению к «братьям меньшим», страдающим нынче куда больше нас, шаг за шагом лишающих их традиционной среды обитания...

Через год или два пришлось увидать у Феликса в мастерской висевшие рядком три великолепных волчьих шкуры, очень ярко, как говорится, свидетельствовавших о величине и силе их прежних хозяев.

— Где таких красавцев добыл? — спросил у Феликса.

— Да теперь это разве сложно? — начал он в своей насмешливой, чуть печальной манере.— Поля заросли, зверь сам, считай, к порогу подходит — не надо на дальние поездки бензин тратить. Вышел на порог...

— А «загонщики» в горах уж, и точно, не подведут?

— «Гонят» и днем, и ночью, что ты!

Еще недавно стены моего рабочего кабинета в Москве, были, что называется, увешаны графикой Феликса: и старые, но так и не стареющие работы, и более поздние. Но вот «Волы, тянущие воз» перебрались в Подольск, а «Обрезают виноград» теперь под Звенигородом — выцыганили сыновья Сергей и Жора. Остается радоваться и за них — вроде простачки-простачками, а понимают! — и за Феликса, и — за себя.

Три десятка лет назад эти «картинки» появились на обложке журнала «Смена», где я «заведовал» отделом литературы и искусства с коротеньким моим текстом, уже тогда прямо-таки со всей определенностью поставившим Петуваша в ряд настоящих мастеров и великих тружеников... С тех пор этих качеств в нем только прибавлялось.

Помню, как сочинял поздравительную телеграмму в Майкоп к 50-летию Феликса: «Был Пету сперва только ваш давно стал также нашим дайте срок станет своим всемирно...»

В этом и нынче не сомневаюсь. Петуваш — один из лучших графиков, один из лучших художников не только на Кавказе и на Ближнем Востоке, в силу исторических причин всегда испытывавшем кавказское влияние, а в

последние два столетия, когда в арабском мире проросли и укрепились неистребимые корни черкесских махаджиров, вообще в определенном смысле ставшем частью Кавказа.

За кем-нибудь другим, умеющим талантливо устраивать себе безбедную жизнь и организовывать собственную славу, всемирная известность — с таким-то, как у Пету, творческим багажом! — давно бы послушно шла по пятам.

Но недаром ведь в словаре у Феликса, книгочея и природного философа, самый презрительный, пожалуй, оттенок имеет это не столь давно возникшее понятие: деловар.

Может, не только интуиция большого художника подсказывает ему сокровенные слова, припасенные для тех, кто не участвует в спринтерском забеге за сиюминутным успехом: прижизненная слава губит посмертную. Может быть, он из тех, к несчастью, нынче немногих, кто упрямо продолжает считать, что рост человека измеряется не от фирменных ботинок до модного кепи — от головы до неба?

Или, приходится думать, Феликс по характеру своему — махаджир, перепутавший время, маленько запоздавший к исходу всеобщему и догоняющий остальных уже в одиночку... Недаром же в его графических сюжетах все еще гремят пушки Кавказской войны. «Махаджир?.. Феликс?! — переспросит хорошо знающий Петуваша наш общий друг.— А, помнишь, как были у него дома, стало нечем закусывать, все уже съели, и он на старинном фамильном блюде вынес шмат сала размером с Большой энциклопедический словарь?.. А что он тогда сказал?.. Обрадовались, казачуры?! Вот, жрите свое поганое сало да только не все, не все...»

Ну, что такого?

Сегодня он — махаджир, а завтра снова — примкнувший, как его прародители Абрегам и Тлепшхач, к донским казакам адыгский ополченец из родового аула флигель-адъютанта Его Императорского Величества полковника Хан-Гирея, из Гривенского-Черкесского, из нынешней станицы Гривенской,— кубанский черкес, дошедший с молодцами атамана Платова до Парижа...

Свободный человек, что такого-то?!

Печально, конечно, что очередная наша свобода началась с того, что сперва освободили наши карманы. Да ведь не в деньгах счастье, и даже, как модно теперь пошучивать,— не в их количестве.

Может, это как раз они, летучие и вроде бы необременительные попервоначалу раздумья в утреннем лесу и ночью возле воды с лунной дорожкой на поверхности, постепенно сделали его отшельником, равнодушным не только к чужим выставкам — к своим тоже, сделали чуть ли не затворником... разве так-таки нельзя позволить себе и этого?

Еще разок-другой в Нальчике подведут кабардинцы белого коня своему сородичу Карданову — великому американскому художнику Михаилу Шемякину, в котором, по слухам, течет также кровь индейцев-делаваров, еще разок в соседнем Черкесске попробуют отловить десятка два-три праздношатающихся и чуть не силой запихнуть в зал с картинами этого заокеанского мэтра, и знающему себе цену, но по-старинке блюдущему адыгство коллеге из местных, никогда не отрывавшему пуповину от родимой земельки, станет и вовсе скучно: да с кем соперничать-то? И, понятное с давних пор дело, в соперничестве этом судьи-то — кто?..

Невольно вспоминается питерский художник еще дореволюционной школы, знаменитый анималист Валентин Иванович Курдов, с которым в середине восьмидесятых свел меня в Ленинграде старый, еще с сибирских времен, товарищ Борис Ракицкий, светлая и ему тоже память. Валентину Ивановичу было хорошо за девяносто, и в городской бане, после щедрой парилочки, я попытался было взять его под локоть перед ступенькой в бассейн… С улыбкой он отвел мою руку и кивнул Борису: мол, твой-то друг!.. За кого меня держит?

— Несколько лет назад, на юбилей Валентина Ивановича, накрыли стол, каких в Союзе художников не было и у большого начальства,— посмеиваясь, рассказывал дома после баньки Борис, один из руководителей этого самого Союза.— Ждем-пождем — нет виновника торжества!.. Час, два, три. Послали туда и сюда гонцов: может, что-то случилось?.. И самый проворный вдруг докладывает: охотничья собака Курдова получила на выставке золотую медаль, сейчас там чествуют чемпионов, и старик сидит с ней в обнимку!

Насколько скучней и безрадостней стал бы наш мир, и без того уже до зеленой тоски «зарегламентированный», если бы не было этих якобы чудаков — своенравных сопротивленцев насильственному устройству человеческого счастья!

Что ж, что Курдову тогда было за девяносто, а Феликсу пока нет шестидесяти: дай Бог дожить!

Русская беда — 2

Почему о «второй беде»? Потому что с первой вроде бы ясно: почти повальное наше пьянство.

Но тут о другом.

Из Ставрополя позвонила племянница Галя, дочь покойницы Вали, сестры Ларисы: похристосоваться с бабушкой…

Звонит она чрезвычайно редко, можно сказать — вообще не звонит, и по телефону узнать ее не мог, а попросил обождать и пошел звать маму Ларисы, которая на улице «пасла курочек».

Слышу потом — обрадовалась, начала спрашивать как там кто из ее правнуков, а потом говорит: а здесь, мол, Гарик с Ларисой, уже кирпич завезли, будут строиться.

Помолчала, выслушивая, видимо, Галю, потом говорит:

— Зачем ломать? Говорю, они будут строиться.

Опять, видимо, Галя спрашивала в таком духе, что матери пришлось повторить: строиться, строиться! Потом она спросила уже строго и как бы с наставлением в голосе:

— Так, а зачем ломать?.. Плохо слышно? Хорошо?.. Я и говорю: надумали строиться, а ломать не будут, нет-нет...

Невольно подумалось, что у русского человека это рядом: ломать-строиться. Если строиться — значит, непременно ломать.

Более того: сперва поломать, а там видать будет...

А когда уже записывал этот «газырек», с грустной улыбкой подумал: а, может быть, на наш чисто русский, как теперь принято,— менталитет, накладывается еще и ставропольское, будь оно проклято, новое мышление?

Уж тут-то и точно: сначала все сломать... И чем дальше, тем ясней видать: и какую мы все проявили доверчивость и недальновидность, и какой точный расчет лежал в основе «творческих планов» тех, кто все это затевал...

Но это уже — не беда.

Это — русская трагедия.

Западно-сибирские сны

Сперва приснилась осень на Алтае — как та, которую впервые увидал на целине... Как та, которую пытался описать в начале «Осеннего романа». Но багреца не было — только желтизна деревьев, одна желтизна. И я ехал с кем-то в открытой — или на открытой — машине и все показывал по сторонам.

Потом приснилось, что меня находит кто-то, поставивший неподалеку машину, она была черная, и вручает мне увесистый пакет из полиэтилена.

— Это,— говорит,— вам от Лаврика.

Который в мае прошого года, когда я гостил в Новокузнецке, был генеральным директором Запсиба, а теперь остался всего лишь техническим

директором... вообще-то, пожалуй, он чувствовал, что это его «генеральство» ненадолго, был явно не в своей тарелке, а я по простоте душевной объяснял это сознанием отвественности, которая на него свалилась и как мог утешал его и подбадривал. Но разве, и правда, не был он самой подходящей кандидатурой на эту должность?

Всегда оставался на хозяйстве, всех и вся подстраховывал. По доброй воле торчал на заводе в выходные дни. Все знал и на всякий вопрос готов был ответить.

Для меня дружба с ним была озарена его интересом к истории металлургии вообще и в Кузбассе — в частности. Заговорили о старинном заводике в Гурьевске, и он вызвался дать мне машину, чтобы я туда съездил. Перед этим позвонил, и меня, конечно же, встречали дружелюбней обычного...

В разговоре спросил его: говорят, мол, у нас тут делают крепкие легкие лопаты — нельзя ли, мол, в этом убедиться на собственном опыте?.. Лаврик сказал, лопата за ним.

Потом вышло так, что эта лопата уже лежала в багажнике его машины, но его неожиданно вызвали с нашего праздника старичков-ветеранов. Потом снова увидались в заводоуправлении — его водитель уехал пообедать... так и остался я, в общем, без лопаты.

И вот оно: во сне, наконец, доставили.

Развернул я полиэтиленовый пакет, а там лежит аккуратно — заводским способом отрезанная рядом с пазушкой для держака левая половинка лопаты.

— Так тут не лопата, а — пол-лопаты! — сказал я.

— А теперь так делают,— объяснил мне привезший ее от Лаврика человек.— Это для левой ноги.

— А что,— спросил я,— есть лопата также для правой?

— Есть для правой, да. Но вам передали для левой.

Может быть, чтобы я поменьше времени уделял «полевым работам» на разных огородах — копал бы «одной левой» — а сосредоточился бы на главном: на своих рукописях?

И все же, все же: конечно, есть в этом элемент западносибирской тоски...

Братание шашками

Возвращались из Майкопа, и в вагоне достал записную книжечку, подаренную главным редактором «Парламентской газеты» Леней Кравченко... Над названием его издания в свое время я крупно вывел: «Газыри». С этой книжечки во многом они и начинались.

Так вот, достал я эту книжечку и посчитал нужным записать такие вроде бы маловразумительные слова: «Надо гордиться тем, какие отношения были между казаком и черкесом — гордиться! Братались шашкой. Обмана не было. Не то, что с теми, кто с Россией «поддруживал», но в трудный час предавал.

Тут-то все ясно: достойные друг друга враги. Но разве этого мало? Простодушие с обеих сторон, которое ценить надо!.. (Вспомнить Тембота Керашева, где он с явной усмешкой рассказывает, как в старые времена черкесы ездили в Ермыльхабль — в Армавир, где армяне учили их, как правильно обращаться с деньгами, какие на какие обменивать.)

Что было, то было. Но это вовсе не самый худой вариант. Ценить это надо — что мы ноем?»

Ну, насчет нытья — это обращение не к себе, а к тем умельцам среди черкесов и среди русаков, которые все продолжают стричь купоны с общих былых страданий тех и других.

Как-то мне уже приходилось писать, по-моему,— в «Приписном казаке Абдуллахе»: брататься, мол, в истории выпадало и так — «вострой шашкой». И вот после очередного достаточно долгого пребывания в Майкопе, после долгих разговоров и долгих размышлений опять неожиданно для себя это записываешь, как вновь открытое... болит, значит? Значит,— тревожит?

И — вновь убеждает в правильности вывода о прошедших временах: во имя будущих.

А по приезде домой, в Кобяково, забрал с собой в электричку десятка два-три газет — из той кипы, что накопилась, пока нас не было. Взялся просматривать, и в одной из «трудовских» «толстушек» наткнулся на очень дельную беседу с петербуржцем Яковом Гординым: «Кавказский тупик».

Не могу не процитировать его, нынче это мало кто понимает:

«После распада СССР именно проблемы Кавказа оказались для России самыми болезненными. И чтобы решать их, надо ясно понять, что там происходит. Работая с историческими документами, я пришел к выводу, что Кавказ, кавказские войны, отношения России и Кавказа сыграли в русской истории гораздо большую роль, чем обычно представляется.

Не будем забывать, что, помимо обильно пролитой на этой земле крови, существовало мощное взаимное тяготение России и Кавказа. Как раз сейчас я исследую влияние культурно-психологического феномена Кавказа на русское общественное сознание 19 века, русскую культуру, литературу...

Кавказ сыграл особую роль в истории России. Кавказская война продолжалась 60 лет. Это был один из самых продолжительных конфликтов в истории человечества, о чем даже просвещенные наши современники мало что знают.»

Прежде всего подумалось: не тем ли самым «исследованием» занимаюь и я?

На горькой практике.

А вот как Гордин меня утешил:

«Я часто цитирую эпизод из воспоминаний полковника Константина Константиновича Бенкендорфа, племянника известного шефа жандармов — Александра Христофоровича. Полковник храбро воевал на Кавказе и едва избежал гибели. Он рассказывает, как в базарный день в одном из аулов подрались солдаты Апшеронского полка и чеченцы. Здесь же оказались егеря Куринского полка, своеобразная кавказская гвардия царской армии. Его солдаты вмешались в драку, причем на стороне чеченцев. Когда Бенкендорф спросил у солдата-куринца, как это следует понимать, тот бесхитростно ответил: «как же нам не защищать чеченцев, они же наши братья, мы с ними вот уже 20 лет как деремся...»

Кстати, это косвенный ответ кунаку Юнусу на его строки о «препонах-рогатках», которые начались, мол, для кавказцев еще с Бенкендорфа и уже во времена издательства «Современник», в котором потеряли рукопись Юнуса, продолжились...

Два пирога в память о старшем друге

Сперва пришлось горько улыбнуться: Ирбек Кантемиров — старший мой друг. К несчастью, нынче покойный... Но я — его «старший брат». Как всякий русак, недавно еще считалось, для осетина.

Отношения у нас были, приходится теперь вспоминать, не то что дружеские — почти сокровенные, и однажды, не помню уж по какому поводу, он сказал мне:

— Может, еще не знаешь, но у нас есть такой тост, который произносится, как правило, только на осетинском — среди своих. Мол, пьем за старших наших братьев, и пусть нас будет столько, сколько сегодня их, а их станет примерно столько, сколько сегодня нас...

Сложно сказать, сколько тут чистой правды, а сколько — горького юмора... Сколько от того самого красного словца, ради которого отца родного не пожалеешь. Но вот уж: что есть, то есть.

Четырнадцатого мая, в третью годовщину, как Ирбека не стало, приехал я на базу МЧС в Новогорске, где нынче перебивается младший брат Юры — Мухтарбек со своей каскадерской командой и с лошадьми... Надо сказать, что это еще не худший вариант: и руководство, и офицеры с солдатиками относятся к конникам дружелюбно и даже с почтением — среди «осетинских» лошадей стоит в каскадерских денниках и любимый жеребец Сергея Кужембетовича, а вот-вот должно начаться, наконец, и строительство конного театра, о котором уже столько лет мечтает Миша.

У Миши вдруг познакомился с черкесом из тех, о ком сказать можно: вот какими они когда-то были!..

Мурад Гунажоков, который учился теперь в Академии МЧС: бывший летчик-испытатель, живший в Азербай-джане полковник, лошадник, у которого была своя конюшня на двадцать лошадок. Дружил с «мятежным полковником» Суретом Гусейновым, вместе — как бы не на самолете, ведомым, как я понял, Мурадом,— бежали из Азербайджана, «из-под Алиева», и вместе были в розыске у Интерпола.

— Какой человек — Сурет! — говорил теперь Мурад.— Он русский человек. И он как будто черкес... он — наш! Как я переживал за него!

Я тоже, хоть и не знал его, переживал...

Но мы его сдали.

И — скольких, скольких надежных своих друзей и соратников!

Настоящих бойцов.

Мы засиделись, и Миша Кантемиров сказал: теперь, мол, все от Мурада зависит... довезешь, Мурад?

В семь я должен был поспеть на концерт русской музыки в Кремлевском дворце. Вместе с другими ведущими ансамблями там должна была выступать «Русская удаль» Толи Шипитько, и в Майкопе я ему говорил: приду за тебя болеть, Толя! Потом ты услышишь.

Как Мурад гнал!

Всего-навсего до ближайшего метро, но оно достаточно далеко от Новогорска.

По дороге все продолжали чуть ли не взахлеб разговаривать: земляки! И Мурад рассказал историю о своем друге-адыгейце, который, побыв среди русских в Чечне, окрестился, и не было истовей его православного!.. Но потом вот что случилось: он был офицер, и ему пришлось сопровождать гроб солдатика в небольшой русский городок. Конечно же, нервы у него были на пределе...

И вот после того, как схоронили солдатика и начались поминки, молодой священник подвыпил и стал щупать девчат. Ему один раз сделали замечание

— нехорошо, мол, батюшка! — два, а потом вскочил этот новообращенный черкес, сорвал с себя крестик и влепил им в зубы «святому отцу»...

Как-то так печально Мурад об этом рассказывал, что я подумал: не о себе ли самом?

Пишу и плачу...

Разве можно, казалось бы, мне, русскому, православному об этом писать?

Но есть, есть, выходит, такая необходимость — душа требует, потому что глаза уж больно многое видят и уши многое слышат...

...В зал Кремлевского дворца вбежал как раз в тот момент, когда только погас свет, но сцена светилась ярко, и было видать, что свободных мест много, в том числе и в самых первых рядах...

Когда неделю назад покупал билет, улыбнулся кассирше, примерно своей ровеснице: «Не могли бы дать мне местечко посредине в самом дальнем ряду?.. Дело в том, что на съезде комсомола в одна тысяча девятьсот шестьдесят бородатом году там сидели наши сибиряки... молодость хочу вспомнить!»

Она понимающе рассмеялась: «Возьмите просто входной, все верно. Будут места. Русская народная музыка — это вам не Пугачиха с Киркошкой... так мы нынче живем!»

Быстренько прошел со своей верхотуры вниз, сел во втором ряду, чуть справа.

Наши, майкопские, были на очень высоком классе, вровень с самыми именитыми из тех, кого пригласил выступить вместе с собой руководитель Национального, так он теперь называется, академического оркестра народных инструментов России Николай Калинин — а уж он-то знает, кого приглашать. И вот после «нашего» номера, когда раздались первые хлопки, настал и мой час, опыт есть. Сложил ладони рупором, заорал:

— Майкоп — молодцы! Толя — браво!..

Следил само собою за Шипитько, но он в мою сторону не посмотрел, не подал вида, что слышал: только и того, что я об этом, как стреляный воробей, по чуть просветлевшему лицу его догадался.

Но как радостно он потом рассказывал об этом в Майкопе общим нашим товарищам!.. Как мне жал руку:

— Ну, молодец!.. А я и забыл, признаться. И тут вдруг — не где-нибудь, а в Москве, в Кремлевском дворце!.. Наши потом неделю ходили радостные...

У меня прямо-таки сжалось сердце: как мало надо для счастья, как говорится!

Которого эти-то — «Пугачиха с Киркошкой» да иже с ними — чуть не каждый день черпают такою бесстыдной мерой...

И все я вспоминал и неполный зал, и бедноватую для Москвы публику, которая расходилась потом со счастливым светом на лицах...

И еще: все это связано для меня с предшестующим нашим сидением за двумя печальными пирогами. И все мне казалось, что без осетинской да черкесской удали не было бы в тот день для меня «Удали русской»...

Адыгеец Калашников

В одной из папок нашел любопытное письмишко, которое получил в Москве несколько лет назад:

«...разрешите передать привет от всей Адыгеи, которую Вы любите, уважаете, и где есть у Вас преданные друзья, к которым присоединяюсь и я.

Я давно искала с Вами знакомства, но Ваш адрес попался мне в руки только сейчас... Мне скоро стукнет семьдесят, и на старости годиков семь как занимаюсь литературной деятельностью. Написана книга о Казбиче «Тугужоко Казбэч в легендах и преданиях», идет редактирование, спонсор имеется, вторая тоже на старте в виде черкесских и славянских этюдов.

Меня, как адыгейку, волнует судьба черкешенок, вышедших замуж или похищенных, или в виде живых наград оказавшихся женами русских. У меня много интересных фактов.

Я была приятно удивлена, обрадована, и чувство гордости переполнило мое сердце, когда я узнала, что мать Михаила Калашникова была черкешенкой, похищенной и увезенной далеко.

Потом мне дал кубанский Нестор (Иван Григорьевич Федоренко) «Кубанские новости», где была «От чужого порога до Спасских ворот» и Ваши встречи с Калашниковым напечатаны. Известие, что мать Калашникова была черкешенкой, там хорошо высвечивается.

Вам теперь ясна моя цель. Мне нужен адрес Михаила Тимофеевича Калашникова. И чем быстрее, тем лучше. Расскажите ему об этом письме.

Г. Л.! Вы, может быть, это знали, но открыто об этом не пишете?!

Черкешенки получали новое имя и отчество при крещении в те времена. Да и сейчас, когда без согласия ее родителей выходит замуж адыгейка, то жених увозит ее в другое место, чтоб не забрали ее родители его невесту.

До революции да и сейчас все стремятся на Кубань, зачем семье Калашникова покидать этот благодатный край, где казак получал земли достаточно, чтобы прокормить семью?

Таких примеров много, и я хочу доказать Михаилу Тимофеевичу, что в нем течет адыгейская кровь, что в нем черты настоящего адыга по его характеру.

И еще: может быть, Вы располагаете сведениями о других личностях, связанных с адыгейками?

Я такой материал собираю под условным названием «Русские черкесы», начиная с царицы Марии Темрюковны.

Простите, что отняла у Вас драгоценное время, но, может быть, познакомившись с моим письмом, Вы тоже узнали кое-что для себя интересное.

Спасибо Вам за внимание к моему письму. Расскажите Михаилу Тимофеевичу, а, может, пошлите письмо, так будет еще лучше.

С приветом и наилучшими пожеланиями
Мира Хаджи-Исламовна Меретукова.
Тахтамукайский район,
аул Афипсип.»

Все, конечно, не совсем так: скорее всего «черкесской» сама по себе была книжка Калашникова «От чужого порога до Спасских ворот», потому что первая часть ее «родилась» в Майкопе... Я тогда еще не отошел от работы над «Железным Волком»... братцы мои!

Только сейчас пришло в голову, что в каком-то смысле «железный волк» — вот он, автомат Калашникова, этот самый «калаш», который по всему миру «выгрыз» столько душ человеческих... Недаром ведь чеченцы назвали свой автомат потом — «борз»: «волк». Но хватит, хватит: ассоциации, этот иногда слишком резвый конек писательский, куда только не унесут — домой, конек, домой!.. В стойло рядом с рабочим столом... с моим всегда не очень веселым, а в последнее время — особенно, столом-стойлом.

...Так вот: я тогда не отошел еще от работы над адыгейским романом, а на самом-то деле, если глубже копать,— вообще уже не смог отойти, а лишь сильнее привязывался к адыгской истории, к традициям, к обычаям... Все это невольно сказывалось потом на собственной моей прозе и, хочешь-не хочешь, просачивалось во все, чем бы я после ни занимался... что делать!

«С кем поведешься?..»

В беседах с Михаилом Тимофеевичем, родившимся на Алтае и знавшим о «рае на Северном Кавказе» лишь по рассказам уехавших из Отрадной его родителей, нет-нет да и задевали мы «кубанскую» струну, само собой, она начинала звучать все сильней, а тут ведь часто одно от другого не отделить...

Так или иначе Мира Хаджи-Исламовна, умница и наверняка — чуткая, одаренная тонкой интуицией женщина, многое сумела почувствовать и, как не очень опытная, но отважная пловчиха нырнула в глубины подсознания...

нашим бы критикам да эту интуицию! Но у них — иные заботы, нынче — тем более.

Так меня согрело тогда в холодной Москве душевное письмо из Афипсипа!

Тут как раз Союз писателей России наметил выездной пленум на Северном Кавказе, Ганичев предложил мне на нем выступить, и я решил, что расскажу-ка я эту трогательную историю и прямо там передам Меретуковой книжку «черкеса» Калашникова: тогда она еще была редкостью.

К сожалению, пошли обычные в писательском мире игры: в конференц-зале Белого дома в Майкопе я тянул руку, просил слова, и ведший встречу Исхак Машбаш уже было дал его, но тут же, как будто что вспомнив, жестом остановил меня, сказал на весь зал: «Нет, он здешний, он — наш зять, ему потом слово...»

Не понимавшие, что это значит, русаки приняли это чуть ли не за похвалу, одобрительно загудели, а на лицах многих из майкопчан появились сочувственные улыбки...

И опять я тянул руку, и опять Исхак повторил то же самое — так было, в общем, трижды, слова мне так и не дали.

После встречи я подошел к Мухарбию Тхаркахо, который всегда ко мне хорошо относился. Как бы желая утешить меня, он долго не отпускал руку, и я рассказал ему, о чем хотел говорить, и попросил: мог бы он передать Меретуковой в Афипсип книжку Калашникова?

Он дружелюбно пообещал это сделать, но мой интерес к «адыгству» знаменитого конструктора был уже как-то попригашен, уже пропал...

И вот вдруг среди бумаг в Москве вновь нашлось это письмо из Афипсипа...

И я пришел в Майкопе в библиотеку, в отдел краеведения и у заведующей Сары Мугу, у добрых и симпатичных, как и сама она, ее сотрудниц выпросил «на дом» экземпляр книги Миры Хаджи-Исламовны Меретуковой «Тугужуко Кызбэч»: все-таки она тогда вышла!

Да пусть помогут ей добрые люди, которых, слава Богу, много в Черкесии, издать и то остальное, что она, великая трудяжка, написала уже в недавние годы!

А пока я открываю книжечку в зеленой обложке и с великолепным рисунком, изображающим джигита с его верной лошадью...

И знаю, что мне предстоит удивительное, глубокое и тонкое чтение.

Газырь для денежки

В звенигородской электричке ехал в Москву, привычно всю дорогу читал, а когда уже перед Белорусским вокзалом оторвался от книги, столькое вдруг в освободившейся от работы башочке-то зароилось!

Штука вообще-то любопытная: сдерживаемое интересным чтением подсознание чего только в особом своем накопителе не соберет, а потом все вместе разом и выплеснет — успевай за хвостик поймать.

В этот раз подумал и о своих «Газырях» — недлинных рассказиках, и о газырях вообще, в которые издавна кроме готовых зарядов чего только не определяли: кто — целебный порошок из редкой травы, кто — щепотку родной землицы либо трубочкой свернутую записочку с материнской молитвой...

Маявшийся в последние годы от безденежья, я вдруг невольно улыбнулся: а ведь в газырь, само собой, можно и бумажную денежку засунуть... дали бы гонорар, наконец-то, эх!

И так мне отчего-то сделалось весело и так легко на душе. У кого-то кейс набит пачками «зеленых» в крупных купюрах... у кого-то чемодан, может... или вон хотя бы коробка из-под ксерокса. А мне бы и нескольких сотен «деревянных» наших хватило — больше не дадут. Да и сколько там, если даже очень туго свернуть, в обычный газырь-то влезет?

Посмеиваться продолжал уже на перроне, и замечавшие это люди начинали по сторонам оглядываться: чего он такого смешного видит?

В благостном настроении набрал я номер домашнего телефона Марины Ганичевой — несколько месяцев назад в «Роман-журнале» у нее были напечатаны первые из моих «Газырей». Марина Валериевна, говорю, прошу простить, что в воскресенье лишаю, значит, законного отдыха, да уж больно трогательная и вместе с тем такая по-казачьи хитрованская закралась мыслишка, что не могу не поделиться: в газырь-то ведь — кроме всего «протчего» — можно и гонорар определить!

Она бесхитростно рассмеялась и что-то веселое сказала — а правда, мол! — но тут же вздохнула: такой жалкий гонорар, какие пошли у нас в последние годы,— уж это точно!

Знамое дело, сказал я,— жалкий. Пережили «изобилие», переживем и разлив демократии. Главное: когда к вам в редакцию — с газырем?

— Давайте,– сказала она сговорчиво,— в среду. Во второй половине.

Трубку положил и опять рассмеялся: вышло,— неотразимый аргумент!

То, что в газырь можно денежку покласть... Славно!

Наконец-то получу гонорар

И вдруг перебилось настроение: с силой смежил веки.

Шутишь все. А уж не сума ли это, братец?!

На этот раз в виде газыря...

Конокрад

Этот «газырь» — от художника Мухарбия Гогунокова. Мухарбий живописец, чеканщик, гобеленщик — мастер на все руки, причем настоящий мастер. А тут вдруг выяснилось, что он к тому же природный рассказчик, да еще какой редкий: профессионалы называют таких «сюжетистами».

Шли с ним из мастерских, где сидели у Эдика Овчаренко, и Мухарбий говорит:

— Давно хотел рассказать тебе одну историю: вдруг возьмешь да напишешь. Это давно было: в аулеКошехабль сидели за столом, когда вошел высокий старик, которого встретили всеобщим уважением. Усадили на почетное место, выпили за его здоровье, потом кто-то просит: мол, рассказал бы эту историю — как ты украл у казаков лучших лошадей.

— Да ну,— он говорит,— в Адыгее уже не осталось, кто бы не знал эту историю.

А ему: вся Адыгея, может, и правда, знает, но наш майкопский гость — нет, расскажи.

Вот он: ну, слушайте. Был двенадцатилетним мальчишкой, когда в доме у отца собрались самые отчаянные джигиты, чтобы договориться, как украсть лошадей у богатого казака, который берег их пуще глаза...

Всей ребятне, говорит, велели уйти, а я непослушный был — забрался под стол: сижу, притаился.

Вот каждый рассказывает о своей попытке, и все сходятся на одном: эти лошади, видно, приучены в случае чего звать хозяина... Как только почуют чужого — тут же начинают громко фыркать, ржать, бить копытами. Выбегает хозяин с винтовкой и — спасайся, как можешь...

Сколькие так вот ни с чем убегали!

Говорили они, говорили, спорили-спорили, но так ни до чего не дотолковались: решили, что обождут еще одного большого знатока лошадей и отчаянного храбреца, который давно уже уехал в Шапсугию и вот-вот должен вернуться...

— Но я,— говорит,— решил никого не ждать. Пробрался ночью в станицу, нашел этот казачий двор, тихонько зашел в конюшню... И только приблизился к одной из лошадей, как она заржала, да так громко!

Я, говорит, не придумал ничего лучше, как упасть в кормушку, лежу, вдруг двое казаков — цап меня!..

Связали, бросили в бричку, закинули в нее две лопаты. Сами с винтовками сели в передке, куда-то поехали.

Остановились за станицей, взяли лопаты и стали яму копать...

По-русски я тогда, говорит, почти не понимал, но тут вдруг дошло: один говорит, что надо поглубже, а другой — для этого сопляка и такой ямки хватит...

И так мне, говорит, сделалось жутко: как закричу!..

Да так, говорит, страшно закричал, что кони испугались, рванули бричку и понесли по степи. Меня, говорит, подбрасывает на дне,— как не выкинет, то я вниз лицом, а то вверх: ночь, говорит, звездная была — такие над головой прыгали звезды — на всю жизнь их запомнил.

А утром, уже совсем рассвело, бричка остановилась, какие-то люди по-русски заговорили, зашумели вокруг... Подняли меня, развязали. И что-то все друг дружке доказывают... На дороге несколько возов с мешками: видать, на мельницу ехали. И вот одни, стало мне понятно, кричат, что меня надо забрать с собой и отвезти потом в станицу — пусть-ка атаман потом разберется, а другие их упрекают: да разве, мол, неясно и так?.. Хотели у мальца бричку отобрать, связали его, а тут кони и понесли — у черкесов они такие ушлые!.. Это надо уметь — так лошадей выучить, чтобы сами все понимали... Спрашивают у меня: так дело было, все правильно?.. Киваю им: так, так! Спасибо, говорю, что развязали. Спасибо, что спасли!.. А из какого ты, спрашивают, аула? Сказал им, а они: далеко тебя лошади унесли! Да оно и видать: хорошие кони, береги их!.. Показали, в какой стороне мой аул, дали на дорогу хлеба. В ручье на краю умылся и въехал в аул как герой... как самый настоящий джигит! Какие были, и правда, кони!.. Какая бричка была: недаром перед этим несколько лет не давали покоя всей Бжедугии... Так я в свои двенадцать лет сделался самым известным конокрадом!

Спрашиваю: а сколько еще потом коней увели?

Слава Аллаху, отвечает,— больше ни одного не увел. Даже не пробовал. Может, потому и остался самым удачливым?

...Рассказал это Мухарбий, мягко советует: мол, прибавишь, что надо — может, тебе, и в самом деле, этот мой рассказ пригодится?

Решил ничего не прибавлять, стал записывать по возможности слово в слово... А сегодня, когда пересказ подходил к концу, вдруг подумал: а не получится ли с этой историей точно также, как с «Воспоминанием о Красном Быке»?

Не стал заниматься литературным украшательством, попробовал сделать его как бы попроще, а Нальбий Куек потом сказал мне: что ты наделал?.. Судьба один раз дает писателю сюжет вроде твоего, это ты понимаешь?.. И надо воспользоваться этим на все сто процентов. Очень хороший рассказ, ничего не имею против. Но он похож на крепкий крестьянский дом. А ты на этом сюжете должен был построить великолепный дворец, красота которого была бы понятна в любой части света. Мол, понимаешь?.. Насколько ты рассказ приземлил. А на самом деле ты должен был написать небольшой, листов на пять-семь, крепкий — в расчете на мировую известность — роман.

И так он все это убедительно говорил, что я даже взялся было такой роман писать: как лежал израненный натравленными на него семью бугаями, умирающий Красный Бык, на носу у него сидел овод и кусал так безжалостно, что эта боль, казалось, была невыносимей всего остального, но он не мог не то что головой шевельнуть — не мог легонечко фыркнуть, и бессильные слезы текли у него и текли... И как внезапно спугнула овода большая бабочка, севшая на его место, как маленькие птички склевывали засохшую кровь, обрабатывали рану, как деловито похаживала потом у него по спине ворона, а напротив, положив голову на лапы, лежал и внимательно смотрел ему в глаза тоже оставшийся без Хозяина и все понимавший старый пес, который будет потом идти впереди и указывать ему дорогу в тот самый «хитрый загон» — в скрытый завесой водопада разлом между скалами, за которым лежит стиснутая горами большая поляна с сочными целебными травами... Ну, так мне вдруг сделалось ясно, как надо написать такой — не на всемирную известность, значит, расчитанный, а просто подтверждающий единство всего сущего на земле — маленький и крепкий роман...

Может быть, теперь случилось почти то же самое?

Если вдуматься: какое богатство ощущений, запахов, звуков, красок, какие перепады чувств... а главное, может быть,— это общая тогда мать-земля, Кубань наша, лежащая еще в удивительном своем естестве, насельники ее, черкесы и казаки,— и те, и другие жестокие и одновременно доверчивые, как дети, недаром же главный герой здесь — мальчик.

Как знать!

Но чувство благодарности ко Всевышнему за то, что удивительные сюжеты нет-нет да упадут тебе в раскрытую душу — тихо, как желтый лист на плечо, как первый снег на подставленную ладонь — это чувство заставляет тонко щемить сердце...

Спасибо тебе, Мухарбий: сгодился твой рассказ, видишь!

Абрикос-кормилец

Нынче утром с дерева в конце огорода стряс три последние абрикосины — рябенькую и мелкую надзелень. А до этого почти три недели подряд подбирал упавшие ночью переспелые сочные плоды, чуть надтреснутые от удара оземь, с крохоткой застрявшей в оранжевой кожуре черной землицы, со слегка помятым красным бочком...

«Ел» тут не подходит, и правда.

Вкушал эту полузабытую в Сибири да в Москве, такую знакомую с дества вкуснотищу и все вспоминал рассказ деда Мастепанова, Сергея Данилыча, о том, как в голодный сорок седьмой год абрикоса спасла Петровку, в которой он тогда, после восьми лет отсидки в «Ухтпечлаге», учительствовал.

В тот год стояла страшная засуха, все сгорело, в полях почти ничего, но абрикоса в лесополосах уродила как никогда: стояли от нее желтые.

Вот и принял председатель колхоза решение: трудный год пережить за счет абрикосы.

С утра и до поздней ночи бабы с тачками и ребятишки собирали «кургу» и перли в село, тут ее кололи и на решетах выставляли на солнце, а битая да переспелая «размазня» шла на пастилу — чуть не километры, посмеивался Сергей Данилыч, давили каталками, на пустом току лежали словно половики — и шла на самогон. Гнали централизованно, так сказать, в лаборатории, оставшейся в то лето без дела, гнали на селе в мастерских и гнали на полевых станах. Мастерицы-подпольщицы, которых до этого милиция гоняла также старательно, как они — свой продукт, дождались не только амнистии — получили официальный заказ и на колхозный — где шаром покати — склад за трудодни «абрикосовку», как молоко, сносили накрытыми тряпицей цебарками.

Была у председателя и особая забота — косточки. Сладкие — от «калировки». За них давали завышенный трудодень, потому что выдавать потом должны были для детей... Господи, Господи!

Игра ли это была, в которой вдруг все самое живое участие приняли?.. Или была жестокая, все еще на границе смерти, послевоенная жизнь?

Не успел тогда Сергея Данилыча расспросить о придумавшем все это председателе: был это, пожалуй, полнотелый из-за болезни Хрулев, часто бывавший у нас дома дружок отца, угощавший его абрикосовым самогоном, аромат которого помню и до сих пор.

Самогоном да сушкой с пастилой на закуску получили на трудодень, да какой он вышел богатый!

И Петровка загуляла.

Сначала то в одном, то в другом конце вместе «давали песняка», потом стихали женские голоса и набирали силы мужские: начинались фронтовые воспоминания и битье в грудь.

Ближе к полночи в уже наступившей тишине раздавался торопливый перестук тачки: кто-то из баб несся на другой край села — за «хозяином», которого пощадила немецкая пуля, но сбила таки с ног своя «абрикосовка».

— Я тогда на квартире жил,— рассказывал дед Мастепанов,— дак там самогон стоял в бачке, прикрытом досточкой, а сверху — перевернутый корчик. Загорелся — бери, пей... Была у меня стоводы. Или срединочи: исть захотелось— встанешь, из корчика хлебнешь, и все веселей!

После смерти жены Мастепанов уехал из своей Красногорки, потерялся из виду... Стал сейчас припоминать его речь — именно так он и говорил. Посаженный за то, что в глухом селе на Кубани занимался языком эсперанто и был членом какого-то модного тогда международного комитета по эсперанто... Выучивший в лагере пять языков: «Так, Леонтивич, вышло: сидел министр иностранных дел Польши, учил меня ангийскому, был аргентинец, от него я узнал испанский, был один итальянец...»

Но хватит, хватит!

А то бесконечная цепь ассоциаций уже уводит меня в Сибирь, где непокорный директор завода железобетонных изделий из Мысков, которому в администрации в Кемерово «кислород перекрыли», уводил весною в тайгу весь коллектив: собирать кормилицу-черемшу.

Колбу‡

Но что это... что это?

«Идет война народная — священная война!»

А теперь?..

«Черная блестящая пахота...»

Подумал вдруг, что в Майкопе, я — как рыба в воде...

Как, может быть, когда-то — в счастливые времена в Москве?

Позвонишь, было, банному своему бригадиру Леве Скворцову, доктору филологии, профессору:

— Лев Иваныч, извини, милый...

Ну, и задаешь вопрос насчет замучившего тебя какого-нибудь очень старого либо «областнического» словечка: растолкуй, мол, значение — прав я или неправ?

А тут вот уже перед самым Новым — 2004-ым появились мы снова на нашей Первомайской в Майкопе, включил я компьютер, и первым делом выдал он эту «Черную блестящую пахоту»: заголовок очередного «газырька», который не успел начать... какого?.. О чем?!.. Столько времени пролетело: страхи перед операцией, поиски денег на нее, сама операция и боли после, лежание в этом «Центральном госпитале Главных космических войск» в бывшем Голицыне-2, закрытом попрежнему нынешнем Краснознаменске — здесь и не то забудешь!

Позвонил Нальбию Куеку, говорю: есть, мол, кажется, такая черкесская скороговорка — насчет черной блестящей пахоты?..

Очень ответственно отнесшийся к делу Нальбий тут же «заджерготал», как в моей Отрадной сказали бы, по-адыгейски, а заодно и переводил для меня: «Черная пахота, да... блестящая как масло... как жир...»

И только потом я узнал, что помогал он мне уже в новом качестве: всего за час до этого комиссия по премиям Республики Адыгея назвала его лауреатом в области литературы, причем вообще единственным лауреатом на этот раз — за него проголосовало большинство, которого не хватило остальным, кто — как в том анекдоте про петуха — на этот раз «не догнал, а только согрелся»...

Поговорили с Нальбием о Юре Кузнецове — нынче как раз его «сороковины». Юра Нальбия переводил: одного из очень немногих.

Нальбий прочитал несколько строк из пророческого стиха Юры о том, как после его ухода откроются двери, и люди подумают: ветер!.. А это вернется он, Юрий Поликарпович... И прочитал несколько строк из статьи Кирилла Анкудинова о Кузнецове, в том числе и о том, какой штормовой ветер был на Кубани в тот день, когда ушел Юра... И в Тихорецке, на его родине, и в Ленинградской — станице Уманской, где он жил после, и в Краснодаре... а любопытное дело! Ведь это все к тому — к «черной блестящей пахоте».

Много лет назад в старенькой «Волге» где-то за Удобной мы ехали в гору, и перед нами тянулась вверх бесконечная черная пахота, а над нею висело яркое голубое небо...

— Какая красота, Господи! — сказал я со вздохом.

Кроме водителя и Славы Филиппова, все эти поездки по малой родине обычно организовывавшего — великая тебе, Станислав Кириллыч, за то благодарность! — в салоне сидели два молодых художника, недавно приехавших «по распределению» на нашу «камнерезку», на Отрадненскую камнерезную фабрику. Один и говорит:

— Вы это серьезно, Г. Л.?.. Или над нами шутите и увидать хотите, как мы эту вашу шутку воспримем?

А я давно уже не был в наших краях: не исключено, что внутреннее зрение как бы ожидало красот, которые появятся тут же, как только на нашей «лайбе» мы на гору поднимемся. И я с чистым сердцем говорю: мол, какие тут шутки — красота, и правда что, потрясающая!

— Нет, это вы — серьезно? — обиженно допытывался один из москвичей-новоселов, и по тону его было ясно, что я оскорбил в нем то самое чувство, которое громко именуем эстетическим: как же, мол, так?.. Мы, профессиональные художники, никакой красоты тут не видим, а вот вы, мол,— художник слова всего-то навсего...

Прошло лет пятнадцать.

Однажды в три часа ночи в нашей квартире в Москве, на Бутырской, раздался звонок в дверь, я, недоумевая, кто это может быть, поплелся открывать.

На пороге стоял средних лет мужчина с бородкой, в берете и с сумкой на плече:

— Узнаешь меня, Г-гарик, н-нет?.. П-помнишь, мы ехали за Удобной в машине, и ты говоришь: какая красота!.. Казалось, что там, ну,— что?.. Черная земля и голубое небо... думали, и в самом деле, ты нас разыгрываешь. А сейчас засиделся в мастерской... Валюха дома спит давно, а я засиделся, по нескольку капель взяли, и тут вдруг вспомнил и это голубое небо, и черную пахоту...

— Валюха, это — кто? — спросил я.

Надо же было хоть что-то спросить.

Он назвал нашу, отраденскую фамилию:

— Помнишь наверняка?.. Это Валюхина мама. Поженились мы, в Москву переехали, тут дела у меня пошли, получил мастерскую, есть заказы — работа есть, деньги есть... Но как вспомню эту черную пахоту, это небо... какая, и действительно, красота!..

Провел его на кухню, поставил чай.

А мог бы ты, спрашиваю, заранее позвонить и прийти потом не в три часа ночи, а...

— Позвоню! — кричал он.— Спасибо: давно хотел. Позвоню!.. И мы посидим, и вспомним станицу... какая красота, слушай! Обязательно позвоню!

Но позвонил он опять в три ночи. Опять в дверь.

— Хорошо, что ты дома... думаю, мало ли?.. А я опять сидел в мастерской, опять вспомнил... я ведь по наивности считал, ты нас разыгрываешь... Ты

помнишь?! Ведь ничего больше не было, только небо... Голубое небо и черная блестящая пахота...

Но говорил он не скороговоркой...

Опять всхлипывал.

По чужой земле, которая и для него стала своей...

Лезгинка для смертельно больных

Позвонил Саиду Лорсанукаеву: мол, надо бы повидаться — отдам тебе маленький рассказик «Три пирога», который напечатал наконец-то «Роман-журнал XXI век».

— Надо! — горячо откликнулся Саид.— Давно надо: «трехстороннюю» встречу осетина да казака с вайнахом он вспоминает часто — жаль, что не можем снова теперь собраться в том же составе... мир праху великого джигита Ирбека Кантемирова и светлая ему память!

Повидаться договорились через неделю: Саид сам позвонит, предложит день и час встречи...

И тут он пропал.

Разыскивать его я не стал, сложилось так, что было тоже не до того, а после уехал сперва на Кубань, в свою Отрадную, потом надолго застрял в Майкопе у родни да у черкесов, у кунаков.

«Болел Саид, причем сильно — не дай Бог никому так болеть! — сказал мне наш общий товарищ Володя Ряшин, когда через полгода я вернулся в Москву.— Пожалуй, на краю был, еле вытащили. Печень его давно прихватывала, а тут началось такое обострение — не обойтись без операции, но наши хирурги отказались. Специалиста в конце концов нашли во Франкфурте, но клиника запросила такие деньги!.. Хорошо, скинулись земляки-чеченцы и Дума маленько помогла — он был тогда уже помощником Селезнева, Саид. Из Германии вернулся еле живой, но сейчас начал отходить помаленьку, уже берет трубку — позвони ему, он спрашивал, как ты и где.»

И вот сидим в необжитом кабинетике Саида в Государственной Думе: я только что вручил ему экземпляр журнала с подборкою своих «Газырей», а он уже успел отдариться только что отпечатанной в издательстве «Воскресенье» книжкой «Дожди меняют цвет»... да что там книжкой — огромной книжищей!

— До электрички как-нибудь дотащу, а там сын меня должен встретить,— пошучивал, принимая прекрасно изданный увесистый том форматом больше обычного.— Как ты-то ее донес — тоже небось твой Асланбек привез тебя и поднял твои «Дожди» на этаж... или — «своя ноша не тянет»?

— Ноша, да! — откликнулся он таким тоном, что было ясно: истолковал мои слова на свой лад.— То, что всю жизнь в себе носил, это ты — точно! Здесь собрано практически полностью, что когда-то было опубликовано и на Кавказе, и в центре: детство, ссылка в Казахстан, возвращение, схватка с партийными чиновниками и люди, люди — Чечня мирная и Чечня военная... встречи с Джохаром, когда я ему сразу сказал: э, нет!.. С Басаевым, который был тогда другой парень... с полевыми командирами и с нашими генералами... да вот, дай-ка...

О, родной мой Кавказ!

О, спаявшая нас потом и кровью моя Россия: вон как все переплелось в тебе, как срослось!..

Чувства явно переполняли Саида: характер из тех, какие называем взрывными.

— Торжественно обещаю прочесть в кратчайшие исторические сроки,— не выпуская «Дожди», сказал я на той же полушутливой ноте.— Обещаю!.. Но что мы с тобой за люди? Так нас с стобой перестанут числить кавказцами: нет сперва — о здоровье, сразу о книжках... как ты?.. Володя Ряшин мне рассказал, и я порадовался и за тебя, и за твоих земляков: все-таки здорово, что собрали деньги, отправили тебя в этот немецкий госпиталь...

В голосе у Саида послышалась скрытая усмешка:

— Кое-что мне там пришлось и самому собирать...

— Не хватило?

— Тебе расскажу,— сказал он по-дружески ворчливо.— Поймешь, чего не хватило... кому из нас...

На какое-то мгновение смолк, а когда заговорил, то голос его стал крепнуть, а глаза будто набирали молодечества, которое тут же источалось на все вокруг:

— Понимаешь: эти проклятые зеленые бумажки были уже у них. Но дело оказалось настолько плохо, что профессор, немец в последнюю минуту говорит: хоть вы и подписали бумагу, что согласны на любой исход операции... что ответственность будет только на вас... решиться я не могу: не сомневаюсь — не выдержите. И тогда, знаешь, что?

Он снова смолк, а я, вроде бы понимающе, спросил:

— Тогда тебе и пришлось?..

— Пришлось! — сказал он громко.— Пришлось. Смотрите, профессор, я закричал. Смотрите, как перед смертью вайнахи пляшут: ас-са!.. И посреди кабинета лезгинку как ударил!

— Лезгинку?.. Ты?!

— Откуда силы взялись... я в жизни так не плясал, как тогда!.. Конечно, не весь танец. Упал на одно колено перед красивой секретаршей, у которой только что эту бумагу подписал. Смотрю на нее, как джигит смотреть должен, а она за сердце схватилась, в кресло падает... Крепко поцеловал ее, оборачиваюсь к профессору: как вы решите, доктор!.. Но я готов. А он — почему-то шепотом: немедленно в операционную. Немедленно!..

...Ехал я потом в полупустом вагоне электрички, держал «Дожди» Саида в руках. То подносил поближе, вчитывался, а то по старой профессиональной привычке принимался листать, пытаясь угадать наперед, что же это все-таки за книга, чего в конце концов стоит... Опять склонялся над текстом и опять, оставив закладкою большой палец левой, прикрывал том задней обложкой, пристраивал на коленях и невидящими глазами подолгу смотрел в окно…

Снова вдруг вспоминал как бы полунасмешливый рассказ Саида о стремительной лезгинке посреди чинного кабинета профессора в благопристойном и дорогом немецком госпитале, и начинало казаться, что одна эта маленькая история — как стальная пружина сжатая, как неистребимый зародыш тугая и плотная — сама по себе стоит этого любопытного и глубокого, я уже успел понять это, наполненного болью отзывчивого сердца тома... или не так, не так?.. Она — как бы некая концентрация всего в нем написанного, естественное его продолжение... естественное?!

Легко сказать.

Само собой, что этот маленький рассказ о несгибаемом мужестве пишу после того, как прочитал «Дожди меняют цвет» целиком: я ведь как бы искал в ней не только личностную разгадку Саида, но и некую общую чеченскую тайну, которая, конечно же, есть... Сказать при этом, что есть она у чеченцев как есть у всякого другого народа, хоть многочисленного, а хоть малого по числу — значит, ничего не сказать.

Какая это тайна? В чем именно заключена? Как ее понять? Как, не посягая на чужое достоинство, сделать ее безвредной для нашего взрывоопасного мира? Как ее «в мирных целях» использовать?

Прежде всего — во благо истекающего кровью Отечества…

А любопытное дело, правда: в былые времена на Кавказе жизнь путника почти напрямую зависела от того, верно ли он угадывал в приближающемся всаднике кабардинца либо, предположим, лезгина...

Какой издалека подать встречному добрый знак?... Как его приветствовать, с чего начать разговор, что спросить?

Нынче же на узкой тропе, бывает, встречаются два народа, но ни один при этом не отягощен знанием характера другого, привычек его, давних традиций и недавно обретенного опыта... И каждого одолевают национальные амбиции, только они... а-ей!

Как восклицают мои кунаки-черкесы.

Тропа, и в самом деле, стала слишком узка, а горы как всегда высоки и ущелья между ними почти бездонны!..

Или все дело — в ненадежных наших проводниках, которые и той, и другой стороне клятвенно обещали вывести из опасной местности, а, оказалось,— лоб в лоб столкнули?

Выходит, уплаченные и теми, и другими большие деньги для них не главное. Главное — большая кровь.

За дружеским столом, за хлебом солью, когда душа распахнута больше, а язык становится искренней, мои друзья на Кавказе говорят: разве не видишь — идет поголовное истребление чеченцев?

— Это где же? — отвечаю.— В том числе — и в москов-ских банках, где кроме еврейских самые большие деньги — чеченские?.. И разве не могу я о русских сказать то же самое: идет истребление?

С вами все ясно,— запросто отвечают мои товарищи.— Это вам самим до сих пор почему-то непонятно, что с вами происходит. Но вы себе можете это позволить — не понимать: вас много!

...Из-за стечения обстоятельств, а, может, по воле провидения, чтение саидовой книжки заканчивал я в Центральном госпитале Главных космических войск в бывшем Голицыне-2 под Москвой, нынешнем Краснознаменске, где мне тоже пришлось несладко.

«Резал» меня заведующий отделением урологии сорокалетний подполковник Сергей Таймуразович Хутиев, неунывающий осетин, а помогал ему печальный, с проницательными глазами ровесник — туркмен Батыр, Батыр Арсланович.

«Лошадиный» укол в крестец отдал им всю мою половину ниже пупа, а я с привязанными по сторонам запястьями, с головою в милосердных, но очень крепких ладонях сменяющих друг дружку «сестричек», как на экран смотрел на белую, отделявшую меня от хирургов простыню, на которой, словно в театре теней, шевелились их руки, наклонялись головы...

Боли не было, только приглушенное новокаином тупое ощущение, что тебя разрывают изнутри, и по тому, как усердствовали, как торопливо перебрасывались словами две другие сестрички, чувствовалось, что и заведующий отделением, и его ассистент тоже вовсю стараются: недаром

Хутиев предупреждал, что оперировать ему придется «дедовским способом», лучшего в моем положении пока нет, и мне придется терпеть «как деды терпели».

Любопытное дело: я вдруг вспомнил Саида, и сестричка, сторожившая на моем лице перемены, спросила как у ребенка:

— Что это мы так улыбаемся?

— Все хочу с джигитами поговорить...

Она удивилась:

— С какими джигитами?

— У которых в руках кинжалы, естественно. В нашем случае — скальпели...

Хутиев вытянул шею над верхом простынки, и в прорези между белой шапочкой низко по лбу и такой же белой маскою на горбинке носа глаза дружелюбно, но вместе с тем строго — мешаю работать! — спросили: мол, какие проблемы?

— Помните, конечно, старую кавказскую байку?.. Как пожилой джигит, привыкший жить, само собою, набегами, упрекает молодого: бездельник!.. Ты хочешь жить потом, а не кровью!

— А-а! — протянул он уже из-за простынки, посмеиваясь.— Да-да...

— В этом смысле вы с ассистентом неплохо устроились: добываете свой хлеб и тем, и другим. Пот, правда, при этом льете свой собственный, но кровь-то, братцы, не забывайте это,— моя!

Хутиев как бы поощрил меня тоном:

— Справедливо.

А над чертой простыни поднялись, теперь тоже обрамленные белым, проницательные глаза туркмена Батыра — в спокойной их черной глубине, казалось, жила сама тысячелетняя мудрость Востока: дает же для чего-то Господь такие всепонимающие глаза?!

Несколько дней мне потом было совсем не до книг, вернулся к ним, когда начал вставать, и на плече у меня появилась ну, прямо-таки рыцарская перевязь из бинта либо, если хотите, этакая портупея, на которой вместо шпаги или шашки болталась у бедра потихоньку наполнявшаяся темнобурой жидкостью пластиковая бутылка- «полторашка» с выведенной в нее из нутра пониже пупа длинной, тоже из пластика, прозрачной трубкой.

Вместе с книжкой Саида прихватил еще одну, почти такую же объемистую: «Большая игра на Кавказе». Накануне, тоже с дарственной надписью, презентовал мне ее на Книжной ярмарке молодой профессор истории, доктор наук Владимир Дегоев, осетин: давно в столице, должен прямо сказать, не встречал такого дельного, такого всестороннего и такого открытого иссследования, написанного уверенной и неравнодушной рукой.

И вот я читал сперва о дорогих сердцу каждого кавказца Черных горах, в которых среди забытой в городах первозданной чистоты бродил Саид рядом с народным целителем-«травознаем», а потом откладывал тяжелый лорсанукаевский том и тут же раскрывал «Большую игру»: Кавказская война и нынешние затяжные конфликты, которые точной калькой накладываются на прошлое... Неужели одним только неумолимым временем? Которое не меняет даже состав заинтересованных в бедствиях России ближних и дальних государств...

Откладывал дегоевский том и снова брался за книжку Саида: казалось, перемежая одно другим, как будто легче было добираться до главного, до чего мы все вместе все-таки не доберемся никак...

Саид рассказывал о своем старшем друге знаменитом танцовщике Махмуде Эсамбаеве, которого ему не один раз пришлось сопровождать в поездках по Кавказу, рассказывал очень интересно, и я, улыбаясь не только в собственные усы — уже и в бороду, давно в бороду, размышлял: конечно, с кем поведешься — того и наберешься... Вот, мол, она кроме прочего откуда — лезгинка в профессорском кабинете немецкого госпиталя!

Посмеиваясь уже над собой, подхватывал свою «шашку-полторашку» и, как на процедуру, уходил в места не столь отдаленные, где нашему брату не до смеха... Чтобы невольных слез не видать было, сразу шел умываться, забирался потом на очень высокую кровать, прислонялся спиной к стоящим торчком подушкам. Нащупывал ту или другую книжку, долго сидел, не открывая, а все продолжая размышлять.

И все мне представлялся уже не Саид, нет — как будто другой такой смертельно больной и смертельно уставший человек, который на краю пропасти, что называется «Большая игра на Кавказе», взрывается вдруг всепобеждающей, бесстрашной лезгинкой...

Дружеский укор Коле Медному

Прилетел в Новокузнецк, в нашу Кузню, в центре увидал на тумбе обрывок афиши с фамилией «кошачьего клоуна» Куклачева и вечером у Коли спросил: мол, что? Был тут Юра? Давно?.. Недавно?

Медный усмехнулся:

— Знаешь его?

— Достаточно хорошо,— сказал я.— Одно время, можно сказать, дружили... Я тогда как раз о цирке писал. О цирковых....

В сознании краем мелькнула память о счастливых временах: сидели на представлениях, бродили за кулисами вместе с шестилетним сынишкой, с Митей. Они тогда выступали в одной программе — джигиты из Осетии Кантемировы, ставшие навсегда моими друзьями, и Куклачев со своими котярами... И мы с Митей сперва садились на исходивших парком лошадок, медленным шагом долго выезживали их после стремительной круговой скачки по арене, а потом, когда свой номер заканчивал Куклачев, шли по-болтать к нему в гримерную.

— А ты хотел бы стать клоуном? — спросил как-то Митю Куклачев.

— Ни за что! — ответил Митя испуганно.

Юра удивился:

— А почему?

— Смеяться будут! — простодушно ответил Митя.

Сколько я вспоминал потом об этом сквозь горький, сквозь безутешный плач: через год, когда вместе с таким же, как он, первоклашкой, Митя перебегал улицу, обоих их зашибло трамваем...

— Значит, мы не только — сибирские романы, о цирке тоже писали? — подначил Коля.— Пострел наш везде поспел?.

Пришлось согласиться:

— Не одному же тебе всюду поспевать...

— Да-а,— проговорил он, посмеиваясь не только надо мной — как бы и над собой тоже.— За такими как ты, знаешь... Даже черному полковнику, как ты меня любишь навеличивать...

Теперь уже я взялся подначивать:

— Чего — черный-то?.. Говорят, вроде здорово побелел?

— Давай! — разрешил он с нарочитым вздохом.

— За что купил,— сказал я.— Народ, как ты понимаешь, всегда все знает. Был, говорят. Медный — стал Алюминиевый...

— Давай,— повторил он.— Давай!

Кому-то диалог этот может показаться странным — только не коренному кузнечанину, знакомому с началом «великого бартера» и перипетиями приватизации начала девяностых, с последовавшей за ними громкой стрельбой и похоронами — еще громче...

Медный — Медянцев Николай Федорович — был в то время начальником Новокузнецкой «ментовки», а называть его Алюминиевым стали после того, как он отмазал, говорят, братьев Черных, уже владевших в то время НКАЗом: Новокузнецким алюминиевым... тут только начни! И уже не обойдешься без роскошного во все времена буфета Дворца алюминьщиков,

который в старые, якобы добрые времена называли, конечно же. Дворец алиментщиков: милая чумазая Кузня!

Я тоже хоть неродное твое, как бы внебрачное, но верное дитя, ты это знаешь,— верное!

— У меня с ним вышла история,— сказал Медный.— С твоим Куклачевым...

И я поощрил его дружеским мычаньем: ну-ну, мол...

— «Нечистый» подтолкнул в тот день,— начал Коля.— Прийти в цирк в штатском и усесться в первом ряду...

— Представляю! — обрадовался я.

— Хочешь сказать: с такой-то рожей надо обязательно — при погонах?

— Это ты сказал! — поспешил я откреститься.

Что касается рожи... Припоминаете актера Бельмондо? Знаменитого француза.

Так вот: один к одному.

Ну, тут, правда,— сибирский вариант Бельмондо.

Бельмондо-валенок.

Недаром, и правда что, Юра Куклачев сразу на него глаз положил и тут же записал в свои нештатные помощники: ну, не удача ли?

Сидит здоровяк-придурок, лупает бессмысленными глазами: тут никакой тебе «подсадки» не надо — этот доброволец все сам в лучшем виде сделает!

Со слов Медного, Юра как раз бросал кольца, и они безошибочно падали на головы зрителей и воротничком съезжали на шею.... До тех пор, пока он не налетел на Медного.

Коля отклонил голову, и кольцо попало в живот кому-то во втором ряду. Юра бросил еще раз и снова промазал. То же самое случилось и в третий раз, и в четвертый...

— Он тогда упал мне на грудь... ну, знаешь, как они это делают,— не без нотки пренебрежения рассказывал Медный.— Задрал ногу с громадным башмаком: как будто сам себя им шмякнул по заднице... И в ухо шипит: «Подставь, падла, голову!» Оттолкнулся от меня — опять губы бантиком: мол, до чего душевно поговорили! Снова бросил кольцо, а я опять — раз!

— И он опять не попал?

— Представь себе! — деланно вздохнул Медный.

— Вообще-то на него не похоже,— сказал я с сомнением.— Что касается «физики», у него блестящая подготовка... Снайпер. А во-вторых... «Падла!..» Вроде не его стиль.

Но тут я глянул на рожу этого сибирского Бельмондо... Как иначе с таким-то и разговаривать? Другого языка он просто и не поймет!..

Провокатор, конечно.

Чистой воды!

— А вечером был прием,— сказал Медный.— Администрация расщедрилась. Ну, и — вся городская элита. Драная новокузнецкая знать... А я почему-то решил надеть форму. Столкнулись с ним, он опешил: «Господин полковник! — говорит.— Уж вы извините. Если бы и тогда на вас были эти погоны и френч с этими орденами...» А я ему: теперь, падла, понял, почему мне нельзя подставлять голову?!

...И часто я теперь вспоминаю эту историю Коли Медного с Юрой Куклачевым... ох, часто!

Вспоминаю Кузню тех времен, когда Коле приходилось вертеться, «как змею на муравьище». Столица бархатной шахтерской революции, как же, школа экономических реформ, эпицентр свободы и раскованных нравов, законодательница новых криминальных обычаев — куда денешься?

Что-то он от меня, конечно, скрывал, и это вполне естественно... мало ли?

Писатель, он — и в Африке писатель. И не захочет — между делом продаст.

И в Кузне, жаркой от черной и от цветной металлургии, грязной от шахт, конечно,— тоже.

Коля молчал «как рыба об лед», а то, бывало, нарочно, как неумелую охотничью, сбивал меня со следа.

Но разве у меня у самого, как говорится, глаз не было? Разве напрочь отсутствовало чутье?

Неожиданно входишь в кабинет к знакомому директору шахты,— его охрана и привезла, а секретарша проморгала, на месте не было, и директор светлеет лицом, с явным облегчением опускает приподнятую было якобы деловую бумагу над верным своим, не раз уже выручавшим его вороненым «Макаровым»...

В Новокузнецке тогда были лучшие в России стрелки, у одних с ментами инструкторов, в одном тире, принадлежавшем до того военной кафедре СМИ, Сибирского металлургического института, готовились. Самая организованная, самая безжалостная «пехота» была в нашем городе. Об этом случае и самому пришлось однажды писать: как не поладившие с чеченами московские таксисты не к кому-либо обратились за подмогой — к «бойцам» из Кузни, те цену назвали, ударили по рукам, но наши предложили еще раз попробовать кончить миром с джигитами: иначе, мол, так и скажите, каждый из них «промеж глаз» получит. Джигиты рассмеялись, была назначена стрелка, и не успели они повылезать из машин — каждый свалился с пулей точно в середине лобешника...

Это вам, ребятки в белых носках, не Гудермес и не Центорой где владивостокские «морпехи» за несколько сот сраных ваших «зеленых» накрыли снарядами новокузнецкий «омон» — это серьезно.

Когда я пытался с начальником новокузнецкий «ментовки» «сверить часы», он с нарочитой заботой говорил: «Не понимаю: чем тебе родная «бестолковка» не нравится?.. Почему не бережещь ее?.. Ты что, не помнишь? Кто меньше знает, тот крепко спит. И у него вообще больше шансов: сносить голову.»

Он свою тогда не берег.

Была у него привычка ровно в семь тридцать садиться в кресло к знакомому мастеру в парикмахерской в центре Кузни... Однажды, когда только сел, на улице одна за другой раздались автоматные очереди, он тут же с намыленными щеками выскочил, через несколько минут, разнося сопровождавших его патрульных офицеров, вернулся в кровищи и снова невозмутимо сел.

— Кровь,— прошептал побледневший мастер.

— Ты что, до этого не видал ее? — спросил Медный.

— Я в жизни никого не порезал,— парикмахер продолжал лепетать.

— Представь, я тоже,— сказал Медный.— Но когда я вижу, как это делают другие...

— Их было трое, и Николаю Федоровичу пришлось бить головой,— попробовал парикмахеру объяснить один из офицеров.

А тот уже без чувств лежал на полу.

Но если бы только это... только все это!

Медный был комендантом того знаменитого поезда с тысячью шахтеров, которые в неровный для Кремля час стремительно рванули из Кузни стучать касками по брусчатке на Красной площади: царя Бориса поддерживать.

Потом он мучался, и я это знал. И однажды сказал ему:

— Начальник!.. Сегодня меня вежливо выперли из нашей шахтерской гостинички: приезжает, как понимаю, очень серьезный московский гость. С большой свитой.

— Все областное ГАИ у нас на юге,— он подтвердил.— Перекрыли, что можно и что нельзя... Здесь вся охрана и снайперы. Он должен быть в Прокопе, у соседей: там взрывная обстановка в этих Березовских бараках...

— Но в них, и в самом деле, жить нельзя,— сказал я. Он ответил коротко:

— Знаю.

Накануне мы были там с фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС, давним товарищем, и пока от испитых, с бледными, как ростки картошки в подвале, детьми на руках, нечесаных женщин, получавших на рынке плату отобранным от еще неиспорченных овощей гнильем, я выслушивал жалобы на то, что «хачики», как и «азеры» стали теперь перетряхивать их корзинки и все гнилье, которым они кормились, тоже пускать в продажу, товарищ мой беседовал с участковым, и тот сказал ему: «У каждого в рукаве тут нож, у каждого под головою — топор.»

Чтобы лично контролировать соблюдение прав человека, ну да. Способствовать безоговорочному выполнению хельсинкских соглашений.

Рассказываю потом об этом одному из должностных лиц, как говорится, тоже старому доброму знакомому, и он говорит: «Признаться, был потрясен. Иду там по бараку, навстречу бросается молодая женщина. «Мэр! — кричит.— Или кто ты там?.. Ну, побудь со мною хоть ночь!» Я ей говорю: кроме прочего, стыд давно потеряли — так вот, в лоб. Принародно. А она: не о том, мэр, подумал!.. Ты будешь крыс отгонять, а я хоть ночку да спокойно посплю!

И я сказал ему на горькой, на лихой полушутке:

— Медный! У тебя твердая рука и доброе сердце. И у тебя будет шанс. Не только отмыться самому — может быть, спасти честь всего русского офицерства... Не говоря о чести нашей любимой Кузни, где весь этот бардак начался...

— Думаешь, в патроннике у меня паутина? — очень серьезно спросил Медный.— И мой «парабеллум» прямо-таки истосковался по запаху пороха?

— Уверен.

Я, и в самом деле, был тогда в этом уверен. Если не окончательно заскорузла душа, тут много не надо: достаточно час-другой послушать жильцов этого самого нищего, самого беспросветного угла стоящей на шахтовых провалах, постепенно уходящей под землю, в ад, богатой некогда Прокопы.

Люди в Березовских бараках в тот день стояли с утра на пороге, ждали очень большого московского начальника... Когда над головами у них послышался мощный гул винтов пролетавшего не очень высоко вертолета, они даже не подумали, что это и есть долгожданная встреча с ним...

Не сомневаюсь, Медный и там смог бы его достать.

Несмотря ни на какую охрану, где угодно достал бы.

Если бы на это решился.

Но, видимо,— нет.

И я вот все думаю: Коля, Коля!..

Ну, что же ты, а?..

Несправедливо!

Не захотел тогда помочь старому моему товарищу доброму клоуну Куклачеву, Юре-кошатнику. Решил не подставлять ему голову...

Но скольким ты и до этого и потом отзывчиво и по-русски простосердечно ее подставил?!

Каких только клоунов, каких только «коверных» и «рыжих», каких комедиантов, каких лицедеев, каких только фокусников, каких иллюзионистов, гипнотизеров, жонглеров, эквилибристов, имитаторов, каких ветхозаветных магов и якобы обрусевших факиров, каких только высокоодаренных мастеров гнать, как в цирке, понтяру... а лилипутов? А дрессированного зверья-то, зверья?!

Посадил себе на шею тысячи попугаев и говорящих с экрана телевизора обезьян, сотни ученых ослов и хорошо вымуштрованных козлов, которых, послушные бараны, мы одарили статусом неприкасаемых и непререкаемым правом решать наши судьбы... да что там — себе!

Кабы себе одному!

Наша Кузня посадила на шею их всем и каждому.

По всей Руси-матушке...

Черномазые скифы

В вагоне поезда «Москва-Новороссийск», который, дабы объехать самостийную Украину сторонкой, уходит теперь с Павелецкого вокзала, мы с восьмилетним внуком стояли у окна, и к нам присоединился, наконец, никак не решавшийся до этого подойти мальчик годками двумя-тремя младше.

«Становись поближе, чтобы хорошо видать было,— поддержал я.— И давай знакомиться. Как тебя звать-величать?»

Он оторвал подбородок от майки с крупной надписью, извещающей на английском, что ее владелец — чемпион, и негромко сказал:

«Кирилл!»

«Вот и прекрасно,— продолжал я привечать его.— А это — Гаврила, познакомьтесь. Кирилл и Гаврила... а по отчеству тебя как?»

«Что?» — спросил он растерянно.

«У каждого человека должно быть имя и отчество, ведь так?»

«Так» — согласился он еле слышно.

«Вот, видишь... как папу твоего звать?»

Он снова подержал подбородок над высокими английскими буквами, глядя себе под ноги, потом скороговоркой сказал:

«Они разошлись, отец у меня другой, поэтому я еще точно не знаю, какое у меня отчество!»

На больной мозолишко мальчонке наступил со своим непрошенным просветительством, слон!.. Раненое сердечко задел.

Взялся говорить что-то утешительное и как бы извинительное: да, брат, случается, мол, и такое, что с этим приходится обождать, с отчеством, да, бывает.

Он снова горячо воскликнул:

«И фамилии своей я точно не знаю — они пока спорят!»

«Смотри, смотри, вон тоже такой холмик!» — затеребил меня внук, и в голосе у него послышалась явная нарочитость.

Решил прервать неловкий разговор из сочувствия к новому знакомцу? Или припомнилось свое горькое житье меж разведенных родителей?

«Я тоже хотел спросить,— искренне поддержал Кирилл, показывая на крошечный из-за далекого расстояния терриконник на краю уже сильно порыжевшей от летнего солнца степи.— Это что там?»

Дали великовозрастному долдону возможность искупить невольную вину, да еще каким, каким образом: подвели любимого конька. Шахтерского!

И я распелся во-всю: это как же, мол, братцы, так? Дожить до ваших годочков и до сих пор не знать, что это за холмики? Ну, Кириллу, еще простительно. Но тебе, Гаврюша, тебе! Сколько дедушка о сибирских шахтах рассказывал? Сколько — о горняках? Смотрели в книжках, на фотокарточках смотрели. По телевизору. И ты не помнишь? Ну, слушайте оба!

В красках взялся повествовать о сдавленных толщей земли пластах угля в темной глубине, о том, что до глубины до этой сперва добраться надо, а как?.. И вот шахтостроители, а потом уже и сами шахтеры выкапывают подземные ходы, длиннющие коридоры, а земельку, в которой нет угля, п о р о д у, в специальных вагонетках отправляют наверх, и там появляется поначалу маленький бугорок, чуть больше таких, какие хомяки нарыли, да, правильно, а потом он все растет и растет, этот бугорок,— целая гора подымается...

«Да вон, вон — пожалуйста! — показывал я за окно, где над выплывшим нам навстречу вместе с чахлыми кустами вокруг него, уже заброшенным терриконником отчетливо видна была вознесенная рельсами над его макушкой металлическая площадка.— Вагонетка доходила до края и сама на

верхушке опрокидывалась, и так и месяц, и три месяца, и несколько лет — вон, во-он он получился какой высокий!»

«Гляди, гляди,— перебил Гаврила.— А это что?»

Неподалеку за окном показался давно потерявший форму оплывший холм с плоской залысиной, обросшей жухлым бурьяном.

«Тоже был терриконник» — сказал я.

«Да?! — переспросил Гаврила с интонацией начинающего, но уже достаточно поднаторевшего правдоискателя.— А кто мне в прошлом году доказывал, что это — скифские курганы, под ним похоронены богатыри и герои, и можно на ночь кувшин на курган поставить, в него опустится душа богатыря. Тогда можно домой кувшин принести, сесть возле него тихонько... ну, или ночью, когда все спят. С богатырем даже можно поразговаривать... кто это говорил, кто?!»

«Ым-м-м,— протянул я на черкесский манер, словно отдавая дань древней легенде, о которой напомнил внук.— Видишь ли... тут дело такое... такое дело...»

«Ну, какое, какое?» — продолжал он настаивать. «То было на Кубани, там нету шахт. В Адыгее. А скифские курганы пока остались... Это разные вещи, как говорится... совсем разные...»

Я словно в чем-то нехотя оправдывался. Вяло-вяло!..

А скорость, почти космическую, и правда, потому что в долю секунды тут где только не случится побывать — не только в другом краю или в другой стране, но на планете на соседней, в дальних мирах, на скопление которых когда-то глядел в мощный телескоп, БТА — большой телескоп азимутальный — у астрофизиков за Зеленчуком, под Архызом, так вот — этот проникающий всюду напор приобрели вдруг совсем другие, другие мысли: а что, мол, что? Мальчишка даже не подозревает, насколько прав, он ведь в самую точку... ведь так оно и есть, да! Уже оплывают холмы над богатырями и над героями только что отшумевшей шахтерской революции... и в самом деле были богатыри? И в самом деле — герои?.. Или обычные горлопаны и путаники, «заблудшие без отпущения греха» простофили, чьими загорбками все, кому не лень, так ловко воспользовались: и чужие аналитики, и родные прохиндеи, и давно ждавшие своего часа ребятки из «пятой колонны», в которой первых от вторых трудно отличить... И вот они еще живы, богатыри сырого и холодного подземелья, герои черной шахтерской преисподней, где удушает не запах серы, а заживо сжигает метан,— они еще живы, но дело, которое сперва в Воркуте, а потом уже в Междуреченске начали, давно скончалось в судорогах и корчах... мало, мало того!

«Сам тогда принес большую такую книгу о курганах, и мы глядели,— продолжал настаивать внук.— Какие они и что в них находят... а то я не вижу: это самый настоящий курган.»

«М-может быть,— бормотал я.— Может быть...»

«Не «может», а точно! — внук торжествовал.— Сам говорил: почему не признаться, если ты понял, что не прав? Признать неправоту, говорил, значит, благородство проявить... честный поступок совершить, ну, говорил?»

«Угу,— мычал я,— угу...»

Прикрыл глаза, но вспышка чего-то, очень похожего на вдохновение, тихой зарницей опять раздвинула темь, опять на миг все-все видать стало: от согнутого шахтерика в черной выработке до Господа Бога на светлом облаке... ну, все-все! Снова сжималось до крошечной, почти невидимой точки и вновь начинало вихрем раскручиваться, как взрыв сверхновой звезды... или китайской шутихи, всего-то... сколько они дерьма своего нынче в Россию навезли! И вот тебе сперва Воркута, потом Междуреченск, площадь Согласия, так дальше жить нельзя, без куска мыла да без батона колбасы, кто на бутылку клюнет — тому пенделя, это все не по пьяни, тут другой счет, думаете, забыли, что такое человеческое достоинство, нет и нет, заря справедливости и чистоты встает над всей громадной страной, над одной шестой частью света, а вы думали, долой привилегии и долой партократов, прокопьев-ский петух кричит: «Ты правь, Борис, п р а в ь!», и он как цепи разбил, все сковывали, а теперь и тому самостоятельность, и этому, всем, да здравстует свобода, заждались, уже не верили, а теперь бартер, о, бартер, мы им уголек, япошкам, а они что душенька пожелает, аппаратурой завалили, чуть не все уже в модных куртецах, и скоро под задницей у каждого не «паджеро» — так «мицубиси», не «мицубиси» — «ниссан», о, бартер, я жил тогда, «тойота», в уютной горняцкой гостиничке в Новокузнецке, в нашей Кузне, собрался раненько утром, а он стоит с задранной крышкой над багажником, чего, спрашиваю, ждешь, на самолет опаздываем, а он: а где телевизор? Какой тебе телевизор, говорю, а он — не мне, а тебе, цветной, разве наши не подарили, у нас только ленивый без телевизора в Москву улетает, ты что, земляк,— и в самом деле, за колбой нашей, за черемшой, за диким чесночком, значит прилетал, ну, даешь! И вот уже большой посредник на малом посреднике сидит и уже полузадушенным посредником погоняет, и только у ленивого теперь нету «Макарова», а у сопливого есть, разборки каждый день, похороны, какие хлопцы, у того жена молодая, у этого осталась невеста, спортсмены были, и правда — богатыри, красавцы, зато уже вилла под Брюсселем, а был комсорг, взносы собирал, теперь в десятке самых богатых, и наши головорезы летят то в один конец страны, то в другой, вот кого потом на войну, а они послали зеленых мальчишек, продажа пошла, морпехи за доллары кузнецкий «омон» накрыли, девятнадцать трупов, а петелька все туже, думаешь один ты крутой, а во всех этих Банках реконструкции и развития тюхи, в Международном валютном фонде лохи сидят, в каком-нибудь тебе Римском клубе фуфло собирается? Шахты стали, одна столярка шевелится, плотникам работа всегда, без гробов никуда, ни зарплаты, ни пенсии, детские пособия бельевыми прищепками, все схватил перекупщик, на базарах по всей России одни только азеры, блин, заплатили,

клянутся за это право, а кому, кому? Сунулись ко всенародно-избранному обо всем об этом потолковать, горнячки-зачинщички со своей правдой-маткой, он сперва морщился, три раза в буфет за стопкой коньячку, потом на кнопку, охранники тут же, коржаковские ребята — прием окончен, господа, вся комедия, все ваши демократические перемены, быдло, плюс окончательная приватизация всей страны, плюс перевод в швейцарские банки, кому на вершину пирамиды, кому к мусорному баку, на свалку, там бомжи собак ловят, собаки — бомжей, кто кого, от одной самопальной водки мрет сколько, а доблестная армия скоро сама себя до одного перестреляет, вот-вот, дальше больше, ага, лучше меньше да лучше, «Как нам реорганизовать Рабкрин», так кажется, рабоче-, значит, крестьянскую инспекцию, а? Для Гайдара с Рыжим Толяном. Для Гусинского с Березовским, для всех этих олигархов, взяли, сколько хапнуть могли, сколько проглотить, ага, а все гордости, гордости, профсоюзов как блох, и чуть ли не каждый независимый, на шахтерском съезде один паренек хорошо информированный интересуется: что, мол, видели своих-то, сибирячков? Шахтеров из Кузни? — спрашиваю. Нет, отвечает. Бандитов. Оттуда же. Со всей страны съехались. Контролируют съезд. А почему, говорит, первого февраля, не задумывались? Он бздит румынского варианта, думал, на Москву пойдут, а ему в день рождения подарок: не бзди! Делай, как скажем, и все тип-топ, а вечером Примаков ему не то что букет — миллион алкиных роз, а этот мальчик, фитилек-то с умной морденкой, начинающий политик, чиновничек будущий, кровосос-захребетничек: рабочее движение, рабочее движение!.. Сказать тебе, где оно теперь, кто его ведет и куда оно движется?!

О, светло светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озерами многими славишься ты, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская...

Вот и закончилась, считай, Великая нейлоновая война, их аналитики готовили столько лет тихой сапой, они нас, и правда, забросали дешевым барахлом, сникерсами-памперсами, прокладками между ножками Буша, все, шахматные часы можно останавливать, игра по Бжезин-скому закончена, мат, стояла, и в самом деле, неодолимая, казалось, империя на гигантском пространстве, досталась от скифов, а теперь мат, все валится и падает, все гниет, не за что письмо послать, по дальнему зарубежью, считай, проехать легче нежели по ближнему залупежью, родным было, а теперь объезжаем, еще бы не мат, мат и водка, а теперь еще наркота, духман, наркомов-то развелось, наркомов, разрушили крепь, как надежные шахтовые стойки убрали из скифского пространства две несущие, две подпирающие словно плечами его буквы «т» — что осталось-то? А все — подъем, наконец, подъем, один ученый гигант талдычит о макроэкономике, другой — о микро-

, в то время как она давно уже у нас стала мокро экономикой: братко-убийственная идет война!

«У нас дома есть очень большой кувшин,— начал Кирилл, и в тоне его пробилась, наконец, гордость.— Он на полу стоит. Во-от такой вот!.. Но человек в нем все равно не поместится.»

«Да не весь человек! — насмешливо, как явно старший, хмыкнул Гаврила.— Душа его. Только душа.»

«Она маленькая?» — поинтересовался Кирилл.

«У кого как» — пробормотал я, все еще находясь в недоступном им пока измерении, в иформационном поле обманутых ожиданий, вероломного предательства и еле живых надежд.

«У кого — такусенькая,— подхватил Гаврила, который в хорошие минуты понимал меня с полуслова.— А у кого...»

И я ему невольно поддакнул:

«Если богатырь — настоящий, а не липовый, то большая душа... широкая!.»

«Да, да,— радовался внук.— Но в кувшин она все равно поместится, даже не в такой большой как у тебя, Кирилл, понял?»

Собственная моя душа как бы по ходу разговора тоже послушно скользнула в кувшин, улеглась на дне крошечным, как мальчик-с-пальчик, печальным человечком... разве я не был с ними душой? Разве это не меня потом тоже обманули и предали?.. Смотрите в оба, говорил, мальчики, не верьте, мужики, знаю эту публику, вместе в университете, в МГУ, мы потом в Сибирь, а они остались лизать начальству, карьеру делать, купят, продадут и еще раз купят, а они, что ты, мол, горняки, на десять метров под землей ви-дим, а не то что, кто обманет, три дня не проживет, эх, а теперь только они и живут, душа, и в самом деле, как в клетке... рванулась, словно пружиной приподняло, стремительно вынесло, подняло выше и выше...

Опять глядел я, как это бывает, словно бы сквозь миры, но с высоты хорошо видать было и великие леса, и великие горы, отделявшие леса от великой скифской степи, видать летящие над белыми облаками маленькие, словно игрушечные самолеты и серой змейкой скользящий по зеленой с рыжими проплешинами земле в разрывах облаков поезд, и двух мальчиков, которые теперь не стояли у окна — бежали от оплывшего холма по жухлой, с порскающими у них из-под ног кузнечиками траве — один из них бережно держал в обеих руках обливной кувшин с узким горлышком, в таких мы после войны носили на покос холоднющий квас, эти кувшины звали у нас бальзанка, и только спустя много лет, когда уже привык рыться в словарях, вдруг понял: от слова бальзам...

...куда они его потащили, Господи?!

И что она им умного, что она им спасительного скажет, душа героя шахтерской революции?

Это я, признается, виновата, я, что каждый из вас, мальчишки, должен теперь мировому сообществу уже по тысяче, значит, баксов... и должен теперь каждый в России шкет и должен каждый, кто еще ходить не умеет и кто еще не успел родиться... как же это могло случиться, ну, как?!

Прокопьевский петух кричит: «Ты правь, Борис, правь!», и тут же его от каменного Ильича посреди города, напротив театра прямо-таки отбросило, в дым, ну, в дым, чуть с трибуны не грохнулся, уже в Новокузнецке шахтерики под руки подхватили, около старой крепости над Томью налили еще стакан всклень, ему можно, в сибирской речке искупаться хочет, в ледяной воде, потом ему хватило бы и слез, и крови и хватило плевков залить не один бассейн где-нибудь в укатавших Россию «Горках», плевки-то наши его сгубили, а вы думали? Это закон, только без Маркса, фиг вам, мир охнет — камень треснет. Останкинская игла всех достала и скольких растлила, ожесточила, развратила, лишила сердца и разума, но вот он и обратный ее эффект, вот: если ты мозолишь глаза, будь готов. Народная благодарность хранит и продляет дни, она как попутный ветер, а взгляд наш может обласкать и исцелить, а может убить без всякого на то намерения, невольно, это как раз опасней всего, когда походя, мельком, как бы рикошетом, но на вспышке, всердцах да чуть не все сразу на скифском нашем просторе, все еще пока почти бесконечном, а расстояние тут не имеет значения, удосужиться надо такое заслужить, достукаться надо, чтобы при таком-то супер-научном догляде интеллектуальной элиты со всего света, вянуть и вянуть от тихого укора никогда не покидавшей таежного угла, овдовевшей еще в Отечественную войну бабушки: «Че ж ты, милок?.. Обещалси на рельсы, а теперь обобрал нас и сидишь...» Может, ее слабый голос все и всем прощающей праведницы из этого кувшина, что несут они, и послышится?.. Или вдруг раздастся пьяная речь, перемежаемая известным «п о н и м а ш ь», нет, правда, как это — совсем недавно в Междуреченске начальник милиции полковник Королев, бывший лихой подводник, умница, с печальным вздохом показывал возле здания администрации ту чуть подросшую разлапистую пихотку, из-под которой ребята из комитета забастовщиков вытащили тогда шахтеров с бутылкой, хотели повесить пустую на грудь и провести по всему городу, но те чуть не умолять, лучше набейте морду, а ему потом все можно, ну, как так — как?!

А вдруг донесется из горлышка кувшина ритмичный отчетливый стук... где касками стучат? По брусчатке на Красной площади, перед Кремлем, когда из Кузбасса приехала его поддержать тысяча шахтеров, ровно тысяча... ну, да, да, это, кажется, и кричит что-то радостное комендант того поезда Коля Медный, начальник Новокузнецкой милиции полковник Медянцев, которого за патропаж над братьями Черными позже прозвали Алюминиевым... Или это гневный голос Виктора Семенова, воркутинца — уже на Горбатом мосту, или...

так заботливо тащат, как муравьи, этот кувшин но выгоревшей донецкой степи, эту бальзамкус неизвестно чьею душой — что от нее услышат?

...утешение дураков, конечно: игра воображения на горьком пепелище жестокой реальности, и все-таки, и действительно,— что?!

«Орлы Кавказа»

История это грустная...

В 91-ом году, на пасху в поселке Карабулак, в Ингушетии ударом ножа убили атамана Александра Подколзина.

До сих пор живет во мне тоскливое чувство невольной вины перед ним...

На многолюдном собрании, которое проходило накануне первого Большого круга казаков России, как раз он высказывал самые серьезные опасения, связанные с завязшим тогда в зубах у всех «возрождением», уже начавшем приобретать в Москве опереточный оттенок... Именно он задавал самые дельные вопросы, ставившие в тупик записных краснобаев, которые уже успели заполнить и пяток мест за столом президиума, и первые ряды пеналом вытянутого неширокого зала.

Потом вышло так, что мы остались вдвоем, разговорились по душам, и он словно шапкой ударил оземь: эх, мол, была-не была... где наша доля не пропадала?!

И вот известие о его гибели...

«Походная», из молодых офицеров, «старшина» тут же вылетела в Грозный на похороны, а я, «заместитель атамана Союза казаков по культуре и внешним связям» остался собирать всех своих на панихиду в церкви Большого Вознесения, где тогда служил первый наш казачий священник отец Михаил Дронов, только недавно благословлявший нас «на начало доброго дела».

И вот чем оно чуть ли не сразу обернулось, вот чем...

Хорошо знаю: не одного меня до сих пор тревожит эта давняя, однако так и не утихшая боль. Поэт Валерий Латынин, подполковник, бывший тогда товарищем атамана у «батьки Мартынова» опубликовал недавно в «Нашем современнике» рассказ «Исса»: о гибели Саши, о своей печальной миссии в Грозном. Под названием рассказа значится: «Невыдуманный сюжет.»

В рассказе есть документальная сцена: когда официальные руководители МВД Ингушетии на месте убийства Александра в Карабулаке пытаются навязать прилетевшим на похороны москвичам свою, весьма далекую от

истины, версию случившегося, автор, от лица которого ведется повествование, замечает на улице стоявшего у калитки мальчика и по открытому его, искренне сочувствующему взгляду понимает, что тому не терпится сказать правду. Несмотря на ухищрения «силовиков» он ее в конце концов говорит, и дальше следует сцена:

«— Спасибо за честность,— протягиваю руку для прощания. И тепло пожимаю еще неокрепшую, не загрубевшую ладошку паренька, задерживая ее.— Тебя как зовут?

— Иса,— отвечает мальчик, не пытаясь высвободить руку и выжидательно глядя на меня спокойными агатовыми глазами.

— В каком ты учишься классе?

— В девятом...

— А кем хочешь стать после школы?

Мальчик слегка тушуется и впервые застенчиво опускает глаза, произнося не очень внятно:

— Офицером.

— Многие ингушские мальчишки мечтают быть похожими на Руслана Аушева,— улыбаясь, говорит один из сопровождающих силовиков.— Как мы в свое время мечтали походить на Гагарина, Титова, Быковского...

— Ты сделал хороший выбор, Исса,— еще раз пожимаю ладонь паренька.— Из тебя получится хороший офицер, мужественный и справедливый. Спасибо тебе, сынок.»

Душу мне и при первом чтении остро кольнул этот разговор, и не раз потом к нему возвращался, жалея незнакомого ингушского мальчика почти также как погибшего неподалеку от его двора Сашу Подколзина, а в каком-то отношении — как бы даже чуть больше... Все точила и точила какая-то бесконечно важная, казалось мне, мысль, и однажды вдруг оставил другие дела и надолго застрял среди разложенных на столе, на диване и на полу папок с письмами, с документами, с газетными вырезками... Нашел, наконец, вчетверо свернутую страницу когда-то издававшейся в Москве палестинской газеты «Аль-Кодс», тут же поймал глазами отчеркнутый красным шариком длинный абзац:

«... еще один любопытный документ — телеграмма Николая II от 25 августа 1916 года начальнику Терской области: «Как горная лавина обрушился ингушский полк на германскую «Железную дивизию». Он немедленно был поддержан чеченскими полками. В истории русского Отечества не было случая атаки конницей вооруженных частей тяжелой артиллерии. 4,5 тысячи убитыми, 3,5 тысячи взятых в плен, 2,5 тысячи раненых менее чем за 1,5 часа. Перестала существовать «Железная дивизия» — гордость германских вооруженных сил. Дивизия, с которой боялись соприкасаться лучшие части наших союзников, в том числе и нашего Преображенского полка. Передайте

от моего имени, от имени царского двора и от всей русской армии сердечный привет отцам, матерям, братьям, сетрам, женам, невестам этих доблестных орлов Кавказа, положившим своим беспримерным подвигом начало конца германским ордам. Россия никогда не забудет этого подвига. Честь им и хвала! С братским приветом Николай II.»

С братским!..

Документ взят из статьи «Имя мое — человек» ингушского писателя Айши Айдаева, который кроме всего прочего рассказывает в ней о боевом соратнике Дениса Давыдова генерале Александре Чеченском, в пятилетнем возрасте попавшем в Россию в качестве заложника-аманата; рассказывает о том, что в Георгиевском зале Кремля « в числе принесших славу российскому оружию подразделений золотом написаны слова о Чеченском полке, участвовавшем в русско-турецкой войне 1877 года. Сотни чеченских воинов были тогда награждены орденами и медалями, а командир полка Орца Чермоев получил генераль-ский чин.»

Есть в статье и уникальный факт из истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов: девятнадцатилетний пулеметчик, чеченец Ханпаша Нурадилов, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза, «один уничтожил более 900 фашистов, взял в плен несколько офицеров, но и погиб сам. Такого подвига не знает Великая Отечественная война.»

Не знают о нем, ко всеобщему стыду, даже те, кому дорога слава «русского Отечества», кто не хочет о ней, несмотря ни на что, забывать.

Что в таком случае говорить об отлученном от собственной истории молодом поколении?.. О тех, кто потом придет ему на смену?

Постараются ли они хоть когда-либо связать оборванные уже не один раз концы и начала родной истории?.. Станут докапываться до истины?

Коли станут — поймут, что невиданная по жестокости расправа «ингушей-революционеров» над доблестным, над храбрейшим офицерским корпусом своих соплеменников в начале гражданской войны и совсем недавнее по историческим меркам одинокое убийство мало кому известного карабулакского атамана Александра Подколзина — звенья, как это не покажется сперва кому-то бездоказательным, одной цепи...

Поймут, что на равнинах Чечни и в ее горах погибла в наши дни так и не ставшая элитой русской армии лучшая часть «орлов Кавказа» и многих-многих отчаянных орлов из городов и всей остальной, все еще бескрайней многонациональной Росии.

...Пока они все продолжают погибать...

Национальная элита

Алексею Ягушкину

— А что, есть такая? — спросил я у своего друга с нарочитым сомнением.

— Ты ее увидишь! — сказал он не только уверенно, но как бы даже с запальчивостью.— Во всяком случае — промышленную, если хочешь... экономическую. Ты мне веришь?

Как ему, и правда, не верить? Оба молодые-зеленые, познакомились в пятьдесят девятом на Антоновской площадке под Новокузнецком, который тогда еще назывался Сталинском, на нашей «ударной комсомольской». Я был сотрудник многотиражки с неудобоваримым названием, он — мастер в управлении, строившем ТЭЦ для Запсиба. И мои крепкие ботинки, вскоре запросившие каши, и его колом стоявший на морозе «прорабский» плащ стали непременной принадлежностью моих очерков и первых рассказов: сколько я о моем друге написал! Бог не дал ему героической внешности, но характера и энергии его хватило бы на десятерых: во многом это она подпитывала потом мое творчество.

ТЭЦ, как и полагается, пустили первой, и он, уже обретший немалый опыт, примкнул к беспокойному племени бродяг, которое кочевало по стране, то жадно разрываемое на части рукастыми управленцами, коим выпало вытягивать малые города, то вновь как магнитом собираемое на одной из тех строек, которые мы тогда звали великими. Человек дотошный, копун глубокий и тщательный, он освоил смежное дело, стал работать на стыке с «эксплуатационниками», достиг успехов и там и вскоре не вылезал из-за рубежа... эх, сколько он меня тогда звал в страны диковинные, а я во время его звонков с другого края земли все как придурок отнекивался: вот, погоди-ка, мол, закончу роман. Вот допишу-ка повесть.

Теперь он был одним из двух-трех крупнейших спецов в самом, может быть, уважаемом, в самом стабильно работавшем министерстве, и я не для того, чтобы поддразнить его — больше, чтобы себя настроить да подбодрить, попросил:

— Ты все-таки маленько раскрой картишки. Ты поагитируй меня. Замани!

Какие стал он фамилии называть! Какие, если мало о чем фамилии говорили, должности, чины, звания!

— Все бросаю,— твердо пообещал ему я.— Сажусь и пишу.

Как всегда в авральные дни отключил телефон, достал папки со старыми записями, обложился нужными книгами. Чтобы не дать растащить страну новым хозяевам, «национальная элита» намерилась собрать силы в единый мощный кулак и заняться таким строительством, которое неутомимого, давно заслужившего это русского работника приблизило бы к матери-земле:

уж она-то, словно мифическому Антею, придаст ему сил. Это ли для родины нынче не главное?

Мне предстояло сочинить устав Клуба делового и дружеского общения «Научно-промышленной и коммерческой Ассоциации» с многообещающим, греющим душу названием: «Малоэтажная Россия». Как знать! — думал я.— Может, мне, и действительно, выпал, наконец, шанс пером своим сплотить разуверившихся и поддержать пошатнувшихся... Как я старался!

Вот он, этот устав: «ДЕКЛАРАЦИЯ: *Наши предки, стоя возле отчего дома, смотрели вверх — на голубей в небе, и это была их постоянная связь с Космосом, с творческим началом — с Творцом. Нынче, выходя на балкон десятого этажа, человек глядит вниз, на мусорные баки под окнами, и это во многом определяет не только состояние души кого-то одного, но и всеобщей нравственности.*

Наш современник, наш соотечественник живет в перевернутом мире, и высшая цель «Малоэтажной России» — вернуть ему ощущение родной земли под ногами и высокого неба над головой. Будь хоть семи пядей во лбу, эта задача не под силу одному, решать ее надо м и р о м, на принципах добрососедской помочи, которая веками выручала живших до нас, и потому-то первым делом мы создаем этот наш общий дом — Клуб общения.

Встарь для новой избы полагалось сто бревен и столько же помочан — каждый должен был вырубить и привезти из лесу бревно. Нас пока меньше, но это означает лишь то, что каждому придется трудиться вдвое и втрое больше. Как и в былые времена мы создаем наш дом, закладывая под угол деньги — для будущего богатства, шерсть — для тепла, ладан — для святости. Не станем забывать, что лучше пребывать в дому плача праведных нежели в дому радости беззаконных.

Хорошо сознавая, что в эти трудные для державы времена соотечественникам нашим нужен не только кров над головой, но и всякое покровительство, в том числе и духовное, подадим пример единения ради высокой цели: будем поддерживать в нашем доме дух братства и первым долгом считать, как это было в лучшие времена России — долг чести.

Будем помнить старинный завет: кто, грабя чужое и творя неправедное, созидает на том дом свой, тот будто камни складывает на замерзшей реке. Пусть потому строительством нашего дома правит честность, справедливость, дружелюбие, доброхотство, доброжелательность. Пусть общение наше освящают благородство, благорассудие, благоразумие, благонравие, благостепенность, благожелательность, благосклонность, благоприветливость, благопристойность, благоуветливость, благоугодность, благообращение, благоприязнь, благоповиновение, благоделание, благоизволение и благотерпеливость. Стояньем города берут — терпеньем строят.

Отдадим дань лучшему, что есть в худшем: в смутное время как никогда ясно виден лик всякого, оно и есть — момент истины, которую оставила нам наша отечественная история: на Руси дворянин — кто за многих один. Устремимся на поиск родословных не в прошлое, но в будущее — к благоденствию Родины.

КЛУБНЫЙ КОДЕКС: *Как рыцари снимали перед дружеским пиром перевязи с мечом, как офицеры оставляли в гардеробе ассамблеи сабли и шпаги, а казаки в сенях отцовского дома — шашки, оставь на пороге дома не лучшие твои, о коих сам знаешь, привычки, оставь уныние, раздражение и усталость. Поводырем твоим в этот вечер пусть будет достоинство: в мире вообще нет поводыря лучше него.*

Помни, что дружеская беседа — самый приятный из всех видов деятельности, она в то же время — самое естественное и самое плодотворное упражнение для нашего разума. Сколь много ты теряешь и опошляешь разум в каждодневном соприкосновении с умами низменными и ущербными, так укрепляешься и внутренне растешь в общении с умами сильными и ясными.

Время от времени напоминай себе, что истиной обладает только Господь, а все остальные рождены лишь для ее поисков: трудолюбиво и непрестанно ищи, но тщательно выбирай путь поиска.

Не забывай, что полное согласие — свойство для беседы весьма скучное, однако это не значит, что ты должен противоречить истинам очевидным. Не забывай, что глупость — свойство пагубное, но неспособность переносить ее — тоже недуг, не менее серьезный. Умей говорить, но больше слушай. Помни, что уши — благодать Божия, язык — проклятие. Безмолвное дело всегда лучше бесполезного слова и лучше злое услышать, чем злое сказать.

Говори, когда чувствуешь, что речь лучше молчанья, к молчанью же прибегай, если чувствуешь, что оно лучше речи. Помни, Плутарх сказал: ярость подобна суке. Как та слепыми рождает щенят, так и ярость рождает слепые обвинения.

Когда беседуешь с другим, посмотри, лучше тебя собеседник, или хуже или равен тебе. Если увидишь, что лучше — покорись ему , если же хуже — его покори, если же равен тебе, то будь с ним в согласии. Помни: Солон говорил, что слово — вид дела. Отсюда цена твердому слову.

Ради общего дела умей сдерживать язык — вспомни древнюю легенду о гусях, в молчании пролетавших путь от Киликии до Тавра. Места эти изобиловали орлами, и перед ночным полетом над ними каждая птица брала в клюв камешек и как бы замыкала собственный голос.

Никто не мешает тебе поддерживать хорошие отношения с теми, кто враждует между собой, и вести себя при этом вполне порядочно. Если я

предназначен служить орудием обмана, сказал Монтень, пусть это будет, по крайней мере, без моего ведома.

Преодолевай усталость от тяжких трудов и никогда не ленись, помни древнее наставление отца сыну: ленивый хуже больного. Больной хоть и лежит, да не ест, а ленивый — и лежит, и ест.

И это делать не ленись — перечитывать из «Поучения Владимира Мономаха»: «Имей душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдай слово Господне: «Есть и пить без шума великого, при старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь: не свирепствовать словом, не хулить в беседе, не смеяться много, стыдиться старших, с нелепыми женщинами не беседовать, глаза держать книзу, а душу ввысь, избегать суеты: не уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что не ставить всеобщий почет.»

Помни: знаком мужской добродетели бывает не дел начинанье, но их завершенье.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КЛУБА: У*читывая все вышеизложенное, обязанности члена клуба столь тяжки и безграничны, что достойное их выполнение немыслимо без государственного и боевого опыта генералиссимуса Суворова, графа Рымникского. Вот что предписывал он в своей «Науке побеждать» настоящим бойцам, а, значит,— и нам тоже: «Три воинских искусства — глазомер, быстрота, натиск. Сам погибай, товарища выручай. Пуля дура — штык молодец.*

Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу! От Него победа. Чудо-богатыри! Бог нас водит. Он нам генерал.

Чистота. Здоровье. Опрятность. Бодрость. Смелость. Храбрость. Победа.

Слава, слава, слава!»

ПРАВА ЧЛЕНА КЛУБА: *При благосердечном и примерном исполнении хотя бы половины всего здесь написанного член Клуба имеет святое и неотъемлемое право ежевечерне тихонько шептать себе либо тому, с кем рядом засыпает, и радостно кричать, просыпаясь по утрам: «БУДЕТ И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ НОВОСЕЛЬЕ!»*

В случае неоднократного нарушения сего устава член Клуба имеет право вскакивать с этим же восклицанием посреди ночи, но уже с интонацией вопрошения либо вполне объяснимого сомнения.»

Конечно, я волновался, когда шел со своим сочинением на первое заседание Клуба, где должен был его зачитать... Было отчего!

В просторном зале длиннющие столы, в единый составленные по трем сторонам, и в самом деле ломились от сытных яств и редких напитков. Какие, и правда, сидели за ними люди!

Я принялся читать, и сперва кто-то с шутливым нетерпением, вполне понятным в мужской компании, выкрикнул: мол, дело ясное — одобряем единогласно и переходим ко второму вопросу, главному! Поднял рюмку, но на него вдруг дружно шикнули с разных сторон, тишина установилась удивительная... С какими одухотворенными лицами поднялись они потом разом, какое в глазах у них пылало благородство, какая в развернутых плечах и в чуть откинутых головах была отвага!

С наполненною всклень рюмкой я пошел вдоль стола и не успел пригубить, как в ней осталось на донышке: с таким чувством со мною чокались, так братски хлопали по плечу, так порывисто самые горячие характером обнимали. Кого тут, и действительно, не было: министры, руководители ведомств, управляющие самыми крупными на то время банками, новые московские воротилы и промышленные «генералы» из Сибири и с Дальнего Востока... Самый старший из них — по неизвестному мне, но хорошо понятному им самим, «гамбургскому» счету — поднял руку, вновь установилась тишина, и он сказал слова, которые я сам от себя таил, пока устав писал: *«За наш кодекс чести!»*

Какая сначала бурлила жизнь на тех почти бескрайних просторах, которые арендовал мой друг в замкнутом пространстве Москвы! «Американский торговый Дом» с постоянной выставкой новейших строительных материалов и мебели, собранные в полном объеме образцы гостиных с каминами, спален, кухонь и ванных комнат. Ковры, одежда, продукты из-за океана и отечественные, свои... Какие мощные производства, главные и подсобные, были развернуты не только в Подмосковье, но и на севере России, и на юге. Какие роскошные земельные отводы приглашал он меня время от времени осматривать — среди почти заповедных лесов или на месте знаменитых когда-то на весь Союз, но опустевших теперь пионерских лагерей либо спортивных баз.

Мы тогда с женой бедствовали, я занимался «отхожим промыслом» в Сибири да на Кубани — волка ноги кормят, дело известное. И все же мы решили выкроить хоть что-то из заработанных на периферии малых деньжат — на минимальный акционерный взнос. После всех этих красных слов в декларации да в уставе Клуба как-то неловко автору от остальных отставать — надо тянуться!

А у друга между тем начались сложности, и неизвестно что на что больше влияло: то ли его, прямо скажем, не богатырское здоровье — на состояние дел, то ли эти самые дела — на здоровье. Работал он всегда на износ. И шунтирование ему пришлось перенести куда раньше чем нашему почти угрохавшему непобедимую доселе страну и оттого, само собою, безмерно уставшему знаменитому пациенту.

Мне трудно во всем этом разобраться, я не экономист, я — хроникер, другое дело, что наблюдать мне приходилось до этого, благодарение судьбе, свершения, и правда, величественные... Но у него там шел теперь

неотвратимый распад. По какой причине? Из-за чего? И только ли — в «Малоэтажной России»?

Не однажды принимался я потом с горечью размышлять: а не могла это быть затеянная враждебной волей по всей стране широкомасштабная акция, предпринятая для того, чтобы выявить самых умелых, самых энергичных, самых настойчивых? Из тех, кто, и правда, мог бы стать национальной элитой, да. Безжалостно присматривались к ним, объединившимся вокруг общего дела, чужие аналитики. Присмотревшись, начали разделять. Или разобщило другое? Природа человеческая, о которой как-то не принято было говорить в оголтелые времена ортодоксального марксизма. Разница натур. Несовместимость характеров. Амбиции. Неодинаковое понимание наших противоречий и сложностей. Путаница на государственном уровне и личный самообман.

Так или иначе борьба за влияние, в конце концов, оборачивалась, как понимаю, дележом всевозможных материальных средств — вплоть до выкупленной попервоначалу земли и сильно затянувшегося на ней печального, с пустыми глазницами окон и зияющими дверьми долгостроя. То, что эпидемия приватизации с ног валить начала, доламывала насевшая, словно медведь на улей, «налоговая». За долги одно за другим ушли громадный домостроительный комбинат, мощные заводы и фабрики.

Так вышло: в сибирском нашем братстве я всегда был за диспетчера, и друг мой, покинувший Новокузнецк намного раньше меня, попросил свести его сперва с одним преуспевающим управленцем из наших, с другим, с третьим. Снова мы беседовали за богатым столом, находили в разговоре общих друзей, откапывали общие корни: то, будь они неладны, ставропольские, а то вдруг совершенно без какой-нибудь гнильцы либо порчи — алтайские. Ему жали руку и обнимали почти также горячо, как когда-то обнимали меня на учредительном собрании Клуба, но никто не дал ему не только мало-мальского кредита в валюте — даже копеешного нашего.

И вот вместо сотен городков, построенных «Малоэтажной Россией» — как убедительно смотрелись они на макетах, Господи! — осталось всего-то с десяток коттеджей с постаревшими за последнее время угрюмыми нелюдимцами, от которых ушли пригретые ими когда-то, но не выдержавшие теперь то необоснованных подозрений, а то затяжного гнета недоговоренностей земляки, и от которых отвернулись не только былые державные соратники, но даже давние друзья дома.

Я все перекладывал на столе из одного бумажного вороха в другой этот уже изрядно пожелтевший за семь-то годков устав нашего Клуба. *Наш кодекс чести.* И снова как будто видел тот праздничный день, когда так дружно, чуть ли не со слезами на глазах его принимали. Когда сиял счастливое лицо моего старого друга: «Спасибо тебе — ты в самую точку!.. Нет, а правда, ты помнишь: еще в пятьдесят девятом на парткоме я получил «строгача» за то, что пытался на участке ввести хозрасчет. А теперь оно пришло — мое время!»

— *Наше время!* — многозначительно поправил тогда кто-то из «национальной элиты».

И в самом деле — наше?

Может быть, нынче и время-то стало — свое для каждого, оно не объединяет нас больше общим порывом во имя великой цели, постепенно мы перестаем в себе ощущать слабые позывы некогда мощного на Руси, спасительного в трудные времена артельного духа, и друг около друга нас удерживает уже не крепкое когда-то, верное товарищество — лишь память о нем?

Приезжай, писал он мне из Алжира, где строил тогда на побережье крупнейшую в Африке теплоэлектроцентраль. Выберем время, и на трех «мерседесах» вырвемся с главными спецами, тоже сибиряками, за тысячу километров, в Сахару, будем стоять под крупными, они здесь другие, звездами, слушать, как шуршит раскаленный песок и вспоминать нашу поземку, наш навсегда поселившийся в душе снеговей... Почему, и правда что, тогда не поехал?!

Нынче, после долгих месяцев предательских неудач и тяжелых болезней упрямый друг мой, как подлечившийся в камышах подранок, снова поднимается на крыло… Даст Бог?

Размышляя в очередной раз о нем и о тех, кто сидел тогда с нами, задумчиво притихнув, за щедрым столом, в старой записной книжке нахожу несколько строчек, которые вот уже столько лет не перестают меня волновать и заставляют остро печалиться... *«Потому что при объединении людей духом своим происходит такое же явление, как в стае птиц, когда птица стаи становится выносливей на несколько порядков, в три раза выше ее реакция. У стаи птиц появляется сверхволя, сверхсознание, сверхзащита, благодаря которым они преодолевают многие тысячи километров. Они становятся неуязвимыми для хищников, даже могут спать внутри стаи и высыпаться гораздо быстрее.»*

Не о ней ли эти строчки? Не о национальной элите?

И с другой, куда более горькой усмешкой думаю опять: а что, есть такая?

Есть?!

Была?

Хоть когда-нибудь будет ли?!

Кто кого нашел?..

Теперь уж не помню, зачем мне понадобилось в каталоге Национальной библиотеки — само собой, бывшей «Ленинки» — отыскивать собственные книги, но обнаружил вдруг, их там нет... ну, как не было!

Но ведь были?!

В каталог, правда, несколько лет уже не заглядывал: давно, слава Богу, миновала пора писательского тщеславия.

Это в пору, когда ходил в сибирских «молодых-начинающих», как священнодействие было: в каждый приезд в Москву непременно заскочить в главную, значит, библиотеку страны, по широкой мраморной лестнице подняться на просторный балкон с привычными глазу и дорогими сердцу балюстрадами, в открытом справочном зале, высоком и гулком, нырнуть в хорошо знакомый проход между старыми деревянными шкафами с рядами литер на ящичках каталога, найти среди них заветный, и не обязательно вытащить и присесть с ним за один из столов неподалеку — хотя бы так, стоя, перебрать нанизанные на металличе-ском штыре карточки с таким же, как у тебя фамилиями, чтобы над заголовками книг увидать, наконец, и свои имя-отчество...

Сперва была одна-единственная жалкая карточка с ними... Две потом. Три, наконец. Четыре...

Как медленно они пополнялись!

И сколь многое тогда значили.

Но вот пошло живей вроде бы, уже десяток книг на счету, уже полтора, и как у всякого с еще неопытной душой, но уже с сознанием собственной значимости человека почти сокровенное таинство потихоньку стало превращаться в привычный ритуал: по каким бы делам ни прилетел из своего Новокузнецка в Белокаменную, как долго бы потом дружеское застолье в Доме литераторов ни продлилось, все равно выкроишь минуту, чтобы завернуть в библиотеку... Не без некоторого, конечно же, пижонства достанешь из кармана год от года аккуратно продляемый билет, вместе с крошечным «читательским листком» протянешь симпатичной милицейской сержантше и через ступеньку помчишься наверх, выхватишь из деревянного шкафа свой ящичек, замрешь над ним, будто Кащей над сундуком со златом-серебром: вот оно все тут, вот оно!..

И еще прибавилось, и еще... прав Гена Емельянов, Геннаша, внушавший мне за стаканом — как истинный сибиряк, он, правда, делал ударение на последнем слоге — за стаканом,— что мы с ним — два классика на всю-то матушку Сибирь: «Да, старичок Гарюша, да — ну, назови мне кого-нибудь еще — все жалкие и ничтожные личности, все — щенки!..»

Я пытался, не очень правда настойчиво, возражать: мол, не гони картину, шеф!.. Признайся: так ведь и не прочитал Олега Куваева, а? А там ведь в Магадане есть еще такой — Альберт Мифтахутдинов... да что Магадан —

рядом с нашей Кузней, в Барнауле лесник живет... может, егерь, не в этом дело, главное — какие рассказы пишет! Евгений Гущин.

Припоминал, как в самолете, в котором в Вешенскую, на встречу с Шолоховым летела большая делегация молодых писателей, оказался рядом с восходящей тогда звездой — Геннадием Машкиным и по привычке, перенятой как раз у Емельянова, у старшего друга и наставника, тут же и понес землячков его, иркутян. Всех. Скопом. Тем более, что он тоже тогда в Иркутске жил, Скоп. Но начал я не с него. Мол, Шугаев?.. «Бегу и возвращаюсь»?.. Это куда же, мол, ему на фиг бежать приспичило и зачем ему на фиг возвращаться?.. И сидел бы там, куда забежал!

Машкин задыхался от возмущения:

— Д-да ты хоть слышал, что т-такое — «иркутская стенка»?!

— Ну, давай, «Синее море»! — нарывался я.— Давай, «Синий пароход»,— открой глаза темному!

Как давно это было, Господи!

И как будто вчера....

Но, может быть, новая власть решила хорошенько перетрясти фонды библиотек и давненько уже это сделала? Не только тут, в Ленинке. По всей стране. Всюду.

Тогда — большевики. Теперь — младореформаторы.

Для них как раз наше поколение — кость в горле.

Печальная судьба: «отцы-классики» нас явно передержали, а этим мы на дух не нужны. Как в хоккее, в жесткой игре — этакая «коробочка», в которой кости хрустят... хорошо, что не сломали хребет. Но это вам фиг, ребята, это — фиг!

Первым делом нашел картотеку Сафонова, почтить Эрика: все на месте.

И Славу Шугаева почтить надо... и скольких уже, выходит, скольких!

Потом перешел к живым: с улыбкой и понимающими кивками перебрал карточки Юры Галкина... насколько могло быть больше, если бы нас нынче издавали — Юра великий труженик, великий!

Но хорошо уже то, что остался в каталоге... почему из тележки я-то выпал?!

Ладно, думаю. Это на меня какое-то затмение нашло. Бывает же?

Пять часов просидел над мудреными текстами, устал, что ни говори, и тут взялся за каталог... давай-ка завтра, брат. На свежую голову.

Из-за неожиданных телефонных звонков утром планы пришлось переиначить, волка ноги кормят, дело известное, тем более в наше сучье время да при таком, как у меня, образе жизни... Менять места обитания стало делом давно привычным: забегаетесь, ребята! — как говаривал, бывало, в

нашем издательстве, в «Советском писателе» великолепный художник Женя Дробязин, потомок народовольцев, имевший врожденную привычку продолжать мало кому понятный диалог с царской охранкой.— Забегаетесь!

В библиотеку попал только через несколько месяцев, о каталоге вспомнил опять в конце дня и махнул рукой, но наутро, убедившись, что карточек моих по-прежнему нет, наконец, решил с этим разобраться. Посетовал, что нужный мне автор почему-то в каталоге не значится, и пожилая дежурная хмуро предложила: заполните листок требования, закажите, мол, какую знаете, его книгу — через полчаса попробую вам ответить.

Говорят, что первая книга — как первая любовь?

«Здравствуй, Галочкин!» написал я на листке название первого романа.

— Послушайте! — озадаченно сказала дежурная, когда снова подошел к ней.— У него много книг, у этого автора, но почему-то в нашем каталоге — ни одной...

— Вот и я — о том же.

— Дайте-ка ваш читательский!

Я протянул ей билет, она раскрыла, перевела взгляд на меня:

— Так это вы? Ваши книги?

— Да уж, извините...

— Чего ж тут извиняться... присядьте.

Возле неширокого столика сел напротив, она еще раз зачем-то посмотрела на билет и на листок требования.

— Послушайте...

— Весь внимание.

Она пристально посмотрела на меня изучающим взглядом ко всему привыкшей и давно уставшей от этого всего школьной учительницы...

— О чем хочу вас спросить...

Сняла очки в тонкой оправе, концами пальцев поправила прическу над ухом: милая женщина, которую я невольно отвлек от каких-то своих не очень веселых дум.

— У вас есть враги?

Невольно переспросил:

— Враги?.. У меня?

— Да, у вас. Враги. Есть?

Наверное, я решил маленько развлечь ее: поднялся со стула, расправил плечи. Левую ладонь приложил к боку, словно нащупав что-то на поясе, накрыл ее правой пятерней:

— У настоящего джигита должно быть много врагов!

Собеседница моя, вспомнила, наконец, что она — женщина: брови над помолодевшими глазами вскинулись, щеки стали медленно розоветь:

— Вы — джигит?

И мне пришлось подбородок приподнять:

— Разве по мне не видно?

— Н-ну,— помедлила она уже чуть кокетливо,— н-ну...

— Надеюсь, вы хотите сказать: мол, если присмотреться, то — да?!

Поднял все-таки бабенке настроение, поднял: наконец, рассмеялась.

— Вообще-то я казак,— пришлось продолжать.— И приписной черкес...

— А это что за категория?

— Принятый за своего... Названный.

— За особые заслуги?

— Большой роман перевел...старался. Но если бы мой кунак знал, что меня даже в каталоге нет, он бы мне ни за что не доверил!

— Наверное, насолили кому-то,— сказала она уже с явным сочувствием.— Крупно... Дорогу кому-то перешли: незаметно рвут по одной карточке. Подошел несколько раз... или она. Подошла... а если рядом никого, могут и за один раз вырвать.

— И «ваших — нет»?

— Вы же убедились теперь.

— Что же это: война всех против всех?.. Изобретение последней поры?

— К сожалению, всегда было. Раньше, правда, все-таки реже... в научном мире, в основном.

— И это — уже навсегда? Восстановлению не подлежит?

Она улыбнулась уже совсем свойски:

— Так и быть, пожалеем вас. Тем более — джигит. Придется все заново...

Прошел месяц-другой, и карточки мои были восстановлены, но глядел я на них без радости... Что же, думал, все-таки произошло со старыми? Кому помешали?

Может, это «привет» из тех времен, когда я достаточно долго, семь лет был заведующим редакцией «русской советский прозы» в одном из крупнейших тогда издательств, в «Советском писателе»?.. Василий Петрович Росляков, светлая ему память, и года на этом месте не выдержал.

Всякого хлебнуть пришлось уже на первых порах, и, чтобы укрепиться душой, я придумал себе девиз: не бросить писать; не спиться; не скурвиться.

Кто бы что ни говорил, но сам знаю: соблюсти себя, наверняка с Божией помощью, мне удалось. Но обиженным, хочешь-не хочешь, наверняка несть числа!.. К тому же задним умом, чем и силен русский человек, годы и годы спустя стал доходить, как искусно и как безжалостно меня подставляли те, кого считал верными своими соратниками... Так что поделом тебе, джигит! Поделом.

Или, размышлял, это уже следствие мифического твоего атаманства?.. Несколько лет назад Саша Ольшанский показал мне распечатку гуляющего в Интернете файла под названием:

«Национализм. Экстремизм. Ксенофобия.» И кто в нем первым номером числится?

Год или два спустя после подлой полосы в «Литературке» под набранной крупно шапкой «ШАШКИ К БОЮ ГОТОВЫ: ОСТАЛОСЬ НАЙТИ ВРАГА!» случайно встретил у лифта Соломонова, опубликовавшего тогда комментарии к моей беседе с Владимиром Киселевым.

— Ты что же, Юра? — спросил.— Выходит, плохо знал меня по Кузбассу, по нашей Кузне?.. Или я с тех пор так изменился?

— Хотели тебя разрекламировать! — развел руками ненадежный землячок.

И ведь разрекламировали, и правда!

Настолько, что в библиотечном каталоге не нужны стали карточки.

А зачем?

Тут и без книг все ясно.

Нашли тогда ребятки-демократы врага, нашли...

«Стены каменны пробьем...»

Российская Академия наук и Фольклорный центр, при котором значится ансамбль старых моих друзей «Казачий круг», проводили совместный семинар на такую любопытную тему: «Мужское начало в традиционном и современном творчестве»... Понурые московские задохлики ученого вида попытались было задать на нем тон, но натолкнулись вдруг на такое энергичное сопротивление ребят из провинции — не только безусловно толковых, напористых, но и блестящих эрудитов. Как мне за них было радостно: сибиряков, архангелогородцев, кубанских казачков, которые привезли с собой и корректных молодых специалистов-историков, и разбитных певцов с плясунами в национальных костюмах, и дюжих, под скобку стриженых молодцов-рукопашников в мягких сапогах. Были тут преподаватели школ, руководители детских клубов, сами участники фольклорных коллективов, и все это в них очень чувствовалось — живое

дело сквозило в независимых, полных достоинства словах и незримо стояло у каждого за спиной, когда велеречивых москвичей слушали...

Что делать: говорили они на разных языках.

Если «академики» все больше напирали на общечеловеческие ценности и примеры приводили то из «Властелина колец», а то из «Приключений Гарри Поттера», то провинциалы тащили их на родную грешную землю, вглубь собственной истории: один цитировал собирателя северных былин Бориса Шергина, а другой, не смущаясь нисколько, громко затягивал на трибуне старинный сибир-ский сказ.

«Боевая артель ряженых», «Воинская сказка», «Система тайных союзов» — каких только не было интереснейших сообщений, которые ну почти напрямую соотносились с нашим малопонятным временем.

Многое из того, что вспоминалось, несло в себе такой мощный заряд народной воли, что я вдруг принимался записывать за очередным докладчиком непокорную частушку:

Нам хотели запретить
по этой улице ходить.
Стены каменны пробьем —
по этой улице пройдем!

И те, и другие сходились в одном: молодежь инфантильна и ленива, она выпала не только из традиционной культуры — становится все дальше от современной, и одна из главных причин этого — эгоизм, неизбежный для единственного в семье — без братца и сетрицы — ребенка. России нужна полноценная многодетная семья.

— Так почему же вы в таком случае так яростно выступаете против фаллического начала в творчестве?! — не вытерпел председательствующий из «академиков» — перебил выступавшего новосибирца Андрея Каримова, руководителя союза боевых искусств «Щит».— Само это слово, «фаллос», я заметил по реакции в зале, вызывает у вас неуважение — почему?!

Невысокий, но широкоплечий, крепко сбитый Андрей долго смотрел на перебившего его председателя — словно внимательно изучал. Твердым негромким голосом разъяснил:

— К фаллосу как раз отношусь с большим уважением. Именно потому и против, чтобы на нашем благородном собрании им тут бесконечно трясли. С ним как с казачьей шашкой: без дела не вынимай — без славы не вкладывай!

Майкопская бригада

И снова — благословенный Майкоп, те самые райские места, которые Аллах, раздававший народам землю, оставлял для себя, но отдал потом адыгейцу, сильно запоздавшему на это давнее, ох, давнее относительно нынешних быстро бегущих времен мероприятие... Адыгеец, как и все остальные, тоже очень спешил на ту, самую первую, пожалуй, в истории человечества презентацию, и наверняка появился бы на ней раньше многих, но по дороге ему повстречался старец, который пытался взвалить на одряхлевшие плечи вязанку дров. Как было старику не помочь?.. И адыгеец отнес дрова в ближайший аул, положил у порога сакли, где жил одинокий горец.

Почитание старших было с лихвою вознаграждено, и в полной мере оценить щедрость Создателя может, и в самом деле, лишь тот, кто хоть короткое время жил здесь и питался удивительными плодами этой земли, видел на синем горизонте ослепительно-белые пики ледяных гор, слушал умиротворенными вечерами сокровенное тюрюканье сверчков в отяжелевших к осени виноградниках, смотрел на крупные звезды над головой и на полную луну, такую в этих краях большую и яркую, что тут уж никак не ошибешься, что там на ней на самом деле произошло: безжалостные, без роду-без племени абреки отняли у маленького пастушка баранов, а самого его бросили в расщелину, и мальчик не может из нее выбраться, лежит там, молча глотает слезы и с тоскою смотрит на землю и на людей, у которых нет лишней минутки, чтобы посреди ночи остановиться, вглядеться, наконец, в лунный лик и не то что помочь — хотя бы несчастному пастушку посочувствовать... Ведь когда об этом обо всем знаешь, невольно хочется крикнуть маленькому черкесу: эй, будь мужчиной, держись там!

Впрочем, разве мало кому можно крикнуть это и тут, на теплой земле?..

На Северном Кавказе даже в каком-нибудь самом заштатном городишке, даже в захолустной станице либо в ауле или на хуторе над вами только насмешливо улыбнутся, если заговорите вдруг о знаменитых Минводах... Эко, мол, диво!.. Не однажды и сам пивал, бывало, чаек, заваренный подземным кипяточком — угощали буровики, табором стоявшие на окраине родной моей станицы Отрадной, которую с утра и до вечера подогревает с исподу термальное озеро. Не однажды и сам — больше для того, правда, чтобы доставить удовольствие уже начавшим прихварывать дружкам детства — сидел на вытертой травке, по колено опустив ноги в целебную грязевую жижицу за полуживым хуторком с упрямым названием: Кисловодский.

В Майкопе теперь добрые люди первым делом посчитали нужным сообщить, что на здешнем Министочнике только что пробурили новую скважину, из нее пока идет не йодо-бромистая водичка, а сплошная рапа — густющий рассол, и таким кочевникам, какими сделались мы с женой, «разрываясь» между «малой родиной» на юге и «страной молодости» в Сибири, конечно, не мешало бы походить на ванны и таким вот образом и приложиться к матери-земле: не станем забывать древний опыт Антея!

На Министочник я поехал в медленном старом автобусе. Узнавая полузабытые места, неотрывно глядел в окошко, и в самом начале Военного Городка опять бросилась в глаза черная арка с висящим под ней бронзовым колоколом и два рядка каменных плит с крупными фотографиями на них... Мемориал погибшим в Афганистане. От плакучих ив, пышно разросшихся по бокам мемориала и дотянувшихся зелеными своими косами почти до земли, с невольным вздохом перевел взгляд на противоположную сторону, где вот-вот должен был начаться высокий забор и кирпичные капониры танкового парка, и посреди бесприютного пустыря увидал вдруг два замерших на бетонных площадках помятых бронетранспортера, как будто только что выкатившихся из боя, скромную, явно наспех сооруженную стелу меж ними в глубине, стоящие возле нее большие венки и привядшие букеты под ними... Еще недавно здесь ничего этого не было, и душу, тронутую старой печалью, остро кольнула вдруг свежая боль: Майкопская бригада!

Одной из первых вошедшая в Грозный в студеном январе девяносто четвертого, взявшая железнодорожный вокзал, но никем не поддержанная, по мало кому понятному приказу начавшая отступать и стольких своих потом оставившая на привокзальной площади...

Как раз накануне к нам приходила однокашница жены Нина Ивановна. Нина Ларина, неразлучная когда-то, задушевная подружка. Нинка-половинка. На привокзальной площади у нее пропал старший сын, прапорщик Роман, ровесник и дружок нашего среднего, Георгия. Где только Нина не искала сыночка!.. Надежду ей подала молодая чеченка-боевичка: видела в плену. Жив!.. Гадалки дополнили известие подробностями: сильно прибаливает. Скорее всего — неважно с ногами. И очень тоскует.

«У Ромы ведь когда-то начинался ревматизм,— тихонько рассказывала Нина на какой-то устоявшейся ноте, которая безошибочно заставляла отозваться ее раненому сердечку.— Тогда его заглушили, а теперь, если где-нибудь там в подвале или на голом полу...»

По нашему с ней уговору Нина мне присылала в Москву письмо с просьбой помочь ей: чтобы я размножил его и вместе с карточкой Ромы раздал своим влиятельным знакомым, попробовал подключить бы их к поиску... Как это оказалось непросто!.. Но затем ведь она теперь и пришла: чтобы я сообщил ей хоть какие-то новости.

«Я в Москве пробовал...»,— начал было я и осекся под ее неожиданно переменившимся взглядом.

От нее, и в самом деле, осталась половина, от Нины,— может быть, как раз та, которую она отдала когда-то родне и щедро раздарила близким и которую они теперь возвратили ей неподдельным участием, когда первая половина почти умерла. Год назад, несмотря на разом побелевшую голову, Нина была прямо-таки черна от горя, но бесконечная скорбь одухотворила, наконец, печальный ее лик, высветила, как на иконе, глаза — кроме тихой мольбы в них поселилось мудрое всепрощение.

Горячая надежда вспыхнула в них теперь одновременно с таким пронзительным недоверием! Так, пожалуй, могут глядеть многоопытные профессиональные разведчики, которым по какой-то причине незачем в этот момент маскироваться... Так должны глядеть всезнающие аналитики с высокими званиями. Государственные мужи, искренне озабоченные судьбой пропавших честно выполнивших свой долг солдат... Но всем не до того!

И одна из полутора тысяч съедаемых неизвестностью матерей сама, наперекор всему, ведет свое одинокое расследование: с короткими — через всю Россию — телефонными звонками, с долгими поездками, с обстоятельными во все концы письмами, по точности похожими на протоколы либо донесения... Сколько тщательно скрываемой правды знают все они об этой страшной войне!

И я только согласно кивнул ей — не будем, мол, и действительно, попусту тратить время — на секунду прикрыл глаза, а она снова повела своим мягким, проникающим в сердце голосом: «У Апасовых пока тоже нового ничего — отец бы мне тут же позвонил... У Дакаевых мама занимается: она бы ко мне тут же пришла...»

Мне вдруг вспомнились иные края.

Точно также друг дружки держатся осиротевшие шахтерские жены, когда ребята погибли... Точно также лежат их мужья и дети на заросших черемухою сибирских кладбищах: бригадами.

Почти сразу после «шахтерской революции», в декабре 1991-го в Междуреченске взорвался метан в одной из дальних выработок шахты имени Шевякова. Обвал накрыл двадцать пять горняков. Вытащить из-под него удалось только двоих. На глубине 381 метр бушевал пожар, вскоре достигший такой силы, что на окраине тайги наверху растаял снег, ударила в рост трава, и посреди глухой зимы зацвели первые весенние цветы — яркая, как яичный желток, мать-и-мачеха.

Сколько невыносимо-трудных решений приходилось в ту пору принимать шахтовому начальству и приезжим спецам, окруженным отчаявшимися родственниками погибших!.. Затопить отвод? И, значит, прекратить спасательные работы?!

Но как бы то ни было, все в Междуреченске тогда знали: они — там!

Под живым венком из обманутых теплом таежных цветов.

А где, скажите Нине Лариной, наконец, где ее сын, где еще десятки, сотни других мальчиков, оставленных в жестоком плену бесстыжими — начиная с первого лица — рожами?!

Поздней осенью 93-го года в Майкопе мой друг Юнус Чуякоо, с которым мы только что закончили работу над переводом его большого романа «Сказание о Железном Волке», чуть таинственно сообщил мне, что он разыскал-таки,

наконец, племянника знаменитого Клыч Султан- Гирея, командира кавказской «Дикой дивизии», за сотрудничество с немцами повешенного в сорок шестом в Бутырской тюрьме вместе с казачьими генералами Петром Николаевичем Красновым, Семеном Николаевичем Красновым, Тимофеем Ивановичем Дамановым, Андреем Григорьевичем Шкуро и немецким «кавалерийским» генералом Гельмутом фон Панвицем. Племянник примерно наших лет, звать Борис, недавно вернулся на родину из Абхазии, где прожил почти всю жизнь. Не только согласился теперь встретиться с нами, ждет на хлеб-соль.

Великое дело этот кавказский обычай гостеприимства! Ютился Борис пока у друзей, и в комнате, совмещенной с застекленною лоджией, мы сидели среди нераспакованных тючков и свернутых после ночи на день матрацев, столом нам служила узкая и длинная гладильная доска, но чего только на ней не было! Среди пышной зелени и долежавших до первого снега овощей абхазская фасоль-лобио делила место с адыгейским четлибжем и непременной пас-тэ вместо хлеба, и сухумская чача соседствовала с бахсымэ — крепким кукурузным пивом, привезенным из родного аула Уляп. Неслышно выскользнула на кухню жена Бориса, незаметно поставившая на стол что-то еще, все было готово к дружескому мужскому пиршеству. Хозяин наш, крепкий и симпатичный, с едва наметившеюся сединой в густых волосах, взял наполненную рюмку, глазами пригласил последовать его примеру и мягко произнес: «За встречу. За знакомство!»

Перед этим я спросил, как нам его называть, и он улыбнулся:

«В Абхазии все звали Борис-Черкес. Там только скажи кому... все давно знают. И в Грузии знают хорошо... теперь даже слишком. Во время войны я занимался оружием и порядком им надоел, но дело есть дело, договор есть договор, война — война... Я пожалуй что, чуть моложе: зовите просто Борис.

Чинно выпили за знакомство, но дух над щедрым нашим столом сразу установился такой братский, как будто один другого знали уже сто лет. Может, Борис почувствовал, что интерес к одному из его предков был, и действительно, глубоко уважительный?

К этому времени я уже прочитал протоколы допросов всех шести преданных англичанам генералов... Не сомневаюсь, что каждый из них, опытный волк, кожею ощущал, к чему идет дело, каждый из них имел возможность тихо в одиночку спастись, но ни один не покинул собранных вместе в лагере под австрийским Лиенцем несчастных своих солдат: казаков и горцев.

Протоколы, и действительно, отличались скупостью необыкновенной, единственная цель их была — подвести изменников под «высшую меру», раздавить и унизить — для острастки других, но за сухими, не допускавшими и намека на сантименты, строчками, составленными следователями с Лубянки, невольно приоткрывались такие трагические подробности!.. Старший из Красновых, Петр Николаевич, вдруг обронил, что очень хороша праздничная Москва; значит, вывозили старика на прогулку — вернее всего

на октябрьские праздники. Или морально добивали в день Сталинской конституции? Или — под Новый год?

Помню, как тогда растрогал и трогает, когда вспоминаю об этом нынче, ответ фон Панвица на оправданный, а в общем-то, вопрос: мол, с этими, с казачками да с горцем все ясно — как вы-то оказались в этой компании?.. И боевой генерал, с гордостью заявивший, что самая его большая военная удача была — командовать казаками, ответил, словно ребенок: с детства очень любил лошадей, а потом его буквально потрясла книга Гоголя «Тарас Бульба»... Вот ведь, думаешь, какое удивительное, какое загадочное дело: наши родные жулики, корифеи из «этастранцев», как их назвал поэт Геннадий Иванов, все повторяющих вместо «Россия», «родина» — «эта страна», так вот они нас с пеною на губах уверяют по телевизору и по радио, да где хочешь, что великая классика ничему не научила русского человека — быдлом был и быдлом остался... Но как быть с немецким дворянином, чью жизнь прямо-таки перевернул наш Николай Васильевич?

Когда я намекнул давшему мне прочитать протоколы Леониду Решину, председателю комиссии по реабилитации и помилованию при президенте РФ, что хотел бы ознакомиться с делом генералов в более подробном, так сказать, варианте, он ответил, вздохнув: мол, вряд ли я получу от этого удовольствие. Люди уже достаточно пожилые, с изломанною душой и больными нервами, к тому времени они уже забыли о собственной гордости...

Перед этим мне уже пришлось слышать: «железный» белый партизан Андрей Григорьевич Шкуро во время вынесения приговора в суде тихонько всплакнул. Говорили также, что наиболее достойно держал себя в тюрьме и на допросах Клыч Султан Гирей. Сказал теперь об этом Борису, и он помолчал и снова разлил чачу по рюмкам.

«Один московский черкес рассказывал,— начал неторопливо.— Он жил в одном подъезде с каким-то знаменитым генералом, он не говорил, с каким — не хотел его подводить. Тот ему сказал в сорок шестом: хочешь поглядеть на своего земляка? Вот тебе пропуск на заключительное заседание суда... Там, черкес этот потом рассказывал, целый спектакль устроили. Пригласили всех известных генералов. Сам Сталин через специальное окошко глядел... И многие генералы плакали, но тут же смахивали слезу: не приведи Аллах, Сталин увидит! Особенно нашему дяде сочувствовали, это, говорят, правда. Когда он громко сказал: «Я давал русскому царю клятву верности, и я ее ни разу не нарушал и теперь уже не нарушу. Видит Аллах, я не изменил России, которой я присягал!»

Пожалуй, не стоит тут вспоминать о целой армии, незаметно для себя перешедшей на сторону другого государства и даже гордящейся этим: мол, не пролили крови собственного народа... Само собою, имею в виду не власовцев.

Но не о том речь.

«Ходит такая легенда,— начал я.— В сорок втором, когда заняли Майкоп, кое-кто из непримиримых пришел к генералу Клыч Султан-Гирею и сказал: наконец-то настало время свести с русскими старые счеты!.. Одно твое слово, Клыч, и уже этой ночью в Майкопе ни одного из них не останется... Но генерал велел плотней прикрыть дверь и негромко сказал: я пришел с немцами — я с ними уйду. Вы жили с русскими — вы рядом с ними останетесь жить...»

«Это не легенда,— сказал Борис-Черкес.— Наши это рассказывают. Это правда!»

С каким почти нескрываемым торжеством смотрел на меня в это время мой друг Юнус!.. Вот, мол: ни слова не было сказано по-черкесски — все при тебе!

— Не чокаясь? — предложил я.— В память о храбром и мудром человеке... В память о твоем дяде!

— За это стоит! — сказал Борис.— Дай Бог, чтобы так было всегда.

И мы встали, и лица наши сделались строже: все мы слишком хорошо понимали, о чем говорим.

Но как она распоряжается, судьба!

Ничего не надо придумывать.

В маленьком приемничке, стоявшем неподалеку от хозяина стола, пропищало двенадцать, и Борис взглянул на свои ручные часы...

— Грозный,— произнес значительно диктор.— Сегодня ночью в город вошла танковая колонна...

Мы с Юнусом взглядом потянулись к приемничку, Борис тут же усилил звук.

Притихнув и перестав жевать, выслушали сообщение о том, что город уже практически занят, и наш хозяин вздохнул и громко сказал:

— Это должно было случиться. И это случилось. Молча налил, поднял свою:

— За то, чтобы без большой крови обошлось и быстро закончилось... это должно,— было произойти! И это произошло.

А ведь там были его боевые товарищи, бок о бок с которыми прошел Абхазию. Накануне он уже успел припомнить накоротке: Шамильчик... Ваха... Арслан.

— Тебе ведь не так легко это говорить, Борис! — сказал я.

— Конечно,— просто ответил он.— Но тут уж ничего не поделаешь: Россия большая, а Чечня маленькая. И Джохару давно уже надо было ехать в Москву и сидеть в приемной у моего тезки до тех пор, пока тот не позовет его... Но Джохар этого не сделал. И вот он — результат!

Я сочувственно вздохнул, а он сказал непреклонно:

— За сказанное! Это судьба!

Через несколько часов, когда мы уже разошлись, передали другое сообщение: танковая колонная частично сожжена, частично разгромлена. Верные Джохару Дудаеву войска прочно удерживают Грозный.

И даже в тихом Майкопе, рассказывали потом, радостью звенела вечером тонкая сталь в возбужденных молодых голосах: маленькая Чечня побила большую Россию!.. От чеченского волка эти урысы бежали, как обыкновенные дворняжки!

Взрыв психологической бомбы направленного действия покачнул в тот день весь Кавказ. Особенно — Северный. Зная характер здешних насельников, их, как теперь принято говорить, менталитет, хорошо понимаешь: трудно было придумать удар более точный и более чувствительный, нежели этот!

Через какой-то месяц давно ждавший своего часа Железный Волк вновь взялся за города и аулы...

Что уж говорить о самой Чечне, если клацанье стальных его зубов слышалось даже в отдаленных концах России. Тошнотворный запах крови наплывал с Кавказа, словно туман. Над Грозным висел серый и смрадный дух бесконечного предательства. Совсем в другом краю, в Новокузнецке, командир «омоновцев» Сергей Добижа, добрый, симпатичный Сережа, работавший когда-то в нашем Заводском поселке воспитателем профтехучилища, рассказывал, заикаясь от недавней контузии: «Вы не поверите — я ведь и сам сперва представить не мог... Стояли на краю села, курили по последней перед тем, как начать «зачистку», и тут за спиной грохнули наши танки, выплюнули на нас эти шланги для подрыва минных полей. Полыхнуло прямо над головой. Сразу — около тридцати гробов... А наутро подходит ко мне сосед справа: хочешь знать, сколько «зеленых» «духи» дали морпехам, чтобы они вас накрыли?»

Стыдно тревожить тени великих полководцев — кому из русских офицеров в какие времена такое могло привидеться?!. Кому из «солдатушек» старой школы — сам погибай, а товарища выручай! — пришло бы в голову, что в спину ему вгонит нож не обошедший сзади противник — ударят купленные свои?

И снова — благословенный Майкоп...

Как падают со столетнего, чудом сохранившегося в крошечном саду дерева перезревшие груши с выеденными осами дырками на желтых боках, так готовы осенью упасть на бумагу давно выношенные строчки... все грустнее становятся они с каждым годом, все печальнее. И неужели — все бесполезней?

В прохладном зальчике тещиного дома с нехитрым его, с послевоенных лет сохранившимся убранством, подальше, как полагается, от дверей, в «красном

углу» — жантэ — сидит всепонимаюший и оттого, бывает часто, печальный мой друг Юнус. С нарочитой веселостью поглядывает на большой — чуть ли не во всю стену — мой портрет, который в прошлом году перевез к нам в дом из своей мастер-ской старый товарищ, художник Эдуард Овчаренко: двадцать лет назад, выходит, так заготовленный им подарок к моим шестидесяти.

— По черкесским обычаям,— мягко начинает Юнус,— теща вообще никогда не должна видеть зятя... А ты мало того, что живешь в ее доме — ты еще оставил тут свой портрет... Чтобы она могла любоваться им, когда тебя нет... как это, ым?

«Майкопский зять» — это данное мне черкесами прозвище. Кто-то из них произносит его со вполне понятным благодушием: куда же человеку деваться, когда он приезжает в Майкоп?.. В гостинице нынче разденут за трое суток! Но кто-то придает этому уничижительный оттенок: коварное время, несмотря ни на что, и тут потихоньку делает свое дело.

— Придется мне выкупить эти шесть или восемь тещиных «соток»,— отшучиваюсь не очень весело.— Так, как выкупают землю под посольство в стране пребывания... И тогда это будет наш, русский монастырь. С русским уставом.

— Так ты говоришь, реабилитировали пока только фон Панвица? — в который раз пытливо спрашивает Юнус.

Мы не сильны в юриспруденции, оба не знаем, как это поточнее назвать, но мне примерно так сказал Решин, случайно встретившийся недавно в Москве у своего восьмого, что ли, подъезда на Ильинке.

— По-моему, о нем хлопотала то ли родня, то ли чуть не правительство Германии,— пробую я объяснить то, в чем и сам мало разбираюсь.— Казнь через повешение — позорная казнь, и дело пересматривают, чтобы этот позор снять.

— Видишь! — говорит Юнус.— Там, выходит, было кому похлопотать... А ведь Султан-Гирей спас столько горцев!.. Стольких буквально вытащил из концлагерей. Под видом создания этой самой «Дикой дивизии». И не только это, не только...

Оба мы понимаем, о чем он не договаривает...

Несколько лет назад я добыл у друзей домашний телефон Виктора Петровича Поляничко. Позвонил, представился, попросил о встрече — в любом удобном для него месте.

В просторной квартире в Кунцево он усадил меня за просторный, покрытый льняной скатертью стол, сам сел напротив. Глядя в упор, довольно хмуро спросил: «Чем обязан?» «Стараюсь не пропускать, что у нас пишут об исламе,— сказал я.— В частности — о кавказских наших делах... И должен сказать, что ваши статьи, пожалуй, самые глубокие, и самые дельные».

Явно повеселевшим, как будто даже насмешливым голосом он переспросил: «Интересные статьи?» Я согласно кивнул: «Очень!»

В глазах у него заплясал хитрый огонек. Обернулся, негромко крикнул куда-то в глубину комнаты: «Ли-да!..» Оттуда неслышно выступила жена. «Она писала! — уже дружески смеясь, простосердечно сказал Поляничко.— Доктор истории у нас. А я — практик!»

В тон ему жена нарочно серьезно поинтересовалась: «Я могу продолжать?» «Продолжай, Лида! — разрешил Поляничко.— Продолжай... только маму кликни.»

К нам вышла невысоконькая благообразная женщина давно уже почтенного возраста, но бодренькая, с живыми глазами, и он сказал: «Вы бы нам чего-нибудь сообразили, а?.. Чтобы мы тут с друзьями-кубанцами... да и сама, может? Капельку. Для здоровья?»

С каким интересом я его потом слушал!.. Какой исходящий от него энергетический заряд ощущал!

А Виктор Петрович, разговорившись, прямо-таки преобразился. Куда девался угрюмый вид — им впору было залюбоваться: вот что такое человек, увлеченный настоящим, государственным делом!

Говорили мы до тех пор, пока в прихожей не раздался звонок и у входа не разыгрался восточный церемониал сдержанной и жаркой одновременно дружеской встречи.

«Афганцы!» — объяснила Лидия Яковлевна.— Товарищи Виктора.»

Может, мне стоило бы хоть на несколько минут задержаться?.. Чтобы поглядеть теперь на него как бы со стороны... Но кто знал, что первая эта встреча с ним станет последней!

Я позвонил на следующий день после того, как передали сообщение о его назначении на Северный Кавказ: постоянным представителем президента в Осетии и в Ингушетии. Назавтра «Роман-газета» устраивала вечер, на котором нам с художником Сережей Гавриляченко должны были вручать премии за специальный, посвященный казакам, выпуск. Не помню, как называлась его премия, но моя именовалась весьма высокопарно и очень обязывающе: «Казачий Златоуст». Но главное, разумеется, не в этом: на вечере должны были петь наши с Сережей давние товарищи — уникальный мужской ансамбль «Казачий Круг», а я обещал Виктору Петровичу при первом же случае на этот самый «Круг» его пригласить...

«Он вчера еще улетел,— сказала в трубку Лидия Яковлевна.— Виктор всегда быстро собирается, но на этот раз все было так стремительно... Говорит: там нельзя больше медлить! И если мне выпал шанс...»

Обычно говорим: для него, мол, уже была отлита пуля.

Та, которая буквально через какой-то месяц сразит Поляничко, наверняка уже лежала в автоматном рожке, в диске ручного пулемета...

Нынче вместо имеющих богатый опыт умелых посредников развязывать тугой осетино-ингушский узелок ничто-же сумняшеся берутся все, кому не лень, и от их псевдонаучных рекомендаций веет таким дремучим и таким сытым безразличием, что диву даешься граничащей с хамством самоуверенности... Уезжая в августе из Москвы, купил в дорогу «Аргументы и факты» со статьей одного из депутатов Госдумы «Горцы хватаются за кинжалы», опубликованной под рубрикой «Анатомия осетино-ингушского конфликта». Кроме всего прочего, в ней имеется рекомендация «выделить из восточной части Пригородного района, подковой охватывающего город Владикавказ, около трети территории (правобережная часть реки Каламбеевки,— разбивка моя, Г. Н.— впадающей в Терек) и передать ее Ингушетии».

Ох, и долго бы пришлось измученным ингушским беженцам ждать счастья на завещанной им демократкой-мно-гостаночницей реке!.. Но, может быть, думал, кроме реки Камбилеевки есть еще и такая? Если в Греции все есть, то почему бы не «быть всему» и на Северном Кавказе?

Собираясь сесть за эту работу, написал во Владикавказ старому другу Игорю Икоеву, режиссеру, вместе с которым когда-то сняли несколько документальных фильмов: и в самом деле, есть речка с таким названием или это — столь редкое по нашим временам — географическое открытие?.. Не успел получить ответа, как в родной станице, когда приезжал на престольный праздник Рождества Богородицы, встретился с Василием Дмитриевичем Коняхиным, недавно перебравшимся из Владикавказа в Отрадную. Героя Советского Союза, бывшего боевого летчика, его в 1990 году избрали атаманом Терского казачества, и на его долю с лихвою выпало и неустанного миротворчества, и — войны... Спросил его о «Каламбеевке», и он насмешливо хмыкнул и тут же построжел: «И близко нету... Есть Камбилеевка, на которой стоит родная моя станица Тарская».

Вот уже сколько лет подряд столичные умники тянут свое нескончаемое «а», не желая произносить все то, что должно бы за ним последовать. Окопавшись на «депортации репрессированных народов», эти незванные доброхоты не желают говорить ни о казачьей чересполосице, не без державного умысла отделявшей ингушей от осетин, ни о сабельной атаке летом 1918-го года на занимаемый белыми казаками Владикавказ, за которую ингуши получили от щедрого наркома Орджоникидзе «р-революционное» благословение на захват четырех станиц, в том числе Камбилеевской и Тарской, ни о Чрезвычайном съезде горских народов в 1919-м году, «единодушно осудившем этот небывалый по жестокости набег» — очевидцы вспоминают, что Камбилеевка в тот августовский день покраснела от крови — и обязавшем ингушей вернуть станицу и выплатить казакам весьма значительную по тому времени «контрибуцию...

Напоминая об этом, не собираюсь подводить читающий люд к нехитрой мыслишке, что казаки (и осетитны) хорошие, а ингуши плохие — нет... В который раз приглашаю поразмыслить над законом исторического возмездия, который в силу взрывного характера кавказских насельников не только проявляется тут с очевидностью, достойной школьных учебников, но как бы обеспечивает отсрочку другим, с виду благополучным, вроде Соединенных Штатов, многонациональным образованиям, которым все это — Господь долго терпит да потом больно бьет! — еще предстоит.

Но наши нынешние поводыри — а живем мы, конечно же, в замечательное время, когда одно ворье совершенно открыто тащит дубинку у другого ворья, а слепые ведут слепых — мечтают сузить сознание граждан до уровня «реки Каламбеевки», и я не говорил бы об этом, не стал бы придираться ко вполне возможной описке, если бы с чувством стыда не наблюдал нашу героиню в других щекотливых ситуациях, в таких, например, как собрание татарской общины в Москве, где она в манере торговки пыталась противостоять деликатной сдержанности нескольких приехавших из-за рубежа многоопытных и многомудрых исламских проповедников — среди них был и живущий в Иордании, но говорящий по-русски куда изящней и точней нашей неутомимой многостаночницы ученый вайнах.

...И снова благословенный Майкоп, те самые райские места...

Вместе с одним из старых своих товарищей, давно, как и я, считающим Адыгею родной, мы шли по широкому и почти безлюдному в жаркий день тротуару недалеко от центра города, а навстречу нам торопилась веселая стайка красивых, как на подбор, совсем еще молодых женщин в военной форме. На ходу меняясь местами, звонкими голосами переговаривались и, наклоняясь одна к другой, беззаботно пересмеивались.

Не залюбоваться ими было ну просто невозможно, и я, дружелюбно посмеиваясь, шутливо сказал своему товарищу:

«Женский-то батальон, а?.. Где только нашли таких девчат...»

А с ними вдруг что-то произошло — со всеми разом. Куда девались улыбки и веселое довольство на лицах — вместо них появилась скорбь, которая одинаково их состарила: даже в топотке хромовых сапожек послышалось старушечье шарканье.

«Что это с ними?» — спросил я, удивленно глядя им вслед.

«Ты, наверно, не знал,— медленно сказал Овчаренко.— Или забыл... жены офицеров и прапорщиков. Вдовы!.. Из той самой Майкопской бригады... служат теперь. Взяли в часть. Вместе легче, да и детей поднять надо... поставить на ноги.»

И непрошенным своим дружелюбием вырвал их из короткой наверняка — такой редкой для них! — беззаботной и, может быть, счастливой минутки, безжалостно вернул в горькое одиночество...

Как мог, и в самом деле, забыть!

Да и один ли я, Господи!

Русский бумеранг

«Запах горячего хлеба» — так назывался мой давний рассказ, опубликованный в одном из мартовских номеров журнала «Огонек» в далеком семьдесят седьмом году. Немудрящий и крошечный, скорее всего он так и затерялся бы в памяти, если бы вырезку с ним вдруг не обнаружил в самодельном конверте, который на днях получил из Новосибирска.

Кроме пожелтевшей, стертой на сгибах журнальной страницы в конверте было довольно длинное, детским почерком накарябанное письмо и полупустой, с крупными строчками посредине, явно ксерокопированный текст, который прямо-таки бросался в глаза — невольно прочитал его первым делом:

«10 декабря 1948 года в Париже Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. Статья 25 Декларации посвящена правам человека на здоровье и надлежащее медицинское обслуживание. Согласно указанной статье: *«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, а также право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам.»*

К чему бы это? — подумал.— Приложение к жалобе, которая ожидает меня в письме? К горькой какой-нибудь «слезнице»?..

Или приглашение к очередной дурацкой игре по почте — кто только в эти игры теперь не играет, кто не получает писем с предложением ну, немедленно, ну, в «сей секунд» подключиться к цепочке олухов, в которой только тебя и не хватает... причем тогда Декларация?

А, может, это какая-нибудь международная игра? — пронеслось.— Под эгидой ООН?.. Ну, да — детского фонда, как он там? ЮНИСЕФ, вот. Потому-то и детский почерк.

Взялся читать письмо и чуть ли не тут же вдруг зажмурил глаза и уронил голову... И много часов потом просидел в одиночестве с новосибирскими бумагами в руках, перечитывая то одну, то другую.

Но прежде придется попросить вас ознакомиться со старым рассказом: вся эта история началась по сути с него.

Вот он, этот давний рассказ:

Запах горячего хлеба

Я провожал друга.

Немножко прошел за составом, помахал вслед, постоял, пока последний вагон не скрылся за ближайшим поворотом, а потом повернул обратно и медленно пошел по перрону. Тут с Алексеем Петровичем и столкнулся.

Он был полярный летчик, лет пять или шесть назад мы познакомились на Севере, несколько дней жили рядом, и оба теперь обрадовались случайной встрече.

Поезд, прибывал с минуты на минуту, и Алексей Петрович предложил мне составить ему компанию, подождать вдвоем, а там и домой вместе — нам было по пути.

Он встречал брата, и, когда тот вышел из вагона, они обнялись так радостно и крепко, как могут обняться два родных человека, которые очень давно не виделись.

Я стоял в сторонке, но мне все равно было слышно, как приехавший молодой полковник растроганно говорил:

— Надо же такому, Алеша!.. Это сколько лет, а? А как увидал тебя, опять горячим хлебом запахло! — Он отступил на шаг оглядывая Алексея Петровича, сказал опять убежденно: — Вот!. Понмаешь — слышу. Плывет от тебя хлебный дух!

Потом сидели мы в машине Алексея Петровича. Он прогревал мотор. Внутри стало собираться чуть пахнущее резиной тепло, но брат, сидевший позади — Павел Петрович,— положил подбородок на спинку сиденья, скосил на старшего радостные глаза, опять удивленно сказал:

— Что ты тут будешь делать — пахнет!

Алексей Петрович, тоже чему-то радуясь, подсказал:

— Хлебом все?

Брат его на миг оторвал подбородок от спинки сиденья, смеясь, кивнул:

— Хлебом!

Голос у него вдруг сорвался, какая-то нотка в нем заставила меня на миг обернуться. Полковник продолжал улыбаться, но лицо у него было виноватое — он, словно мальчишка, тер кулаком глаза...

В сорок первом ему было четыре года. Алексею пошел девятый. Самому старшему, Жене, только что исполнилось четырнадцать.

Жили они на пограничной заставе, на которой отец их командовал отрядом. В первое утро войны его смертельно ранили и, умирая, он попросил товарищей позаботиться о сыновьях. На мотоцикле с коляской их вместе с матерью довезли до ближайшего городка.

Чудом удалось им сесть в поезд, но на первой же крупной станции эшелон разбомбили. Осколком убило Женю, прикрывшего собой младших. У матери случилась горячка.

Умирала она тяжело, то и дело бредила и без конца приказывала Алеше ни в коем случае не бросать меньшего брата.

— Крепко за руку взял? — спрашивала она.— Вот и не отпускай ни за что! Так вдвоем и держитесь, так к своим и идите... Ночью, Алеша, спать ляжете, а ты все равно не отпускай. А то он маленький, откатится от тебя сонный, а вдруг паника... Подхватились да в разные стороны! Где искать? И ты всю жизнь будешь один, и он круглый сирота... Крепко его за руку взял, скажи, крепко?

Много лет потом мучил Алешу один и тот же страшный сон: будто ослабил он во сне руку, которой держал Павлика, и тот в самом деле от него откатился, а тут крики в темноте, толкотня, плач, и он никак не может найти маленького своего братца...

Но это уже потом. А сперва он и точно ни на мгновение не выпускал из своей руки исхудавшую Павликову ладошку.

Чего только с ребятами не случалось! В суматохе отставали от помогавших им взрослых, ночевали в поле одни, прибивались к отступавшим бойцам... Вместе с остатками разбитого полка попали в окружение, долго скитались по лесам и после жестокого боя вышли к своим только они — двое маленьких братьев.

И опять рядом тащились пешком и рядом тряслись в телеге, среди раненых солдат рядком сидели в кузове грузовика или, тесно прижавшись друг к дружке, спали на полу в переполненном душном вагоне.

Иногда у них днями не бывало во рту и маковой росинки. Пожилые беженцы отдавали им, случалось, последний кусок, делились крохами. Находились добрые люди, которые ненадолго оставляли их пожить у себя, и за это время обоих слегка подкармливали, чинили одежонку, обстирывали, а потом собирали узелок, подсаживали в поезд, и они все ехали и ехали вглубь России, пока через полгода, исхудавшие и вконец оборванные, не оказались в далеком зимнем Новосибирске.

Павлика тут взяли в детский дом. Алешу одна сердобольная женщина пристроила работать в пекарню.

Он здесь возле теплого хлеба отошел, отогрелся. А у Павлика были плохи дела. После стольких дней голода никак не мог он поправиться. Ноги его не

держали, постоянно кружилась голова, и целыми днями он теперь лежал на кровати.

Однажды, когда Алеша пришел проведать Павлика, детдомовский врач сказал ему:

— Очень твой братишка ослаб. Сейчас его хоть слегка поддержать бы. Самую малость подкормить, чтобы опять на ноги стал... Впрочем, зачем я тебе это говорю? Ты и сам еще маленький — что ты можешь придумать?

И тогда Алеша решился.

Украсть хлеб в пекарне можно только из печки — дальше, когда его вынимали, с него уже не спускал глаз специально приставленный сторож.

Алеша выхватывал раскаленную форму, вытряхивал из нее дымящуюся буханку, прятал под рубахой и, согнувшись, выбегал из пекарни, мчался, что было духу в детский дом.

Там он первым делом отламывал брату, а остальное честно, до последней крошки делил между такими же, как Павлик, ослабевшими от голода да от горького сиротства мальчишками.

Горячие, исходившие жаром буханки обжигали кожу, и скоро живот у Алеши покрылся незаживающими рубцами, до него больно было дотронуться. Но каждый день он снова и снова, согнувшись, бежал в детский дом, чтобы покормить маленького брата.

Потом Алеша попался.

Женщины, работавшие в пекарне, били его и приговаривали:

— Мало ему, что сам тут брюхо набьет, он еще спекулировать взялся!

— Сам маленький, годами не вышел, а под суд нам идти!

— Да кабы ж это первый раз, а то глянь, какие волдыри — он его давно уже на базар таскает.

Алеша клялся, что не знает, где в городе базар, что хлеб носил в детский дом для своего больного братишки, но его не хотели слушать, пока кто-то не крикнул:

— А погодите, бабы! Надо в детдом сходить... Может, и правда,— брат?

В детский дом пошел сам главный пекарь, недавно вернувшийся с фронта одноногий пожилой инвалид. Разыскал маленького Павлика, сказал ему:

— Я от Алеши...

— Дядя хлеба принес! — громко закричал Павлик, и тут же пекаря жадно, как галчата, окружили десятка два малышей.

Он погладил каждого и тихонько выбрался из кружка, сказав, что передаст хлеб с Алешей.

И до конца войны потом каждый день Алеша получал от пекаря теплую буханку хлеба, которую он относил в детский дом...

...Алексей Петрович остановил машину.

Мы попрощались, и братья уехали.

Я стоял на краю тротуара, смотрел, как в глубине улицы медленно истаивают красные огоньки.

Час был поздний. Порывистый ветер с шорохом тащил по стылому асфальту темные покоробленные листья. Тускло поблескивали схваченные первым морозцем лужицы. Черное пустое небо дышало близким снегом.

Я опять поглядел вслед машине, и откуда-то издалека до меня донесся такой отчетливый на осеннем холодке, такой знакомый дух горячего хлеба...»

Рассказ, и правда что, незатейливый, без всяких литературных наворотов, как теперь впору выразиться. Услышал тогда эту историю, растрогался и по горячим следам пересказал ее. В один присест написал.

Года через два или три после этого домой мне позвонил известный тогда телевизионный журналист: мол, только-только вернулся с Севера и привез мне передачу от знакомого летчика — мешок мороженой пеляди. Помню, как он кричал в трубку:

— Приезжай срочно, старичок, она стремительно тает! Не приедешь сегодня, сам начну ее хавать!

Конечно, я тут же рванулся к нему домой, выхватил этот уже подтекавший тяжеленный мешок и первым делом хотел отделить для него несколько рыбин, но он нарочно нахмурился:

— Обижаешь, старичок, обижаешь!.. Ты думаешь, наш общий друг, северный ас, тебя наградил пелядкой, а меня нет?.. Нас у него застопорила пурга, пили спирт, трепались, он о тебе упомянул: можешь, говорит, привет ему передать? Отчего же нет!.. Нашел он пару пустых мешков, пошли в какой-то деревянный сарай, полный мороженой рыбы, он говорит: я буду ему мешок накладывать, а ты себе — мешок, только смотри, не обижай себя... я себя, старичок, не обидел! Если бы не ветер в спину — не дотащил бы!

Помню, как положил свой мешок в багажник такси, как из него уже текло в лифте — Москву припекала первая весенняя жара...

Какой потом дома у нас был праздник — конечно же, с приглашением старых дружков, со всеми этими разговорами, когда над столом дым висит коромыслом, с битьем в грудь: и я, мол, говорю, что там другой народ — и на Севере, и в Сибири, да! Кто тебе еще и откуда пришлет такой щедрый «гонорар»?!

Странное дело: этот неожиданный праздник братства как будто вытеснил тогда из памяти сам рассказ, бывший его первопричиной. О большом мешке

с мороженой пелядью часто вспоминал, а маленький свой рассказ чуть не начисто позабыл.

И вот, вот... *«Добрый день или вечер, товарищ писатель или вы уже господин! — так начиналось новосибирское письмо.— Пишет вам бывший бомж Толик, а, может и будущий, но это я уже от себя, а то баба Дуся совсем меня заругает, она строгая.*

Это письмо собирался послать Павел Петрович, он у вас в журнале полковник, но теперь его больше нет, а мы исполняем. Раз хотел сам и даже нашел ваш адрес. Но сначала о старшем брате Алексее. У него отказало сердце, но семья не прилетела забрать, большими деньгами их сильно в Москве разбаловал, и тогда Павел Петрович привез гроб в Новосибирск, тут схоронил, а сам теперь лежит рядом.

Что у него было в жизни плохо, так это сын погиб в Афганистане, невестка пошла в больницу, чтобы ребенка не было, жена не выдержала слегла и больше не встала, остался один, а так хотел внуков, и когда, наконец, покончили и пришла демократия, стал звать к себе маленьких бомжат и кормить. Ну что он там может, бутырброт да бутырброт, стал приглашать соседок на помощь, мы этим побродяжкам хоть горячее и то уже. А он сидит, смотрит, и сам не кушает. Я ему, Петрович, гостей кормишь, толку от них, только нанесут всегда грязи, а сам помрешь с голоду, а он, если помру, то от стыда за Россию, за нашу армию, за себя самого.

А он и правда, по праздникам как наденет же свой генеральский китель и все ордена, каких только не было, и за Афганистан тоже, за Вьетнам и даже один за Африку, ребятишки эти даже притихнут за столом, перестанут баловаца.

Когда получил от какого-то друга эту бумагу, что мы теперь должны жить как у Париже, совсем притих, сидит с ней и сидит, и все теперь в кителе, кабуто собирался куда с ней пойти, а куда пойдешь, от него все скрывались, потому что все в глаза и прямо в глаза. Помер, прислали большой оркестр, а самих никого, и ребятишек этих бродяжек тоже, я говорю Толику как же вы на поминки придете, а сейчас вас как нету, он пошел позвал, а ума, так и пиши, ума, пришли бомжи со всего города вся нищета и голь, кого только нет, люди останавливаются да наверно побродяги хоронят своего главного начальника, а он лежит в орденах как у Брежнева только у него все свои.

Поставили деревянный крест как хотел, а что генерал и про ордена написали на памятнике Алексея Петровича они как у вас на картинке в журнале за руки держатся так и теперь лежат рядушком.

У нас не только подъезд,— весь дом плакал, вспоминали, как сам потом говорил, эх надо было потихоньку кушать, держаться, чтобы пенсия еще долго шла и шла, и эти побродяжки все приходили и тут питались, а то может будет хуже, хотя куда ж еще можно. Нас тоже часто выручал

больше теперь не выручит земля ему пухом и царство небесное выполняем волю. Квартиру отписал Толику с братом Алешей когда достигнут, но как они достигнут если ЖКХ все ходит и ходит, требует чтобы эту отдали а получили в другом раене. Мы им все как не стыдно да где теперь стыд, а они двое жили у него уже два года были как внуки.

Извините за беспокойство Павел Петрович любил так всегда говорить. Желаем вам сибирского здоровья и цыган-ского веселья.

Соседка Евдокия Григоревна.

Нащет веселья это я уже от себя на почте потому что у бабы Дуси трясется голова и плохо видит. Я ей пока ничего, но мы уже договорились с чеченами будут пока в квартире жить, пусть тогда эти тормоза из ЖКХ попробуют их выселить, а мы с Алешкой поедем к ним на Кавказ, там тепло. А вернемся за деда отомстим.

Анатолий Пегушев.»

Пожалуй, можно понять, что над бумагами из Новосибирска провел я не один час...

Даже рассказ свой, и тот перечитал три или четыре раза.

Рисунок над ним, и действительно, трогательный: на разбитой дороге с бредущими по ней беженцами русоволосый, с широко раскрытыми глазами мальчик с небольшим узелком в правой руке левой крепко держит ладошку сжавшегося, как воробушек, ребятенка в бескозырке с рвущейся на жестоком ветру одинокой ленточкой... Под рисунком фамилия художника: Н. Пчелко.

Почему я тогда не позвонил, не нашел его, не сказал добрых слов? Почему так и не написал потом письмо, хоть годами собирался, «северному асу» Алексею Петровичу?

Подолгу об этом думал и в это же время с ноющей тоской сознавал: только потому этим запоздалым самоистязанием так упорно и занимаюсь, что невольно отлыниваю от других, более тяжких размышлений... Но не так ли нынче и все мы, не так ли, случайно или намеренно,— вся страна?

Чего только из прошлого не объяснят в газетах или по телевизору, чего не растолкуют и в далекой нашей, и в близкой истории, в чем не обличат, за что не пристыдят, в чем покаяться не призовут, а разобраться, почему сегодня, теперь, Россию снова заполонили миллионы сирот, почему от голода либо от беспросветного горя мрут пожилые люди, которым бы жить да жить... Может быть, мы просто не называем вещи своими именами?

Можно догадываться, почему боевой генерал надевал свой парадный, с наградами китель, когда садился за стол с этой жадно жующей, чавкающей братией, которая «наносила грязи» в его холостяцкую квартиру. Наверняка хотел, чтобы именно таким его запомнили, потому что за это прежде всего

идет сегодня война: за сознание этих мальцов, за то, что в памяти их сотрется, а что останется...

А он был воин и делал опять, что мог.

Но почему он вчитывался в эту бумажку со статьей из Декларации?.. Реально мысливший человек, неужели он хоть каким-то манером надеялся приложить ее к нашим ранам? И — как, как?

В Словаре иностранных слов я даже нашел это: «Декларация. (лат.— объяснение) — объявление, заявление от имени правительства или партии, торжественное провозглашение основных принципов... заявление одного или нескольких государств по кому-либо вопросу международной политики...»

Но что в этом нового или необычного?

«Оправдай вдову, дай суд бедному, помоги нищему, защити сироту, одень нагого, о расслабленном и немощном попекись...»

Этой ветхозаветной «декларации», явленной пророками еще до Иисуса Христа, теперь уже три тысячи лет... Блюли ее, наверняка только праведники. Что с тех пор изменилось?

Только длится и длится эта ложь на всех уровнях и по любому поводу. Иезуитски ловкая — международная и простодушно-бездарная, ну, прямо таки самодельная, хуторская, «самопальная» — ложь государственная, отечественной пробы.

Конечно же, все это он понимал — ни для кого теперь не секрет. Но к кому и зачем хотел обратиться? И чего хотел от меня?.. Куда теперь мне-то с этой прекраснодушной, но бесполезной бумажкою постучаться?

Уж если достал мой кубанский адрес, по какому обычно мы у родных зимуем, поддерживаем тут маму жены, она в преклонных летах, значит — искал с упорством и на что-то надеялся.

Может, еще и невольно думал, что тут, где потеплей, люди и живут побогаче?.. Потому-то писатель там зимою и кормится, и набирает жирка: на пшеничной своей, на пышной, на благодатной родине, где так щедро растет хлеб — «всему голова»...

Уж он бы понял, если бы ему только рассказать!

Не все равно нынче — хоть в Сибири, хоть на Кубани.

Живем ли в своем или уже наполовину отнятом доме... Уже скитаемся или еще пока нет... Но сидим ли за столом, вышагиваем по комнате, ворочаемся в постели — все мы сегодня беженцы, вместе с обманутыми детьми и обездоленными внуками бредущие по разбитой реформаторами дороге из одной России в другую...

И дай Бог, чтобы сироты, хотя бы они, крепко держали друг дружку за руки и чтобы в холодные дни у младшего всегда была бы в руке жертвенно припасенная братцем краюха горячего хлеба...

Содержание

Вместо предисловия.....5
Поклон Казаку Луганскому.....7
«Хочется кольнуть...» 13
«Взвейтесь, соколы, орлами!..» 14
С чемоданом над Родиной.....17
Полный дамский набор.....20
Скопидом.....21
Последний солдат империи.....24
Чеченский муравей 27
Шахтерский газырь 28
Дочь полка, или «Нижегородец не знает заката» 30
Ожидание снега 39
Перевязь от Роберта Кесслера 44
За мгновенье до удара кинжалом 47
Генри Лоусон.....49
Своя земля и в горсти спасет... 50
Где мы?!.....54
Краюха и шмат сала 56
Голубой петух плимутрок 63
Предистория «Красного петуха» 69
«На золотом крыльце сидели...» или — послесловие 70
Полынная слава 71
Зимняя сказка 97: — «Царь Черный» 73
Три пирога.....83
Генералы собачьих стай 91
«План перехвата» 97
Славянский ответ .....—
История пленника Фидура 104
«Почетный гость города».....106
«Один из хозырей...».....110
Росток из детства.....111
Красный змей.....113
Пробуждение среди полета вслепую .....—
Четвертый анекдот 115
Бросок в Ставрополь.....118
«Черная грязь».....132
Вот поведет Кадочников бровью.....134
Что такое «адыгэ хабзэ»... 142
Облака плывут... 146
Целый день.....147

Тяга к оружию — понятие эстетическое 148
«Свойство чиновников...» 150
«Фильсуфы».....—
Письма из дома.....151
Парад мешкованов 152
«Ряженый» 157
Газырь от Александра Дюма.....161
Трикитания.....162
«Из ряда вон...».....164
Белые стихи о Черных горах.....—
Кое-что о бездельниках... 165
«Островитяне».....167
«Лемносский бог...» 169
Где Александр Сергеевич видел бурку? 170
Подкрепление от Ивана Александровича...172
Очаг Божий 175
«На солнечном сплетении Евразии».....176
«В зимний холод...» 177
Подвиг — половина дела.....178
«Что хуже — шутка или брань?» 183
«Разбирательный образ».....187
Затык.....188
Осторожно: газыри! 189
Рубль от красноармейца Федора Сухова.....—
«Общих житий начальник»... 191
Тимолай.....192
Хоть смейся, хоть плачь... 193
Кому вы трезвые нужны? 194
«...Слезы дивно обильные» 202
Роман-плач.....205
«Война с непривычной стороны...».....206
Продолжение древних традиций? 207
Тринадцатое казачество: китайское 208
Николай-до, или «За что бы нас любить и жаловать?» 209
Отчего заговорили собаки и кошки.....215
Исидор Пелусиот.....216
Как я, Лев Львович, хитро устроился... .....—
Счастье ожидания 217
Телеграмма от кунака 218
«Радостью сияющий» 219
Солдатик.....220
Ершовский символ 226
Рыцарь красный.....228
«Стихи надо — стоя!..» 234
«Номенклатурный» батюшка.....236

Кой-что об автомате... 238
«Не бойся — крепость бедняка».....239
Царь — писатель.. 240
Кавказские «ножницы».....243
Ностальгия под названьем «Горячий Ключ»244
Немчики-болгарики 245
Вид из окна.....247
Песня о твердом слове 248
«Калмык-чай» 249
Поклон преподобному Савве Сторожевскому251
ООО «РФ» 253
Чай краснодарский черешковый 254
Образ и мера времени 256
Ростки пшеницы... 258
Сияние белых гор .....—
Ходите гоголем!.. 260
Газырь о Юре Кузнецове.....261
Последний предмет приватизации 262
«Веруй, Федя!..» 263
Колоски 269
Еще кое-что о колдунах... 271
«Эффект Лейбензона» 272
Келермесская история.....277
«Ми-тюш-ка!..».....279
Атаман дерзкий... 281
Кавказская дуэль 284
Почему казаки не ходят в церковь, или Газырь
от отца Геннадия 285
Уроки Грузии.....287
Отрадненские паруса 288
Народ «Ад» 289
С порога отчего дома 290
«Неказистый человек» .....–
Бомже мой!.....291
Газырь от Тембота Керашева.....—
Газырь от Феликса Петуваша 295
Русская беда — 2 299
Западно-сибирские сны .....—
Братание шашками.....301
Два пирога в память о старшем друге.....303
Адыгеец Калашников.....306
Газырь для денежки 309
Конокрад 310
Абрикос-кормилец 313
«Черная блестящая пахота...» 315

Лезгинка для смертельно больных!.....318
Дружеский укор Коле Медному 324
Черномазые скифы.....330
«Орлы Кавказа».....338
Национальная элита 342
Кто кого нашел?.. 350
«Стены каменны пробьем...» 355
Майкопская бригада.....357
Русский бумеранг 370
Запах горячего хлеба 371